



**ВЕСТНИК РОССИЙСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
ДРУЖБЫ НАРОДОВ**

**СЕРИЯ:
СОЦИОЛОГИЯ**

2017 Том 17 № 3

**Научный журнал
Издается с 2001 г.**

Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 77-61214 от 30.03.2015 г.
Учредитель: Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Российский университет дружбы народов»

**RUDN JOURNAL
OF SOCIOLOGY**

2017 Volume 17 No. 3

**Founded in 2001
by the Peoples' Friendship University of Russia**

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 выпуска в год.

Языки: русский, английский.

Входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК РФ.

Включен в каталог периодических изданий Ульрих (Ulrich's Periodicals Directory: <http://www.ulrichsweb.com>).

Материалы журнала размещаются на платформе РИНЦ Российской научной электронной библиотеки, Electronic Journals Library Cyberleninka, Google Scholar, WorldCat, Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Подписной индекс издания в каталоге агентства Роспечать 20826.

Цели и тематика

Журнал «Вестник Российского университета дружбы народов. Серия: Социология» — периодическое международное рецензируемое научное издание в области социологических исследований. Журнал является международным как по составу редакционной коллегии и экспертного совета, так и по авторам и тематике публикаций.

Цели журнала: публикация результатов фундаментальных и прикладных научных исследований по актуальным вопросам социологической науки, широкий обмен результатами теоретических и эмпирических исследований между специалистами, работающими в различных областях социально-гуманитарного знания. На страницах журнала публикуются материалы по историографии мировой социальной мысли как классического, так и современного периода; статьи по результатам фундаментальных и прикладных исследований по проблематике специальных социологических теорий, по методологии и методике социологических исследований и др. В журнале выступают специалисты, представляющие ведущие научные социологические центры, институты, организации, а также вузы России и зарубежных стран. Широкая тематика журнала представляет возможность публиковаться в нем представителям смежных специальностей (политологам, историкам, экономистам и т.д.), опирающимся в своих исследованиях на эмпирические социологические данные. Кроме научных статей публикуется хроника научной жизни, включающая рецензии, научные обзоры, информацию о конференциях, научных проектах.

Журнал строго придерживается международных стандартов публикационной этики, обозначенных в документе COPE (*Committee on Publication Ethics*) <http://publicationethics.org>.

Полные сведения о журнале и его редакционной политике, требования к подготовке и публикации статей, архив (полнотекстовые выпуски с 2008 года) и дополнительная информация размещены на сайте: <http://journals.rudn.ru/sociology>.

Электронный адрес: socjournalrudn@rudn.university.

ISSN 2408-8897 (online); 2313-2272 (print)

4 issues per year

Languages: Russian, English.

Indexed/abstracted in Ulrich's Periodicals Directory: <http://www.ulrichsweb.com>, Electronic Journals Library Cyberleninka, Google Scholar, WorldCat, Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Aims and Scope

Bulletin of Peoples' Friendship University of Russia (RUDN Journal of Sociology) is a peer-reviewed international academic journal publishing research in sociology and related fields. It is international with regard to its editorial board, contributing authors and thematic foci of the publications.

The aims of the journal: to publish the results of fundamental and applied research on the topical issues of sociology, and to ensure a broad exchange of the results of theoretical and empirical studies between scientists from different fields of social sciences and humanities. In the journal one can find papers on the historiography of the classical and modern periods of the world social thought; on the results of fundamental and applied research devoted to the problems considered by special sociological theories; on the difficulties in choosing methodological approaches and techniques for the study of complex social phenomena, etc. The journal publishes papers of the authors representing the leading sociological centers, institutes, organizations, and universities in Russia and abroad. The thematic 'repertoire' of the journal presents opportunities for authors from many disciplinary fields (political scientists, historians, economists, etc.) relying on the empirical sociological data in their research. The journal also welcomes book reviews, literature overviews, and conference reports.

The journal is published in accordance with the policies of COPE (*Committee on Publication Ethics*) <http://publicationethics.org>.

Further information regarding the journal, its editorial board, requirements to articles for contributors, and the journal's archive (full-text issues since 2008) and additional information are available at <http://journals.rudn.ru/sociology>.

E-mail: socjournalrudn@rudn.university.

Подписано в печать 18.08.2017. Выход в свет 23.08.2017. Формат 70×100/16.

Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура «Times New Roman».

Усл. печ. л. 21,39. Тираж 500 экз. Заказ № 811. Цена свободная.

Отпечатано в типографии ИПК РУДН: 115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, 3

Printed at the RUDN Publishing House: 3, Ordzhonikidze str., 115419 Moscow, Russia,

+7 (495) 952-04-41; E-mail: ipk@rudn.university

© Российский университет дружбы народов, 2017

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

ПОЧЕТНЫЙ РЕДАКТОР

Херпфер К., Университет Вены, Австрия. E-mail: c.w.haerpfer@gmail.com

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Нарбут Н.П., РУДН, Россия. E-mail: narbut_np@rudn.university

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ

Троцук И.В., РУДН, Россия. E-mail: trotsuk_iv@rudn.university

ЧЛЕНЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Бакиров В.С., доктор социологических наук, профессор, ректор Харьковского национального университета им. В.Н. Каразина, академик НАН Украины, президент Украинской социологической ассоциации (Украина)

Гаспаришвили А.Т., кандидат философских наук, доцент, заместитель декана факультета глобальных процессов МГУ им. В.М. Ломоносова

Голенкова З.Т., доктор философских наук, профессор, руководитель Центра исследований социальной структуры и социального расслоения Института социологии РАН

Диас Николас Х., доктор политологии, профессор факультета политических наук и социологии Мадридского университета Комплутенсе (Испания)

Иванов В.Н., доктор философских наук, профессор, член-корреспондент РАН, советник РАН

Маркович Д., доктор философских наук, профессор Белградского университета (Сербия)

Назарова И.Б., доктор экономических наук, директор Аналитического центра Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»

Пан Д., доктор социологических наук, профессор Института социологии Шанхайской академии общественных наук (КНР)

Подвойский Д.Г., кандидат философских наук, доцент кафедры социологии факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Пузанова Ж.В., зам. главного редактора, доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, заведующая социологической лабораторией факультета гуманитарных и социальных наук РУДН

Ротман Д.Г., доктор социологических наук, профессор, директор Центра социологических и политических исследований Белорусского государственного университета (Белоруссия)

Татарова Г.Г., доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН

Хагендорн Л., доктор философии (социальная психология), почетный профессор Утрехтского университета (Нидерланды)

Чамбалишкова М., доктор философии (социология), профессор, научный сотрудник Института социологии Словацкой академии наук, заведующая кафедрой социологии и социальной психологии высшей школы Данубиуса (Словакия)

Шафранец К., доктор социологических наук, профессор кафедры социологии образования и молодежи Института социологии Университета Николая Коперника в Торуне (Польша)

Шубрт И., доктор философии (социология), профессор, заведующий кафедрой исторической социологии факультета гуманитарных исследований Карлова университета (Чехия)

Щербина В.В., доктор социологических наук, профессор, главный научный сотрудник Института социологии РАН

Литературный редактор *К.В. Зенкин*

Компьютерная верстка *Е.П. Довголевская*

Адрес редакции:

115419, Москва, Россия, ул. Орджоникидзе, д. 3

Тел.: (495) 955-07-16; e-mail: ipk@rudn.university

Почтовый адрес редакции:

117198, Москва, Россия, ул. Миклухо-Маклая, д. 10/2

Тел.: (495) 434-20-12, e-mail: socjournalrudn@rudn.university

EDITORIAL BOARD

HONORARY EDITOR

Haerpfer C., University of Vienna, Austria. E-mail: c.w.haerpfer@gmail.com

EDITOR-IN-CHIEF

Narbut N.P., RUDN University, Moscow, Russia. E-mail: narbut_np@rudn.university

EXECUTIVE SECRETARY

Trotsuk I.V., RUDN University, Moscow, Russia. E-mail: trotsuk_iv@rudn.university

EDITORIAL BOARD

Bakirov V.S., D.Sc (Sociology), Professor, Rector of V.N. Karazin Kharkiv National University, Academician of National Academy of Sciences of Ukraine, President of Ukrainian Sociological Association (Ukraine)

Gasparishvili A.T., PhD in Philosophy, Associate Professor, Deputy Dean of Faculty of Global Studies of Lomonosov Moscow State University (Russia)

Golenkova Z.T., D.Sc (Philosophy), Professor, Head of Center for Social Structure and Social Differentiation of Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Hagendoorn L., D.Sc (Social Psychology), Professor Emeritus of Utrecht University (Netherlands)

Díez Nicolás J., D.Sc (Political Sciences), Professor of School of Political Sciences and Sociology of Complutense University of Madrid (Spain)

Ivanov V.N., D.Sc (Philosophy), Professor, Corresponding Member and Advisor of Russian Academy of Sciences (Russia)

Marković D., D.Sc (Philosophy), Professor of Belgrade State University (Serbia)

Nazarova I.B., D.Sc (Economics), Professor, Head of Analytical Center of National Research University "Higher School of Economics" (Russia)

Pan D., D.Sc (Sociology), Professor of Sociology Institute of Shanghai Academy of Social Sciences (China)

Podvoyskiy D.G., PhD in Philosophy, Associate Professor of Sociology Chair of RUDN University Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Puzanova Zh.V., *Deputy Chief Editor*, D.Sc (Sociology), Professor, Head of Sociological Laboratory of RUDN University Faculty of Humanities and Social Sciences (Russia)

Rotman D.G., D.Sc (Sociology), Professor, Head of Center for Sociological and Political Research of Belorussian State University (Belorussia)

Scherbina V.V., D.Sc (Sociology), Professor, Senior Researcher of Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Szafrańiec K., D.Sc (Sociology), Professor of Chair of Sociology of Education and Youth of Institute of Sociology of Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

Tatarova G.G., D.Sc (Sociology), Professor, Senior Researcher of Institute of Sociology of Russian Academy of Sciences (Russia)

Čambáliková M., PhD in Sociology, Professor, Researcher at Institute of Sociology of Slovak Academy of Sciences, Head of Sociology and Social Psychology Chair of Higher School Danubius (Slovakia)

Šubrt J., PhD in Sociology, Professor, Head of Historical Sociology Chair of Faculty of Humanities of Charles University (Czech Republic)

Editor *Konstantin V. Zenkin*
Computer design *Ekaterina P. Dovgolevskaya*

Editorial office:

Postal Address of the Editorial Board:

10/2 Miklukho-Maklaya str., 117198 Moscow, Russian Federation
Ph. +7 (495) 434-20-12; e-mail: socjournalrudn@rudn.university

СОДЕРЖАНИЕ

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

- Скотт Дж.** Искусство безгосударственной жизни: устная традиция, письменность и тексты 267
- Кумса А.** Аграрный вопрос и его влияние на развитие Эфиопии (на англ. яз.) 289
- Пузанова Ж.В., Тертышникова А.Г.** Изучение социальных представлений с использованием метода виньеток: количественный подход (на англ. яз.) 306

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КЕЙС-СТАДИ

- Бритвина И.Б., Шумилова П.А.** Культурная идентичность и проблемы адаптации иноэтнических мигрантов в России 317
- Поздеев И.Л.** Этнические стереотипы в межкультурной коммуникации: удмуртские стратегии 327
- Нарбут Н.П., Троцук И.В.** Образы стран-соседей в восприятии российской студенческой молодежи: элементы устойчивой стереотипизации (на англ. яз.) ... 338
- Сохадзе К.Г.** Социальная активность российской молодежи: масштабы и факторы сдерживания 348
- Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Шарма С.Д.** ЛГБТ-сообщество в фокусе социологического анализа (на англ. яз.) 364

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

- Науменко Т.В.** Взаимодействие сфер общества как типов совместной деятельности людей 373
- Тюрина И.О., Неверов А.В., Ульянычев М.А.** Технопарки и наукоемкие производства: анализ передового опыта (на англ. яз.) 387

ЭССЕ И РЕЦЕНЗИИ

- Черны К.** Антисемитизм вчера и исламофобия сегодня: взгляд из Центральной Европы (на англ. яз.) 399
- Символический протест: сокрытые послания и адресанты.** Рецензия на книгу: Городские тексты и практики. Т. I: Символическое сопротивление / Сост. А.С. Архипова, Д.А. Радченко, А.С. Титков. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2017. 324 с. 408
- Феномен героизма: две ‘хронологические’ интерпретации.** Рецензия на книги: Кэмпбелл Дж. Тысячеликий герой. СПб.: Питер, 2017. 352 с.; Зорин А.Л. Появление героя: Из истории русской моциональной культуры конца XVIII — начала XIX века. М.: Новое литературное обозрение, 2016. 568 с. 420

- НАШИ АВТОРЫ** 436

CONTENTS

HISTORY, THEORY AND METHODOLOGY OF SOCIOLOGICAL RESEARCH

- Scott J.** The art of not being governed: Orality, writing, and texts (in Russ.) 267
- Kumsa A.** Agrarian question and its impact on the development of Ethiopia 289
- Puzanova Zh.V., Tertyshnikova A.G.** The study of social representations by the vignette method: A quantitative interpretation 306

SURVEYS, EXPERIMENTS, CASE STUDIES

- Britvina I.B., Shumilova P.A.** Cultural identity and adaptation of ethnic migrants in Russia (in Russ.) 317
- Pozdeev I.L.** Ethnic stereotypes in intercultural communication: The Udmurts' strategies (in Russ.) 327
- Narbut N.P., Trotsuk I.V.** Neighboring countries' images: Persistent stereotypes of the Russian student youth 338
- Sokhadze K.G.** Social activity of the Russian youth: The scope and restraining factors (in Russ.) 348
- Puzanova Zh.V., Larina T.I., Sharma S.D.** LGBT community in the focus of sociological research 364

SOCIOLOGICAL LECTURES

- Naumenko T.V.** Interaction of different spheres of society as types of people's joint activity (in Russ.) 373
- Tyurina I.O., Neverov A.V., Ulyanychev M.A.** Technoparks and science-intensive production: An advanced experience 387

ESSAYS AND REVIEWS

- Černý K.** Anti-Semitism yesterday and Islamophobia today: A Central-European perspective 399
- Symbolic protest: Hidden messages and addressers.** Review of the book: *Gorodskie teksty i praktiki. Vol. I: Simvolicheskoe soprotivlenie [Urban Texts and Practices. Vol. I: Symbolic Resistance]* / Sost. A.S. Arhipova, D.A. Radchenko, A.S. Titkov. Moscow: Izdatelskij dom "Delo" RANHiGS, 2017. 324 p. 408
- The phenomenon of heroism: Two 'chronological' interpretations.** Review of the books: *Campbell J. Tysjachelikij geroj [The Hero with a Thousand Faces]*. Saint Petersburg: Piter; 2017. 352 p.; *Zorin A.L. Pojavlenie geroja: Iz istorii ruskoj emocional'noj kul'tury konca XVIII — nachala XIX veka [A New Hero: From the History of Russian Emotional Culture in the Late XIX — Early XX Century]*. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie; 2016. 568 p. 420

- AUTHORS** 436

ВОПРОСЫ ИСТОРИИ, ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-267-288

ИСКУССТВО БЕЗГОСУДАРСТВЕННОЙ ЖИЗНИ: УСТНАЯ ТРАДИЦИЯ, ПИСЬМЕННОСТЬ И ТЕКСТЫ*

Дж. Скотт

Йельский университет
208209, Нью-Хейвен, СТ 06520-8206, США
(e-mail: james.scott@yale.edu)

Данная статья представляет собой фрагмент книги Дж. Скотта, посвященной Зомии — так автор обозначает практически все территории, расположенные на высоте более чем триста метров над уровнем моря, протянувшиеся от центральных высокогорий Вьетнама до северо-востока Индии и пересекающие пять государств Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Камбоджу, Лаос, Таиланд и Бирму) и четыре провинции Китая (Юньнань, Гуйчжоу, Гуанси и частично Сычуань). Вплоть до недавнего времени (примерно до середины XX в.) это пространство было заселено сотней миллионов представителей различных меньшинств, формирующих изумительную по своему этническому и лингвистическому разнообразию общность, интересную не только своим экологическим разнообразием, но и взаимоотношениями с окружающими государствами. Зомия — крупнейший из сохранившихся на Земле регионов, чьи народы до относительно недавних пор не были поглощены национальными государствами. Сегодня ее дни сочтены, хотя еще совсем недавно подобные самоуправляющиеся общности составляли большую часть человечества. Равнинные государства воспринимают их как «живых предков», тех, «кем они сами были до того, как изобрели поливное рисоводство, буддизм и цивилизацию». Автор же, наоборот, считает, что жителей гор следует воспринимать как сообщества беглецов и бродяг, сознательно выбравших для жизни необитаемые территории и в течение двух тысячелетий спасавшихся от угнетения, с которым было сопряжено государственное строительство на равнинах, — от рабства, воинской повинности, налогов, барщины, эпидемий и войн. Практически все в жизни населяющих эти зоны народов, включая социальную организацию, идеологию и (что более спорно) в основном устную культуру, следует воспринимать как стратегические решения, принятые, чтобы удержать государство на расстоянии. Большинство народов, проживающих в горном массиве Зомии, видимо, собрали достаточно внушительный культурный набор способов, позволяющих уклоняться от поглощения государством, но при этом пользоваться всеми экономическими и культурными возможностями, которые гарантирует соседство с ним. Обширный репертуар языков и этнических принадлежностей, способность к собственному переизобретению согласно пророческим откровениям, короткие и/или устные генеалогии и талант к фрагментации — вот базовые «вещи» в их внушительном дорожном наборе, которые и будут рассмотрены ниже.

* © Скотт Дж., Троцук И.В. (перевод на русский язык), 2017. Разрешение на публикацию фрагмента книги «Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии» (Пер. с англ. И.В. Троцук. М.: Новое издательство, 2017. 568 с.) было любезно предоставлено журналу «Новым издательством».

Ключевые слова: Зомия; безгосударственность; государственное строительство; самоуправляющаяся общность; бегство от государства; устная традиция; (бес)письменность; цивилизация и варварство

Ибо во всей своей суровости закон есть письменный документ.
Письменность на стороне закона, он живет в ней;
знание письменности означает невозможность незнания закона...
письменность напрямую определяет власть закона —
будь он выгравирован в камне, изображен на шкурах животных
или записан на папирусе.

Пьер Кластр «Общество против государства»

Основополагающий признак варварства для равнинных элит — неграмотность. Самой известной из цивилизационных стигм, навешанных на горные народы, является общая безграмотность (неумение читать и писать). Дарование дописьменным народам набора букв и системы формального образования, — безусловно, смысл существования цивилизованного государства.

Но что если в длительной исторической перспективе многие народы на самом деле не дописьменные, а, используя определение Лео Альтинга фон Гойсау, *пост*-письменные [34]? Что если вследствие бегства от государства, изменений в социальной структуре и жизненных практиках они просто отказались от текстов и письменности? И что если, исходя из самой радикальной версии развития событий, подобное оставление мира текстов и грамотности было целенаправленным и имело под собой стратегические соображения? Доказательства последнего предположения почти всегда носят косвенный характер. По этой причине и, возможно, из-за недостатка мужества, я вынес обсуждение этого вопроса за скобки анализа сельского хозяйства и социальной структуры, характерных для ситуации ускользания от государства, хотя они со «стратегическим» поддержанием (если не созданием) неграмотности — одного поля ягоды.

Как подсечно-огневое земледелие и пространственное рассеяние — способы воспрепятствовать поглощению государством, как социальная фрагментация и отсутствие властной верхушки — инструменты противодействия инкорпорированию в ткань государства, так и отсутствие письменности и текстов обеспечивает свободу маневра в форматировании истории, составлении генеалогий и трактовках происходящего, что грубо нарушает рутину государственной жизни.

Если эгалитарные мобильные поселения подсечно-огневых земледельцев представляют собой выскальзывающиеся из лап государства «медузообразные» экономические и социальные формы, то приверженность устной традиции выступает аналогичным непрочным и мимолетным, как медуза, видом культуры. В этом смысле поддержание устной традиции во многих случаях — сознательное «позиционирование» по отношению к государственному строительству и верховной власти. Так же как сельское хозяйство и особенности поселенческих практик могут в течение времени значимо варьировать, отражая стратегические жизненные приоритеты, грамотность и тексты могут то считаться неотъемлемой частью культуры, то полностью из нее исключаться, а затем вновь завоевывать свои позиции ровно по тем же соображениям.

Я осознанно использую понятия *неграмотность* и *устная традиция*, предпочитая таковые *безграмотности*, чтобы привлечь внимание к приверженности устной традиции как особому и потенциально позитивному формату культурной жизни, который не сводится лишь к отсутствию письменности. Тот тип «устной традиции», о котором идет речь, следует отличать от так называемой первоначальной неграмотности — ситуации, когда социальное поле впервые сталкивается с письменностью. Бесписьменные народы в горных массивах Юго-Восточной Азии, наоборот, уже в течение более чем двух тысячелетий жили в постоянном контакте с одним или несколькими государствами, в которых существовали небольшие грамотные группы, тексты и письменные записи: горным народам пришлось как-то позиционировать себя по отношению к данным государствам. Наконец, само собой разумеется, что вплоть до недавнего прошлого грамотные элиты равнинных государств представляли собой лишь крошечное меньшинство в общей численности подданных. Даже в долинах подавляющее большинство населения жило в устной культуре, хотя она и изменялась под воздействием письменности и текстов.

УСТНЫЕ ИСТОРИИ ОБ УТРАТЕ ПИСЬМЕННОСТИ

Понимая, насколько равнинные государства и колонизаторы стигматизируют их бесписьменное состояние, большинство горных народов создали устные легенды, которые «объясняют», почему у них нет письменности. Удивляет поразительное сходство подобных легенд, которое не ограничивается лишь материковой частью Юго-Восточной Азии, а прослеживается в малайском мире и, если уж на то пошло, даже в Европе. Все легенды похожи тем, что изображают народы как когда-то давно имевшие письменность, но утратившие ее вследствие собственной неосмотрительности, или же как способные ее иметь, если бы она не была вероломно украдена.

Подобные истории, как и этническая идентичность, выполняют функцию стратегического позиционирования по отношению к другим группам. У нас есть все основания полагать, что и легенды, и этническая идентичность корректировались в случае значительного изменения внешних обстоятельств. То, что эти легенды имеют практически семейное сходство друг с другом, вероятно, в большей степени обусловлено общим для горных народов стратегическим расположением по отношению к крупным равнинным царствам, чем какой бы то ни было культурной инерцией.

Одна из распространенных версий того, как акха «утратили» письменность, достаточно типична для описываемого жанра устных историй. Акха утверждают, что в давние времена выращивали рис, жили в долинах и были подданными государств. Вынужденные бежать, как утверждает большинство легенд, под давлением тайского военного превосходства, акха рассеялись в нескольких направлениях. Продвигаясь по маршрутам бегства, «будучи голодны, акха съели свои книги, сделанные из шкур буйволов, и, таким образом утратили систему письменности» [20. Р. 35].

Лаху, горные соседи акха по Бирме и тай — по китайской границе, рассказывают, что потеряли свои системы письменности, когда съели пироги, на которых их божество Гуй-ша написал буквы алфавита [35. Р. 568].

У народа ва есть схожая история: ва утверждают, что когда-то давно имели систему письменности, зафиксированную на воловьей шкуре. Когда они голодали и им было нечего есть, то употребили в пищу эту шкуру и утратили свою систему письма. Другая история ва повествует, что в древности среди их народа жил великий обманщик Глиех Нех, который отправил всех мужчин на войну, а сам остался и занимался любовью с их женщинами. Будучи пойман и приговорен к смерти, Глиех Нех попросил, чтобы его утопили в гробу вместе с музыкальными инструментами. Брошенный на произвол судьбы, он играл так волшебным образом, что жившие в низовьях реки существа помогли ему освободиться. В благодарность он обучил жителей равнин всем своим искусствам, включая письмо, а народ ва остался безграмотным. Поэтому письменность ассоциируется у ва с мошенничеством; мир письма для них схож с миром торговли и наполнен обманом и жульничеством [6. Р. 105—106].

У каренов существует множество версий легенды, согласно которой каждому из трех братьев (карену, бирманцу и ханьцу/европейцу) была дарована система письма. Бирманец и ханец сохранили их, тогда как карен оставил свою, зафиксированную на шкуре, на пне дерева, пока занимался подсечно-огневым земледелием, и ее сожрали дикие (или домашние) животные.

Историй подобного типа насчитывается бесчисленное множество; достаточно развернутый обзор вариаций данной темы в группе народов каренни представлен в работе Жана-Марка Растдорфера, посвященной кая и их идентичности [24]. Лаху рассказывают, что когда-то давно умели писать и ссылаются на утраченную книгу. Они действительно известны тем, что обладали некими свитками с иероглифическими знаками, которые не могли прочесть [6. Р. 129]. Впечатление, что появление подобных историй в значительной степени обусловлено скрытым в них обращением к более сильным группам с развитой государственностью и системой письменности, подкрепляется тем, что таковые встречаются и за пределами региона [7. Р. 88—89].

Легенды о предательстве столь же распространены, как и рассказы о небрежности. Отдельные этнические группы располагают обеими версиями, видимо, используя каждую из них для соответствующих слушателей и ситуаций.

Один вариант объяснения каренами утраты письменности обвиняет в этом бирманских королей, которые якобы продолжали захватывать и казнить всех грамотных каренов до тех пор, пока не осталось ни одного, кто мог бы научить писать остальных.

Легенда народа кхму (ламет) в Лаосе связывает утрату им письменности с попаданием в политическую зависимость. Семь деревень решили вместе заниматься подсечно-огневым земледелием на одной горе и поклялись совместно противостоять своему тайскому повелителю. Они записали свою клятву на ребре буйвола, которое было торжественно погребено на вершине горы. Но позже ребро было выкопано и украдено, и «в тот день утратили мы свои знания письменности и с тех пор страдали от власти своего *lam* [тайского господина]» [5. Р. 151].

История чинов, ставшая известной в начале двадцатого столетия, обвиняет в безграмотности народа бирманский обман. Чины, как и другие племена, появи-

лись из 101 яйца. Будучи рождены последними, чины были самым любимым народом, но к моменту их рождения земля уже была поделена, поэтому им достались незанятые горы и населяющие их животные. Назначенный им бирманский опекун обманул их, лишив слонов (символа королевской власти), и показал им пустую оборотную сторону грифельной доски, чтобы они никогда не узнали ни одной буквы [30. Р. 443—444].

Репертуар историй об утрате письменности белыми хмонгами включает в себя рассказы и о небрежности, и о предательстве. По одной версии хмонги, убегая от ханьцев, заснули, и лошади съели их тексты; или же тексты по ошибке попали в рагу и были съедены. Вторая и более зловещая версия гласит, что ханьцы, вытесняя хмонгов из долин, забрали все их тексты и сожгли. Образованные хмонги укрылись в горах, а когда они умерли, у народа не осталось системы письменности [31].

В некоторых группах, например хмонгов и мьенов, утрата письменности прочно ассоциируется с общим восприятием истории как свойственной живущим в долинах и обладающим государственностью народам. Эти группы утверждают, что прежде чем их вытеснили с равнин, у них были короли, они занимались ирригационным рисоводством и обладали системой письменности, т.е. всеми теми элементами, за отсутствие которых они сегодня стигматизируются. В этом контексте грамотность и письменные тексты не являются для горных народов чем-то новым и неизведанным — скорее это возвращение прежде утраченного или украденного. Неудивительно потому, что прибытие миссионеров с библиями и системами письменности для племенных диалектов часто воспринималось как восстановление утерянной культурной ценности и даже приветствовалось, поскольку не имело отношения к бирманцам или ханьцам.

Почему нам важны все эти легенды об утраченной грамотности? Вполне вероятно, если мы рассмотрим их в длительной исторической перспективе, что они содержат в себе долю исторической правды. Тай, хмонги/мяо и яо/мьен, судя по тому, что говорят реконструкции их прошлых миграционных перемещений, изначально жили в долинах и вполне могли когда-то давно быть подданными рисовых государств или, в случае многочисленных тайских групп, сами заниматься государственным строительством. Многие другие горные народы в далеком и относительно недавнем прошлом были тесно связаны (даже если не были ими поглощены) с равнинными королевствами с их грамотными элитами. Соответственно, можно предположить, что те из народов, что перебирались с долин в горные районы, включали в себя, по крайней мере, незначительное грамотное меньшинство. Легенда хмонгов о вымирании такового, видимо, содержит в себе зерно истины, хотя и не объясняет, почему знания не были переданы. В разные моменты своей истории карены поддерживали тесные связи с рядом владеющих письменностью рисовых государств — монским Пегу, тайским Нан Чао, бирманскими и тайскими культурными традициями, и подобные контакты не могли не породить хотя бы небольшой класс грамотных.

Гананы, сегодня бесписьменный народ, проживающий в верховьях реки Му, почти наверняка были частью владеющего письменностью королевства (коро-

левств) Пиу до того, как укрылись в своих укреплениях в горах. Как и подавляющее большинство других горных народов, гананы и хмонги сохраняют множество культурных практик и верований тех жителей долин, с которыми когда-то поддерживали отношения. Если, как я полагаю, многие, возможно даже большинство современных горных народов действительно имели «равнинное» прошлое, то подобная культурная преемственность не должна вызывать удивления. Но почему же тогда практически повсеместно горные народы не заимствовали у долин грамотность и систему письма?

ОГРАНИЧЕНИЯ ГРАМОТНОСТИ И ПРЕЦЕДЕНТЫ ЕЕ УТРАТЫ

В общепринятых цивилизационных нарративах нет места утрате или отказу от грамотности. Обретение письменности рассматривается как путешествие в один конец, наравне с переходом от кочевого земледелия к поливному рисоводству и от лесных поселений к деревням, малым и крупным городам. И все же грамотность в досовременных обществах в лучшем случае была уделом мизерной доли населения, составлявшей, вероятно, менее одного процента от его общей численности. Грамотность была социальным маркером писцов, получивших хорошее образование религиозных деятелей и очень тонкой прослойки ученой аристократии, если речь идет о ханьцах. Поэтому предполагать, что какое-то государственное образование или народ полностью были грамотными, некорректно; во всех досовременных обществах подавляющее большинство населения было безграмотным и жило в рамках устной культуры, пусть и пронизанной и изменяемой текстами. Во многих случаях не будет преувеличением сказать, что, с демографической точки зрения, судьба грамотности и письменности нередко висела на волоске. Они были уделом крохотной элиты, их социальное значение, в свою очередь, определялось государственной бюрократией, организованным духовенством и спецификой социальной пирамиды, в которой грамотность могла быть средством продвижения вверх по социальной иерархии и признаком социального статуса. Любое событие, которое угрожало элементам этой институциональной структуры, угрожало и грамотности.

Некий институциональный коллапс, видимо, стал причиной четырехсотлетних «Греческих Темных веков», продлившихся примерно с 1100 г. до н.э. (времен Троянской войны) до 700 года. До этого периода микенские греки, по крайней мере, какая-то небольшая их часть, вели записи с использованием крайне сложного для понимания письма (линейного слогового письма Б), заимствованного у минойцев в целях, прежде всего, учета дворцовых административных решений и налоговых поступлений. По причинам, которые до сих пор не вполне ясны, — дорийское нашествие с севера, гражданская война, экологический кризис или голод — дворцы и города Пелопонесса были разграблены, сожжены и заброшены, что привело к краху международной торговли и породило потоки беженцев и в целом миграцию населения. Эта эпоха получила название «Темные века» именно потому, что о ней не сохранилось никаких письменных свидетельств, вероятно, вследствие утраты линейного письма Б в хаосе и рассеянии населения того времени. Поэмы

Гомера «Илиада» и «Одиссея» и устные сказания, передававшиеся от поэта к поэту и только значительно позже записанные, — единственные дошедшие до нас культурные артефакты Темных веков. Примерно в 750 г. до н.э., в достаточно мирное время, греки возродили письменность, на этот раз позаимствовав у финикийцев их древнейшую алфавитную систему, позволяющую графически отображать звуки реальной речи. Этот исторический эпизод — один из ярчайших имеющихся в нашем распоряжении примеров того, как система письменности была утрачена, а позже обретена вновь.

Другой пример, в котором, правда, письменность была не полностью утрачена, — эпоха, последовавшая за крахом потрепанных жизнью осколков Римской империи в 600 г. Знание латыни, которое прежде было столь же дорогостоящим, сколь и обязательным атрибутом невоенной карьеры в Римской империи, теперь не имело никакого смысла, за исключением, пожалуй, своеобразного украшения. Способом защитить себя и обрести власть для местных элит стала военная служба местному царю. Грамотность настолько упала в цене, что считалась необходимой лишь духовенству даже в районах Галлии, прежде полностью латинизированных. В отдаленной Британии внешний лоск римской культуры и образования испарился. Именно Римское государство и его институты поддерживали контекст, в котором письменность и грамотность были «основополагающим компонентом элитарности», ровно так же как микенский социальный порядок обеспечивал существование более ограниченного по масштабам использования линейного слогового письма Б в Древней Греции. Когда разрушалось институциональное ядро системы, исчезал и социальный фундамент письменности и грамотности [11. Р. 441].

Предположим, что многие современные горные народы в тот или иной момент своей истории проживали вблизи или внутри равнинных государств, характеризующихся некоторой степенью грамотности. Предположим далее, поскольку это вполне разумно, что небольшая доля собственных элит горных народов становилась грамотной, например, используя китайскую систему письма. В таком случае как же можно объяснить последующую утрату ими письменности? Здесь вновь первое, о чем нам следует помнить, — насколько тонка была грамотная прослойка ханьского общества, не говоря уже о тех народах, которые ханьское государство поглощало по мере расширения своих границ. По сути, мы говорим о небольшой горстке грамотных людей. Во-вторых, те, кто владел системой письменности равнинных государств, скорее всего составляли элиту, чьи бикультурные навыки превращали их в наиболее выгодных равнинному государству союзников и должностных лиц, которые, если сами того желали, могли встать на путь ассимиляции. Значит, как считает большинство историков, крупные сегменты сегодня малочисленных горных народов в прошлом были поглощены ханьской экспансией: можно предположить, что их образованные меньшинства остались в долинах и ассимилировались, поскольку поступить подобным образом им было исключительно выгодно. Соответственно, эмигрирующие или покидающие центры равнинных государств народы, видимо, оставляли в них большую часть, если не всю свою образованную прослойку.

Следуя этой логике рассуждений, можно предположить, что несколько грамотных людей, влившихся в ряды сопротивляющихся поглощению государства и бегущих от него, неоднозначно воспринимались своими соплеменниками: они были искусны в письме, считавшемся отличительной чертой государства, от которого бежала группа; их знания могли, с одной стороны, считаться полезными, с другой — их могли воспринимать как потенциальную пятую колонну. В последнем случае они могли предпочесть утратить свой образованный статус и отказывались обучать письменности других.

Иное возможное объяснение утраты письменности заключается в том, что таковая стала логическим следствием фрагментации, мобильности и распада социальной структуры, обусловленных миграцией в горы. Уход из равнинных центров государственности означал отказ от сложной социальной структуры ради мобильности. В подобной ситуации письменность и тексты больше не были нужны и отмирали как практическая деятельность, хотя и сохранялись как память. Как и в Римской империи, распространение грамотности и текстов напрямую зависело от существования конкретного государства и его бюрократических процедур: государственные документы, кодексы законов, летописи, в целом искусство ведения записей, налоги и экономические сделки и, прежде всего, модели распределения постов и иерархии, принятые в данном государстве, превращали грамотность в желаемое и престижное обретение. Как только эта структура распадалась, социальные стимулы обретения грамотности и механизмы ее распространения стремительно исчезали.

ОГРАНИЧЕНИЯ ПИСЬМЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА УСТНОЙ ТРАДИЦИИ

До сих пор причины утраты письменности мы сводили к исчезновению грамотных людей, а также контекстов, которые определяли высокую ценность их услуг. Однако, как мне кажется, значительно важнее позитивные последствия перехода к устной культуре. Аргументы в пользу таковых базируются, в первую очередь, на очевидных, по сравнению с письменной традицией, преимуществах устной культуры — социальной гибкости и адаптации.

Для обоснования своей аргументации я выношу за скобки те случаи, когда секретные виды письма и надписи считались обладающими волшебной силой [22. Р. 224]. Магические письмена и знаки широко распространены по всему региону и используются так же, как волшебные заклинания и заговоры, призванные символически «воздействовать на мир». Подобные письмена изображают на талисманах и вытатуировывают на теле, их благословляют монахи и шаманы, которые ручаются за их способность охранять своего владельца, а потому они выполняют функцию мощных фетишей. Хотя магические письмена свидетельствуют о символической власти письма и сами по себе заслуживают отдельного рассмотрения, они не формируют систему письменности в том смысле, в каком я ее понимаю. Я также выношу за рамки своего исследования те обнаруживаемые по всему региону письмена, роль которых сводится исключительно к памятным

пометкам на службе устной культуры. Так, например, считается, что яо/мьен на юге провинции Хунань в доханьские времена имели простейшую систему письменности, помогавшую им запоминать похоронные песни — они могли быть даже вышиты на одежде. Подобную ограниченную модель письменности — без постоянных текстов, литературы и документов — сколь бы ни завораживала попытка использовать систему письма в, по сути, устной культуре (это как если бы Гомер разработал систему знаков, чтобы запоминать и декламировать сложные строфы Одиссеи), мы также оставим без внимания [25. P. 215—229].

Существование особых, с ограниченной сферой применения, моделей письменности — полезное напоминание о том, что тексты в широком смысле слова могут обретать разные обличья, из которых книги и документы — всего лишь два из множества возможных. Я осмелюсь предположить, что все иерархии, претендующие на межпоколенную долговечность, производят как нечто само собой разумеющееся «тексты», которые подтверждают их претензии на власть и господство. Подобные тексты до появления письменности могли существовать в виде материальных объектов — корон, гербов, трофеев, мантий, головных уборов, королевских цветов, фетишей, реликвий, стел, монументов и т.д. Государство, как самый амбициозный претендент на власть, бесконечно преумножает эти «тексты», доказывая свое постоянство. Первые государства сочетали вечность каменных скрижалей с письменностью или пиктографией для утверждения претензий на непреходящую власть.

Основной недостаток монументов и письменных текстов заключается именно в их относительном постоянстве. Несмотря на всю свою условность, будучи возведены/записаны, они превращаются в социальных ископаемых, которые в любой момент могут быть «откопаны» и извлечены на свет в своем неизменном виде. Любой письменный текст порождает возможность ортодоксии — будь то легенда о происхождении, предание о переселении, генеалогия или религиозная книга, как Библия или Коран [8; 9]. Безусловно, ни один текст не обладает совершенно прозрачным смыслом; если же речь идет о множестве конкурирующих тестов, то возможности интерпретационных маневров многократно возрастают. Тем не менее, текст остается отправной точкой рассуждений; он определяет если не невозможность, то неправдоподобие ряда прочтений. Если есть текст, признаваемый неоспоримой точкой отсчета, то он становится своеобразным мериллом, по которому можно примерно оценить отклонения от первоисточника. Этот процесс обретает наиболее поразительные формы, когда текст признается авторитетным. Предположим, некий текст утверждает, что народ X возник в определенном месте, сбегал от несправедливых налогов конкретного короля равнинного государства, следовал в своих перемещениях некоторым маршрутом, поклонялся особым духам-покровителям и свойственным лишь себе образом хоронил мертвых. Появление подобных текстов влекло за собой серьезные последствия, поскольку упрощало институционализацию некой общепринятой нормативной версии событий. Такую собственно и можно было из них узнать, и этот факт объясняет привилегированное положение грамотных писцов, которые умели читать. Любые последу-

ющие трактовки, в зависимости от степени соответствия первоначальному нормативному тексту, порождали различные версии инакомыслия. В то же время споры в рамках устной культуры о том, какая именно из проговариваемых версий событий заслуживает доверия, нельзя разрешить, апеллируя к авторитету некоего письменного текста.

Письменные тексты, как и все документы, возникают в определенном историческом контексте и таковой отражают — в этом смысле они всегда «заинтересованные» и исторически детерминированные. В момент создания они вполне могут служить целям презентации истории группы в выгодном для нее свете.

Но что если ситуация принципиальным образом меняется и представленный в тексте образ группы становится ей неудобен? Что если вчерашние враги сегодня стали союзниками и наоборот? Если текст достаточно многозначен, то может иначе интерпретироваться, чтобы соответствовать новым реалиям. Если он не полисемичен, то его можно сжечь или выкинуть; в случае монументов с помощью долота приходилось уничтожать выбитые на них имена и события [3. Р. 50]. Легко заметить, что по прошествии времени зафиксированные версии событий могут с тем же успехом стать ловушкой и препятствием, с каким ранее были инструментом успешной дипломатии (Стремление стереть с лица земли все неудобные упоминания о человеке — в виде надписей или памятников — суть римской традиции *damnatio memoriae* (проклятия памяти), согласно которой по решению Сената уничтожались все записи и скульптурные изображения гражданина или трибуна, который запятнал себя предательством или опозорил Республику. Конечно, решение о *damnatio memoriae* было официальным, письменно фиксировалось и должным образом регистрировалось. Египтяне уничтожали картуши, изображавшие фараонов, если хотели стереть их имена из истории. Это напоминает советскую практику удаления с фотографий тех товарищей Сталина, кто в результате конфликтов с ним пал жертвой репрессий в 1930-е гг.).

Для горных народов и безгосударственных сообществ в целом мир письменной культуры и текстов неразрывно связан с государством. Равнинные рисовые государства становились центрами письменности не только как культовый оплот мировых религий, но и потому что письмо — ключевая технология административного и государственного управления. Сложно представить себе рисовое государство без кадастровых карт налогооблагаемых земель, реестров отработки барщины, расписок, статистического учета, королевских указов, сводов законов, специальных соглашений, договоров и списков, списков, списков — короче говоря, без системы письменности [32].

Элементарная форма государственного управления — перепись населения и домохозяйств — основа системы налогообложения и воинского призыва. Из всех письменных текстов, сохранившихся от древнего города-государства Урука в Месопотамии, 85% составляют записи экономического характера [17. Р. 180]. Как отметил Клод Леви-Стросс, «письменность, видимо, необходима централизованному стратифицированному государству, чтобы воспроизводить себя. Письменность — странная вещь... Один феномен, который неизменно ее сопровождает, — форми-

рование городов и империй: интеграция политической системы, т.е. включение значительного числа индивидов в иерархию каст и рабов... Такое впечатление, что письменность скорее способствует эксплуатации, чем просвещению человечества» [19. Р. 291].

В общеизвестной истории акха о странствиях («дорогах») своего народа он описывается как когда-то прежде выращивавший рис на равнинах и жестоко угнетавшийся правителями и-лоло. Ключевой фигурой прошлого в этом нарративе выступает король Жабьоланг, величайшее преступление которого состояло, по мнению акха, в том, что он ввел ежегодные переписи [34. Р. 133]. Сама идея переписи (*jajitjieu*) символизирует аппарат государственной власти. Начало колониальной эпохи изобилует восстаниями коренных народов против первых переписей: крестьяне, как и племена, прекрасно понимали, что перепись — всегда лишь прелюдия к налогам и барщинным отработкам.

Схожее восприятие систем письменности и учета пронизывает историю колониальных крестьянских восстаний против государства. Основным объектом крестьянского гнева нередко были не столько колониальные чиновники, сколько документы, фиксирующие права собственности на землю, налогооблагаемые объекты и численность населения, посредством которых, по мнению крестьян, чиновники осуществляли управление. Мятежникам казалось, что само по себе сожжение здания с архивной документацией гарантирует им некое освобождение.

Но связывание письменности с государственным угнетением не было особенностью колониального мира. Радикальные силы Гражданской войны в Англии (диггеры и левеллеры) считали, что латынь, на которой писались законы и говорило духовенство, призвана мистифицировать народ, чтобы власти могли его обирать. Сам факт знания человеком букв мгновенно порождает у них подозрения [24; 12].

По большей части первые шаги любого государственного строительства были связаны с присвоением названий тем объектам, что прежде многократно их меняли или были безымянны, — деревням, округам, родам, племенам, вождям, семьям и полям. Процесс придумывания названий, будучи встроен в систему административного управления, порождает прежде не существовавших социальных субъектов. Для ханьских чиновников одной из отличительных черт «варваров» было отсутствие отчеств. Существование подобных стабильных имен у самих ханьцев было обусловлено их прежними попытками создания государственности. В этом смысле любые элементы идентичности и пространственного размещения, позже обретающие собственную генеалогию и историю, в своем официальном, стабильном формате — эффект государства, неразрывно связанный со становлением письменности.

Для многих безгосударственных до- и постписьменных народов мир грамотности и письменной культуры не просто напоминание об отсутствии у них власти и знаний и обусловленной этим фактом стигматизации, но одновременно прямая и явная угроза. Обретение письменности, напрямую связанной с государственной властью, легко могло стать инструментом и лишения всех прав, и обретения мно-

гих прав и возможностей. Отказ обучаться или сохранить систему письменности — одна из множества стратегий, чтобы остаться за пределами досягаемости государства, хотя, возможно, более разумно было бы полагаться на «знания, которые позволили бы сопротивляться бюрократической кодификации» [27. Р. 108, 111; 29. Р. 38].

Безгосударственным народам, выбравшим жизнь между мощными равнинными государствами, а потому развившим такие важные навыки выживания, как адаптивность, мимикрия, переформатирование повседневных практик и особые способы пространственной локализации, устная традиция давала существенные преимущества. В устной культуре невозможна одна единственная авторитетная модель генеалогии или истории, которая бы выступала золотым стандартом общепринятой нормы. В случае наличия двух и более толкований выбор наиболее достоверной версии событий в значительной степени обусловлен репутацией «сказителя» и тем, насколько таковая соответствует интересам и вкусам аудитории.

Во многих отношениях устная традиция намного более демократична, чем письменная, по крайней мере по двум причинам. Во-первых, умение читать и писать обычно не так широко распространено, как способность рассказывать истории. Во-вторых, редко обнаруживается простой способ «вынести решение» о наиболее правильном варианте рассказывания устной истории, потому что не существует зафиксированного письменного текста, с которым можно сравнивать устные пересказы и оценивать степень их достоверности. Устная коммуникация, даже если речь идет об «официальных» сказителях, по определению ограничена размерами той аудитории, которая собралась услышать историю непосредственно от рассказчика.

Произнесенное слово, как и в целом язык, есть коллективное действие: «связанные с ним конвенции должны разделяться целыми группами общества, различающимися по своим размерам, прежде чем его „смысл“ станет доступен отдельным членам общества» в момент передачи. «Публика контролирует исполнителя, поскольку он вынужден выступать таким образом, чтобы они [люди из публики] могли не только запомнить то, что услышали, но и отобразить это в своей повседневной речи... Язык греческого классического театра не только развлекал публику, но и поддерживал существование греческого общества... Этот язык — красноречивое свидетельство тех функциональных задач, для решения которых он был предназначен, средство обеспечения социальной коммуникации — не непринужденно-повседневной, а значимой в историческом, этническом и политическом смыслах» [10. Р. 54]. С того момента, как произнесенный текст (конкретная речевая конструкция) записан и сохраняется как высказывание, он утрачивает большую часть особенностей своего порождения — интонацию, музыкальное и танцевальное сопровождение, реакции аудитории, телесную экспрессию и мимику — каждая из которых могла быть принципиально важна для передачи его изначального смысла.

На самом деле, если речь идет об устных историях и нарративах, понятие «подлинности» просто теряет смысл [21; 33. Р. 51—52]. Устная культура существ-

вует и поддерживается благодаря единичным уникальным высказываниям — в конкретном месте, в конкретное время, перед заинтересованной аудиторией. Конечно, подобные речевые высказывания не сводятся лишь к проговариванию некоторого набора слов: каждое из них учитывает окружающую обстановку, жесты и выражение лица говорящего (говорящих), реакции аудитории и собственно причины происходящего. Таким образом, устную культуру отличает непреходящая настоящесть — если бы в ней не было сиюминутной заинтересованности и она не имела смысла для данной конкретной аудитории, она просто бы прекратила свое существование. И, напротив, письменный источник может более или менее незримо сохраняться в течение тысячелетий, чтобы внезапно быть извлеченным на свет и стать авторитетным источником для отсылок.

Устные традиции соотносятся с письменными примерно так же, как подсечно-огневое земледелие — с ирригационным рисоводством и небольшие, рассеянные родовые объединения — с оседлыми сообществами с высокой концентрацией населения. Устные традиции создают «медузообразные», изменчивые, гибкие формы обычаев, истории и права. Они допускают определенный «дрейф» в содержании и акцентах с течением времени — стратегически продуманное и целенаправленное переформатирование, скажем, истории группы: одни события в ней забываются, другие подчеркиваются, третьи «вспоминаются».

Если группа, все члены которой имеют общее происхождение, распадается на две или более подгрупп, и каждая из них начинает самостоятельную жизнь в совершенно новых окружающих условиях, можно представить, насколько их устные истории в итоге окажутся различными. Поскольку устные традиции трансформируются незаметно и независимо друг от друга, невозможно обнаружить общую для них точку отсчета, которую представляет собой общий письменный текст и по которой можно было бы оценить, как далеко и по какой именно траектории каждая традиция отошла от некогда единого жизнеописания.

Устные традиции сохраняются только благодаря пересказам, а потому накапливают различные интерпретации по мере своей передачи. Каждое новое воспроизведение неизбежно отражает текущую ситуацию, интересы, политические отношения, восприятие соседних сообществ и родовых объединений. Барбара Андайя, описывая устные традиции Суматры (Джамби и Палембанга), характеризует данный процесс приспособления и трансформаций следующим образом: «с молчаливого согласия всех членов сообщества детали, чуждые его нынешнему состоянию, изымались из легенд, чтобы быть заменены новыми, релевантными, которые позиционировались как наследие предков, тем самым не позволяя настоящему утратить преемственность с прошлым, а прошлому — осмысленность» [1. Р. 8].

Устные традиции способны на удивительные подвиги самоотверженного самосохранения и межпоколенной передачи, если их носители (группы) в этом заинтересованы. Нам многое известно о традициях сказительства благодаря новаторским исследованиям сербского устного народного эпоса и, как следствие, гомеровского эпоса, а потому мы понимаем, что рифма, размер и длительное обучение могут обеспечить высокую точность изустной передачи даже очень длинных отрывков текста [13. Р. 10].

У акха особая каста пхима (*phima*) — учителей и чтецов — посредством устной передачи сохраняла довольно сложные и длинные генеалогии, описания основных событий в истории народа и нормы обычного права: они пропевались в торжественных случаях. Тот факт, что широко рассеянные группы акха, говорящие на весьма различающихся диалектах, сумели сохранить почти идентичные устные тексты, свидетельствует об эффективности применяемых для этого методов. Еще более впечатляет то обстоятельство, что акха и хани, разделившиеся более восьмисот лет назад, воспроизводят устные тексты, почти полностью понятные друг другу [34. Р. 132].

Я натолкнулся на удивительный современный пример сохранения детальной устной истории в бирманских шанских штатах — в деревне народа пао в двух днях пути на восток от Калау. В конце ужина несколько жителей деревни попросили пожилого мужчину спеть историю У Онг Та, одного из самых известных политиков пао после Второй мировой войны. У Онг Та был убит неизвестными недалеко от Таунджи в 1948 г.

Декламация, которую я записал на магнитофон, длилась более двух часов. Как показал перевод, это оказался совсем не героический эпос о бесстрашных подвигах, которого я ожидал, а исключительно приземленный и подробный рассказ о последних днях жизни У Онг Та. Больше всего он напоминал скрупулезный полицейский отчет, детально описывающий, когда Онг Та приехал в деревню и с кем, что было надето на всех прибывших, каков был цвет его джипа; с кем он разговаривал, когда пошел купаться; когда прибыло несколько человек, расспрашивающих о его местонахождении, как они были одеты, на каком джипе приехали и что сказали жене Онг Та; когда было найдено его тело, что на нем было надето, как его опознали по кольцу на пальце, каковы были результаты вскрытия и т.д.

В конце декламации певец наставлял слушателей «брать пример с этой правдивой истории, чтобы избежать утрат и искажений в истории о чем бы то ни было». Создавалось впечатление, что прикладывались всевозможные усилия для тщательной устной передачи данной информации вот уже на протяжении половины столетия, чтобы сохранить в полной неприкосновенности все устные свидетельства и значимые факты на случай серьезного полицейского расследования! Я был удивлен, когда узнал, что этому и другим певцам на землях пао платили за декламации истории убийства У Онг Та на свадьбах и праздниках. Несмотря на недостаток театральности и изобилие фактических деталей, это была популярная и почитаемая история.

Таким образом, устные традиции способны в определенных ситуациях обеспечивать схожую с зафиксированным письменным текстом дословную неизменность содержания рассказа, гарантируя ему в то же время достаточный для стратегического приспособления и трансформаций потенциал гибкости. Они фактически, и так было всегда, сочетают в себе два качества — претензии на статус изначальных ур-текстов и статус совершенно новых нарративов, причем не существует простых способов оценки справедливости подобных претензий.

Причины стратегических и незапланированных модификаций устных традиций многообразны. Как только наступает окончательное понимание, что любые

описания обычаев, генеалогий и историй ситуационно обусловлены и необъективны, их изменения с течением времени становятся общепризнанной нормой.

У качинов рассказывание историй — прерогатива профессиональных групп жрецов и сказителей, и «все истории имеют несколько версий, каждая из которых призвана подкреплять претензии конкретных заинтересованных лиц». В противоборстве качинских родов за относительно высокие статусные позиции и удовлетворение своих аристократических амбиций каждая версия происхождения народа, его истории и пантеона духов, которым качины поклонялись, окрашивалась таким образом, чтобы соответствовать интересам конкретного рода. Как предупреждает Эдмунд Лич, «не существует ‘подлинной версии’ традиции народа качин — лишь некий набор историй, в которых представлен более или менее одинаковый перечень мифологических персонажей и используются схожие типы структурного символизма... но которые при этом отличаются друг от друга в ключевых деталях, в зависимости от того, кто именно рассказывает историю» [18. Р. 265—266]. Подобная ситуация характерна не только для родовых объединений и кланов, но и для более крупных социальных единиц, например этнических групп. Со временем меняются окружающие их обстоятельства, а следовательно, интересы групп, их описание собственной истории, обычаев и даже божеств. Можно предположить, что группы каренов, проживавшие в разных условиях — по соседству с монами, тайцами, бирманцами и шанами — создали несхожие устные традиции, соответствующие каждой конкретной ситуации. Поскольку их неустойчивое политическое положение было подвержено резким и радикальным изменениям, пластичная устная традиция была позитивным преимуществом. Если, как утверждает Рональд Ренард, культура каренов может «полностью развернуться на месте» и превосходно адаптирована к перемещениям и изменениям, то их устная традиция способствовала тому не в меньшей степени, чем кочевое земледелие и пространственная мобильность [26].

Речь отнюдь не идет о циничной манипуляции, не говоря уже о сознательном конструировании абсолютно ложной версии событий — устные традиции изменяются практически незаметно сказителями, которые не считают себя мастерами формулировать истину. Модификации в основном сводятся к избирательным акцентам и умолчаниям, потому что определенные версии кажутся более важными или соответствующими текущей ситуации. Здесь применимо понятие *бриколаж*, поскольку вариативные устные традиции часто состоят из одних и тех же базовых элементов, однако их организация, расстановка акцентов и морально-этическая нагрузка различны. Яркий пример тому — декламации генеалогических историй, посредством которых многие горные народы устанавливали отношения союзничества или вражды. Генеалогические связи можно было увеличивать бесконечно, потому и не было числа предкам народа. Отсчитав лишь восемь поколений по мужской линии, можно было обнаружить 255 прямых предков, а по линии обоих родителей это число увеличивалось вдвое — до 510. Решение о том, какую именно из множества генеалогических ветвей исключить, отслеживать или акцентировать, в некотором смысле носило произвольный характер. По той или иной генеалогической линии Авраам Линкольн окажется предком большинства амери-

канцев. С той же вероятностью они могли обнаружить в своей родословной Джона Уилкса Бута, однако не склонны выяснять этот факт и тем более подчеркивать свое родство!

Стратегически отбирая и акцентируя внимание на конкретных предках, можно было установить такие фактические генеалогические взаимосвязи, которые помогли бы легитимировать нынешние союзы. В этом смысле сложные родословные предлагают огромный выбор возможных взаимосвязей, большинство из которых остаются в тени, хотя в случае необходимости могут быть извлечены на свет. Чем более неустойчива социальная среда, чем чаще группы делятся и воссоединяются, тем выше вероятность, что множество забытых предков вновь вступит в игру. Считается, что берберы могут раздобыть генеалогический ордер практически на любой выгодный им политический союз, на получение прав на выпас скота или на случай войны.

Документально зафиксированная генеалогия, наоборот, устанавливает единственный вариант рассказывания общепризнанной версии событий, фактически лишая его хронологичности и представляя как раз и навсегда данную и неизменную форму будущим поколениям. Первый письменный политический документ Японии (712 год) представляет собой генеалогическую историю великих родов, которая была очищена от «неправды», запомнена, а затем записана и сохранена как основополагающий текст официальной традиции. Его задачей была кодификация избирательного и политически выгодного сочетания множества нарративов и официальное объявление его единственно верной и неизменной священной историей [33. Р. 47]. Отныне все прочие версии считались инакомыслием.

Официальная династическая генеалогия повсеместно возникала непосредственно в момент осуществления политической централизации. Приход к власти одного из множества мелких королевств Макассара был, по сути, гарантирован созданием письменной генеалогии, «документально подтвердившей» квазибожественность победившей правящей семьи [4]. Практически всегда письменные генеалогии были призваны обосновать и подкрепить властные претензии, что было невозможно сделать, если они заявлялись только в устной форме. Исследуя первые генеалогии в ранней истории Шотландии, Маргарет Ниек подчеркивает различие устной и письменной форм их фиксации: «В русле традиций устной культуры... подходящие генеалогии создавались относительно легко за счет целенаправленной манипуляции доказательствами, поскольку было крайне мало возможностей внешнего подтверждения каких бы то ни было заявлений... Как только генеалогия получала документальное оформление, она прочно, как никогда прежде и помыслить было нельзя, закрепляла за определенными индивидами и семьями статус должностных лиц. Фабрикация претензий, чтобы оспорить власть и положение подобных индивидов, потребовала бы получения доступа к соответствующим документам, которые действительно существовали, а также к технологиям, необходимым для производства альтернативных версий генеалогий» [23. Р. 245].

То же самое можно сказать и об имеющемся в распоряжении групп наборе историй, схожих с указанными генеалогическими вариациями. Возможности отбора, акцентирований и умолчаний здесь также бесчисленны. Возьмем в качестве достаточно банального примера взаимоотношения Соединенных Штатов с Вели-

кобританией. Тот факт, что американцы вели две войны против Великобритании (Американская революционная война и Англо-американская война 1812 г.), обычно замалчивается в свете союзничества двух стран в двадцатом веке в ходе мировых войн и холодной войны. Если бы Соединенные Штаты и сегодня были противником Великобритании, скорее всего доминировала бы иная, чем сегодня, версия прошлого.

Возможности модификаций, безусловно, столь же богаты в случае письменных историй и генеалогий, как и если речь идет об их устных аналогах. Различие состоит в том, что избирательное забывание и запоминание в рамках устной традиции происходит более незаметно и гладко, поскольку здесь изменения наталкиваются на меньшее количество препятствий и то, что на самом деле является абсолютным новшеством, может легко быть представлено как голос прошлого, не опасаясь особых возражений.

ПРЕИМУЩЕСТВА ЖИЗНИ БЕЗ ИСТОРИИ

Если устная история и генеалогия предоставляют больше возможностей для маневра, чем их письменные аналоги, то, видимо, самое радикальное из всех возможных решений — утверждать полное отсутствие какой бы то ни было истории и генеалогии. Так, Хьёрлифур Йонссон противопоставляет лису народам луа и мьен. Лису, помимо настойчивых утверждений, что они убивают слишком напористых вождей, имеют предельно сокращенную версию устной истории. Йонссон утверждает, что «лису забывают столь же упорно, как луа и мьен запоминают». Он полагает, что лису почти полностью отказались от истории, чтобы целенаправленно «лишить социальные структуры выше уровня домохозяйств, такие как деревни или объединения деревень, их активной роли в ритуальной жизни, в социальной организации, в мобилизации общественного внимания, труда и ресурсов» [14. С. 136; 28. Р. 20].

Стратегия лису принципиальным образом расширяет пространство для маневра в двух отношениях. Во-первых, любая история, любая генеалогия, пусть даже в устной форме, представляет собой некое позиционирование относительно других групп, причем это лишь один из множества возможных вариантов. Сделанный выбор может оказаться неудачным; изменить его мгновенно, даже в рамках устной традиции, невозможно. Лису, в результате отказа демонстрировать свою приверженность какой бы то ни было трактовке прошлого, для утверждения своей традиционной автономности ничего не приходится менять — пространство для маневра становится почти безграничным.

Но безысторичность лису глубоко радикальна и по другой причине. Абсолютно все они отрицают категорию «лису» как собственную идентичность, за исключением, видимо, тех случаев, когда сталкиваются с чужаками. Отказываясь от истории — не располагая общей трактовкой прошлого и общепризнанной генеалогией, которые бы определяли групповую идентичность народа, — лису фактически устраняют все элементы культурной идентификации, выходящие за пределы индивидуального домохозяйства. Можно сказать, что лису сконструировали абсолютно «медузообразную» культуру и идентичность, отказавшись себя как бы то

ни было позиционировать! Подобная стратегия сокращает возможности коллективного сопротивления, но в то же время максимизирует способности адаптации к неустойчивой внешней среде.

Как уже говорилось выше, относительно слабые горные народы могли счесть выгодным избегание письменной традиции и фиксированных текстов или же полностью от них отказаться, чтобы расширить себе пространство для культурного маневра. Чем короче их генеалогии и история, тем меньше им нужно объяснять и тем больше придумывать не сходя с места. В Европе показателен в этом отношении пример цыган. Будучи повсеместно преследуемым народом, они не сформировали единой письменности, заменив ее богатой устной традицией, в которой высоко почитаются сказители. У цыган нет единой версии исторического прошлого. Они не рассказывают о своем происхождении или обещанной им земле, куда все они стремятся. У них нет ни святынь, ни гимнов, ни руин, ни памятников. Если когда-либо и существовал народ, которому пришлось скрывать, кто он и откуда пришел, то это были цыгане. Скитаясь из страны в страну и в большинстве из них подвергаясь гонениям, цыгане постоянно вынуждены были модифицировать свои истории и идентичности, чтобы выжить. Цыгане — кочевой скитающийся народ.

Но сколько «истории» нужно или хочется иметь народу? Краткий анализ устной и письменной традиций поднимает более широкий вопрос: какова в конечном итоге та социальная единица, что является носителем исторического сознания, независимо от того, передается оно из поколения в поколение в устной или письменной форме?

В случае формирования централизованного правительства и правящей династии очевидно, что они стремились закрепить свои притязания (даже если таковые и были полностью сфабрикованы) на легитимность и древнее происхождение посредством создания соответствующих генеалогий, придворных преданий, эпоса и хвалебных гимнов. Сложно представить институциональные претензии на естественность и неизбежность власти, которые бы существенным образом не опирались на историю — устную или письменную. То же самое касается практически любых социальных иерархий.

Утверждение, что какой-то конкретный род выше некоего другого или что определенный город обладает привилегированным положением по сравнению с другим, чтобы не выглядеть голословным или основанным на грубой силе, должно было подкрепляться ссылками на историческое прошлое и легенды. Можно даже сказать, что любые заявления о более высоком положении или социальном неравенстве, выходящие за пределы одного поколения, обязательно нуждаются в историческом обосновании. Подобные претензии не требуют устного или письменного закрепления — как это часто случается в горах, они могут базироваться на владении ценными регалиями, гонгами, барабанами, печатями, реликвиями, даже головами, выставление которых на всеобщее обозрение на торжественных церемониях свидетельствует о властных притязаниях их владельцев. Оседлые сообщества, даже если они не жестко социально дифференцированы, склонны

не только создавать устойчивые версии своего происхождения и жизненного пути, но и до такой степени историизировать свое право владения полями и жилыми постройками, что они превращаются в ценное имущество.

Но что же тогда нужно тем людям, что живут на окраинах государства, в социально не иерархизированных системах родства и часто меняют местоположение своих сельскохозяйственных занятий, как, например, подсечно-огневые земледельцы? Не следует ли из всего сказанного выше, что подобные группы не только предпочитают устную традицию по причине ее пластичности, но и вообще не особенно нуждаются в какой-либо версии собственной истории? Во-первых, «единица, хранящая историю» и составляющие ее родословные, может быть весьма изменчива и неустойчива. Во-вторых, какой бы ни была подобная единица, если речь идет о подсечно-огневых земледельцах, то она им мало интересна с точки зрения защиты исторически сложившихся привилегий, поскольку у них есть масса стратегически важных причин оставлять свое прошлое открытым для импровизаций.

В своей классической работе по устной истории Ян Вансина приводит убедительные примеры, подтверждающие мою аргументацию, противопоставляя устные традиции соседних Бурунди и Руанды. У них много общего, но Бурунди менее иерархизированное и централизованное государство, в результате чего, как утверждает Вансина, здесь гораздо меньше устной истории, чем в централизованной Руанде: «В Бурунди, в отличие от Руанды, не существует королевской генеалогии, придворных песен и династической поэзии. Подвижность всей политической системы просто поражает. Здесь нет ничего, что могло бы способствовать формированию детальной устной традиции: ни историй провинций, потому что таковые были нестабильны, ни историй известных семей, потому что помимо королевской семьи [узурпатора с незначительными властными полномочиями] таковых просто не существовало, ни централизованного правительства, а, соответственно, и официальных историков... В общих интересах было забыть прошлое. Прежний старший регент страны рассказал мне, что история не представляла никакого интереса для двора, поэтому практически отсутствуют исторические хроники. Политическая система объясняет почему» [33. Р. 115].

Письменная и устная культуры не исключают друг друга: невозможна устная традиция, в которой не сложились тексты, как и не существует основанного на текстах общества, в котором отсутствует параллельная письменной и иногда противостоящая ей устная традиция. Как и в случае с поливным рисоводством и подсечно-огневым земледелием или иерархической и эгалитарной социальными формами, видимо, правильнее говорить о колебаниях и переходах от одной традиции к другой. Если преимущества жизни в основанном на текстах государстве множились, то безгосударственные сообщества могли постепенно усваивать письменность и грамотность; как только эти преимущества сходили на нет, безгосударственные народы стремились вернуться или остаться преимущественно в рамках устной традиции.

Отношение народа, родового объединения или сообщества к своей истории позволяет понять его восприятие государственности. Все социальные группы об-

ладают некоей формой истории, рассказа о себе — кто они и как оказались там, где сегодня живут. Но на этом сходства подобных историй заканчиваются. Периферийные группы без руководящей верхушки склонны акцентировать в своих версиях прошлого маршруты передвижений, поражения, миграции и особенности ландшафта. Статусные различия, героическое происхождение и территориальные претензии, наоборот, составляют суть процессов централизации и (потенциально) становления государственности. Различается не только содержание, но и форма осмысления прошлого.

Письменная традиция обладает огромной инструментальной ценностью для процессов политической централизации и администрирования. С другой стороны, устная традиция предоставляет существенные преимущества тем народам, чье благополучие и выживание зависят от скорости адаптации к капризному и опасному политическому окружению. И, наконец, прослеживаются различия в том, сколько именно истории предпочитают иметь разные народы. Например, лису и карены, видимо, любят путешествовать налегке и, насколько это возможно, снижают «вес» своего исторического багажа. Как шкиперы трамповых судов, они по своему опыту знают, что нельзя уверенно предсказать, в какой именно порт им придется зайти в следующий раз.

Безгосударственные народы обычно стигматизируются окружающими их культурами как «народы без истории», т.е. как не обладающие фундаментальной характеристикой цивилизации — историчностью [16]. Во-первых, стигматизация предполагает, что только письменная традиция способна нарративно конструировать идентичность и общее прошлое. Во-вторых и что более важно, незначительный объем истории у народа отнюдь не является индикатором низкой ступени эволюции — это всегда сознательный выбор, отражающий попытку определенным образом самопозиционироваться по отношению к мощным, основанным на письменных текстах соседним культурам.

Пер. с англ. И.В. Троцук

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Andaya B.W. *To Live as Brothers: Southeast Sumatra in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*. Honolulu: University of Hawai'i Press; 1993.
- [2] Buckley Ebery P. *The Cambridge Illustrated History*. Cambridge University Press; 1996.
- [3] Collins J., Blot R. *Literacy and Literacies: Text, Power, and Identity*. Cambridge University Press; 2003.
- [4] Cummings W. *Making Blood White: Historical Transformations in Early Modern Makassar*. Honolulu: University of Hawai'i Press; 2002.
- [5] Evrard O. Interethnic systems and localized identities: The Khmu subgroups (Tmoy) in North-west Laos. *Social Dynamics in the Highlands of Southeast Asia: Reconsidering the Political Systems of Highland Burma by E.R. Leach*. Ed. by F. Robinne, M. Sadan. Leiden: Brill; 2007.
- [6] Fiskesjö M. *The Fate of Sacrifice and the Making of Wa History*. Ph.D. thesis. University of Chicago; 2000.
- [7] Fonseca I. *Bury Me Standing: The Gypsies and Their Journey*. N.Y.: Knopf; 1995.
- [8] Harris R. *Rethinking Writing*. L.: Athlone; 2000.

- [9] Harris R. *The Origin of Writing*. L.: Duckworth; 1986.
- [10] Havelock E.A. *The Muse Learns to Write: Reflections on Orality and Literacy from Antiquity to the Present*. New Haven: Yale University Press; 1986.
- [11] Heather P. *The Fall of the Roman Empire: A New History of Rome and the Barbarians*. Oxford University Press; 2006.
- [12] Hill P. *The World Turned Upside Down: Radical Ideas during the English Revolution*. Harmondsworth: Penguin; 1975.
- [13] Janko R. Born of Rhubarb. Review of M.L. West “*Indo-European Poetry and Myth*”. Oxford University Press, 2008. *Times Literary Supplement*. February 22, 2008.
- [14] Jonsson H. *Shifting Social Landscape: Mien (Yao) Upland Communities and Histories in State-Client Settings*. Ph.D. diss. Cornell University; 1996.
- [15] Kopytoff I. *The African Frontier: The Reproduction of Traditional African Societies*. Bloomington: Indiana University Press; 1987.
- [16] Kosseleck R. *The Practice of Conceptual History: Timing, History, Spacing Concepts*. Stanford University Press; 2002.
- [17] Larsen M.T. Introduction “Literacy and social complexity”. *State and Society: The Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization*. Ed. by J. Gledhill, B. Bender, M.T. Larsen. L.: Routledge; 1988.
- [18] Leach E. *The Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure*. Cambridge: Harvard University Press; 1954.
- [19] Levi-Strauss P. *Tristes Tropiques*. Trans. by J. Weightman, D. Weightman. N.Y.: Atheneum; 1968.
- [20] Lewis P. *Ethnographic Notes on the Akha of Burma*. New Haven: HRA Flexbooks; 1969—1970. Vol. I.
- [21] Lord A. *The Singer of Tales*. N.Y.: Atheneum, 1960.
- [22] Michaud J. *Historical Dictionary of the Peoples of the Southeast Asian Massif*. Lanham: Scarecrow; 2006.
- [23] Nieke M.R. Literacy and power: The introduction and use of writing in early historic Scotland. *State and Society: The Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization*. Ed. by J. Gledhill, B. Bender, M.T. Larsen. L.: Routledge; 1988.
- [24] Rastdorfer J.-M. *On the Development of Kayah and Kayan National Identity: A Study and a Bibliography*. Bangkok: Southeast Asian Publishing; 1994.
- [25] Reid A. *Southeast Asia in the Age of Commerce, 1450—1680*. Vol. I. The Lands Below the Winds. New Haven: Yale University Press; 1988.
- [26] Renard R.D. *Kariang: History of Karen-Tai Relations from the Beginnings to 1923*. Ph.D. diss. University of Hawai’I; 1979.
- [27] Richards T. Archive and utopia. *Representations*. 1992; 37.
- [28] Rosaldo R. *Ilongot Headhunting, 1883—1974: A Study in Society and History*. Stanford University Press; 1980.
- [29] Sadan M.J. *History and Ethnicity in Burma: Cultural Contexts of the Ethnic Category “Kachin” in the Colonial and Postcolonial State, 1824—2004*. Bangkok; 2005.
- [30] Scott J.G. [Shway Yoe]. *The Burman: His Life and Notions*. N.Y.: Norton; 1963.
- [31] Tapp N. *Sovereignty and Rebellion: The White Hmong of Northern Thailand*. Singapore: Oxford University Press; 1990.
- [32] Trager F.N., Koenig W.J., Yi Yi. *Burmese Sit-tans, 1764—1826: Records of Rural Life and Administration*. Tucson: University of Arizona Press; 1979.
- [33] Vansina J. *Oral History as Tradition*. L.: James Currey, 1985.
- [34] von Geusau L.A. Akha internal history: Marginalization and the ethnic alliance system. *Civility and Savagery: Social Identity in Tai States*. Ed. by A. Turton. Richmond: Curzon; 2000.
- [35] Walker A.R. *Merit and the Millennium: Routine and Crisis in the Ritual Lives of the Lahu People*. Delhi: Hindustan Publishing; 2003.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-267-288

THE ART OF NOT BEING GOVERNED: ORALITY, WRITING, AND TEXTS*

J. Scott

Yale University
Box 208209, New Haven, CT 06520-8206
(e-mail: james.scott@yale.edu)

Abstract. The article presents a fragment of the book by J. Scott devoted to Zomia — an expanse of 2.5 million square kilometers containing about one hundred million minority peoples of truly bewildering ethnic and linguistic variety; what makes it interesting is its ecological variety as well as its relation to states. Zomia is the largest remaining region of the world whose peoples until recently have not been fully incorporated into nation-states. Its days are numbered. Not so very long ago, however, such self-governing peoples were the great majority of humankind. Today, they are seen from the valley kingdoms as “our living ancestors,” “what we were like before we discovered wet-rice cultivation, Buddhism, and civilization.” On the contrary, hill peoples are best understood as runaway, fugitive, maroon communities who have, over the course of two millennia, been fleeing the oppressions of state-making projects in the valleys — slavery, conscription, taxes, corvée labor, epidemics, and warfare. Virtually everything about these people’s livelihoods, social organization, ideologies, and (more controversially) even their largely oral cultures, can be read as strategic positionings designed to keep the state at arm’s length. Their physical dispersion in rugged terrain, their mobility, their cropping practices, their kinship structure, their pliable ethnic identities, and their devotion to prophetic, millenarian leaders effectively serve to avoid incorporation into states and to prevent states from springing up among them. Most of the peoples dwelling in the massif seem to have assembled a comprehensive cultural portfolio of techniques for evading state incorporation while availing themselves of the economic and cultural opportunities its proximity presented. Their broad repertoires of languages and ethnic affiliations, their capacity for prophetic reinvention, their short and/or oral genealogies, and their talent for fragmentation all form elements in their formidable travel kit.

Key words: Zomia; statelessness; state building; self-governing community; flight from the state; oral tradition; (non)literacy; civilization and barbarism

* © J. Scott, I.V. Trotsuk, 2017. The permission for publication was kindly given by “Novoe Izdatelstvo”.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-289-305

AGRARIAN QUESTION AND ITS IMPACT ON THE DEVELOPMENT OF ETHIOPIA*

A. Kumsa

Charles University in Prague
U Kříže 8, 15800 Praha 5, Czech Republic
(e-mail: alemayehu.kumsa@fhs.cuni.cz)

Abstract. Ethiopia was created by the Abyssinian King Menelik II in the late XIX century; he was the only African monarch to participate in the fight for Africa with the European states. He expanded his territory to the southern neighboring countries and colonized them. According to the historical facts, compared to other colonial conquests the Abyssinian colonization was the most brutal occupation in terms of number of people killed and sold in slavery. After the occupation, the land and the peoples of the new territory were divided among the Abyssinians. The new colonial landless subjects were forced to farm the land of the new landlords, to handover up to 75% of their agricultural products to the landlords. That is why the people struggled to regain their stolen land for decades. The slogan “Land to the tillers” of the student movement was secretly introduced by the Oromo President on the paper stamp of Haile Sellasie’s Parliament and the Oromo Chairman of the University Students Union Baro Tumsa. As D. Horowitz wrote about the 1974 Revolution “in Ethiopia, a major effect of a land reform was to take land from Amhara and distribute it to the Galla, and for a time the revolution is suspected of being a Galla plot” [19. P. 8]. The revolution was gradually highjacked from the colonized nations by the Abyssinian military elite. The revolution led to the land reform of 1975 that destroyed the colonial landlords; the military government nationalized the land but refused to redistribute it among the landless people. The state became the only landlord in the country, and the military government tried to destroy the Oromo national movement by resettling seven million Abyssinians on the Oromo territory and by moving the Oromo people to new villages to control them. The collective struggle of oppressed peoples overthrew the military government in 1991. The contemporary government formed and led by the Tigrean Liberation Front (TPLF) monopolized the military, political, ideological and economic power in the country. This group collaborates with a new ‘super-class’ of the world by selling the land of the colonized peoples. The author considers the land ownership under three regimes of the Ethiopian government to answer the question “Why Ethiopia is one of the poorest countries in the world though it possesses large water resources, fertile land and hardworking people?”.

Key words: Abyssinia; Ethiopia colonialism; slavery; land tenure; land grabbing; gabbars; poverty

THE CREATION OF THE ETHIOPIAN STATE IN THE LATE XIX CENTURY

In the history of colonialism, the strong states first expanded their territories by wars of conquest to the neighboring states, and then proceeded with the colonization of overseas countries. “The state, completely in its genesis essentially and almost completely during the first stages of its existence, is a social institution forced by a victorious group of men on a defeated group, with the sole purpose of regulating dominion of the victo-

* © A. Kumsa, 2017.

rious group over the vanquished and securing itself against revolt from within and attacks from abroad” [34. P. 8]. The states arise by conquest and plunder and survive by massive exploitation.

Colonialism existed in the history of the humankind for a very long time. M. Mann in his four-volume *The Sources of Social Power* declares the creation of the first empire by colonization: Sargon of Akkad (also known as Sargon the Great) created the first multinational empire in the recorded history. Sargon conquered city-states of Sumer and reigned from 2334 to 2279 BC as an emperor of the Mesopotamian Empire. His Akkadian dynasty ruled and enlarged the Mesopotamian Empire for almost two centuries.

The researcher of colonialism R. Horvath, who taught in Ethiopia at the Haile Sellasie I University in Finfine (Addis Ababa) and conducted a field research in the Empire, added theoretical bases for the existence of colonialism in all civilizations. He criticized the scholars of Humanity Studies for the lack of a general definition of colonialism in the cross-cultural perspective and provides his own definition based on historical facts from different parts of the world. He argued that colonialism was not only a feature of the particular civilization (Western), for such a statement “simply ignores the full range of reality... every major and minor civilization has sought to extend its borders and its influence, and colonialism is not to be equated by only with the civilized (cultures having cities and literate population); pre-civilized people too have colonized” [20. P. 3]. Colonialism is a form of domination, i.e. of control by individuals or groups over territory and/or behavior of other individuals or groups. There are two types of domination: inter-group domination refers to the process in culturally heterogeneous society, when the people of one culture dominate over the people(s) of other cultures; intra-group domination describes the situation when one group dominates over another within the same culture (for example, class political domination). Thus, after the establishment of the Ethiopian Imperial state, there were both types of domination. The domination of the Abyssinian government over the colonized peoples like Oromo, Afar, Somali, Sidama and other was the inter-group domination. At the same time, within the Abyssinian society there existed the intra-domination of the ruling political elite over the defeated groups (Amhara and Tigray elite).

Before we proceed to the Ethiopian state formation let us take an advice of A. de Tocqueville: “Without comparisons to make, the mind does not know how to proceed” [2. P. 3]. Comparison is fundamental for the thought and is the methodological core of science. S. Lipset also emphasized the importance of comparison: “An observer who knows only one country knows no countries. Without comparison, there is no way of knowing whether particular practice or behavior is unique to the society in question or common to many” [14. P. 18]. My argument is that colonialism is very old in the human history for it predates capitalism playing an important role in the imperial expansion during antiquity. Colonialism is the direct and formal political acquisition of states or territories in the periphery; it is a form of imperialism [13]. Colonization establishes a hierarchal organization, in which colonizers have monopolistic privileges over peripheral land, labor, production or trade; it destroys competition in export and import. “Colonialism is a relationship of domination between an indigenous (or forcibly imported)

majority and a minority of foreign invaders. The fundamental decisions affecting the lives of the colonized people are made and implemented by the colonial rulers in pursuit of interests that are often defined in a distant metropolis. Rejecting cultural compromises with the colonized population, the colonizers are convinced of their own superiority and their ordained mandate to rule” [35. P. 16—17].

To prove that colonialism is a global phenomenon that existed in many parts of the world to let different nations dominate over other nations, I will provide a few examples from Africa, Asia and Europe of how the first states colonized their neighbors. Thus, the first colonization in the modern history happened in West Africa when the Moroccan Sultan won a tremendous victory in the battle of Al-Ksar al-Kabir against the oversea invading Portuguese army in 1578, which the historians called “one of the decisive battles of the world” [11. P. 81]. The defeat of the Portuguese army by Morocco put an end for many years for the idea of the European conquest of North Africa. The victory encouraged Morocco to turn to the south areas of Western Africa to capture the source of its wealth. The sultan of Morocco sent his army to where “half of these arquebus-carriers were Spanish Muslims and the other half Christian renegades — Portuguese and Spanish prisoners who had agreed to serve in the Moroccan armies and accept Islam rather than suffer death or long imprisonment” [11. P. 81]. The army with cannons, horsemen armed with arquebus and cavalry equipped with long spears conquered the famous Songhay Empire in 1591. The army devastated the center of commerce and education of West African cities — Timbuktu and Gao. From these cities and other parts of the kingdom they looted wealth and took it to Marrakesh to build palaces on the profits of the war. The army of Morocco destroyed one of the richest states in West Africa in the late XVI century.

In Europe, Ireland is a good example for the expansion of England started in the XI century and ended with O. Cromwell occupation that made Ireland practically the first English colony [18. P. 119]; the Irish did not accept being a colony and fought a very long struggle for independence. During the brutal war of conquest up to a third of Ireland’s pre-war population was dead or exiled; almost all lands owned by the Irish Catholics were confiscated and given to the British settlers [21. P. 131]. After almost three hundred years of colonial rule, the Irish won independence in 1921.

The Asians also colonized their neighbors: for example, Korea was under the Japanese colonial rule from 1910 to the end of World War II, when with the help of the USA the colonial power was expelled and Korea gained its independence [12. P. 20].

The first European colony established outside the continent was Ceuta colonized by Portugal in 1415. The colonial process of West-European states took many centuries to conquest numerous parts of the world, finally at the Berlin conference held from November 15, 1884 to January 31, 1885 it was agreed to divide Africa. These negotiations are known as “scramble for Africa” [33. P. 111]; all African territories became the colonies of Portugal, France, Britain, Italy, Spain, Belgium and Germany except for two independent states (Abyssinia and Liberia). I consider Liberia a colony of American-Africans who occupied and ruled the territory in 1847—1980. “Liberia was never constitutionally a colony, but it owed its inception and maintenance to Americans and has remained an American neo-colonial state. Jehudi Ashmun, a white American who can

be termed the founder of Liberia, gave it a government and a frame of laws and initiated commerce overseas” [4. P. 384]. Thus, colonialism is not a feature of some exceptional civilizations, it existed in all civilizations.

Let us turn to the words of the Jamaican-born British poet B. Zephaniah, who received a letter from the office of the then Prime Minister Tony Blair in November 2003 recommending his appointment as an officer of the Order of the British Empire (OBE). Zephaniah declined the offer and made his response public: “Me? I thought, OBE me? Up yours, I thought. I get angry when I hear the word ‘empire’; it reminds me of slavery, it reminds me of thousands of years of brutality, it reminds me of how my foremothers were raped and my forefathers brutalized. It is because of this concept of empire that my British education led me to believe that the history of the black people started with slavery and that we were born slaves and should therefore be grateful that we were given freedom by our caring white masters. It is because of this idea of empire that black people like myself don’t even know our true names or our true historical culture. I am not one of those who are obsessed with their roots, and I’m certainly not suffering from a crisis of identity; my obsession is about the future and the political rights of all people. Benjamin Zephaniah OBE — no way Mr. Blair, no way Mrs. Queen. I am proudly anti-empire” [9. P. 1].

The Horn of Africa is a course of discord between the Abyssinian expansionist kingdom and different nations of the Cushitic language family for many centuries. There are no documents to identify when this conflict started; however, the central Cushitic kingdom of Agaw people of Zagwe, which constructed eleven monolithic churches in Lalibala, was overthrown by a war lord Yekunno Amlak in 1270 — he was “a chieftain of one of the subject peoples, the Amhara (then inhabiting the Wallo region)” [47. P. 8]. The usurpers of Zagwe kingdom reached the Oromo territory at the end of the XIII century; there was a violent fight between the expansionist Abyssinian kingdom and a group of Muslims and the Oromo people. Under the Widim Asferre (1299—1314), the political elite of Abyssinia decided to make peace with the Muslims of Wallo and [Yifat] Ifat to fight the Oromo people. G. Haile, who translated documents from Ge’eez and published in Amharic and English, believes that the king, officials and clergy of Abyssinia formed an alliance with different groups to defeat the Oromo people: “During the second year of his reign, when the Galla on the one hand and Muslims on the other rose up and wrecked-havoc on them, the king, the officials, and the clergy got together and counseled in unity to make peace with these Muslims of Yifat and Wello[Wallo] in order to combat only the Galla. They not only counseled, but indeed made peace with the Muslims” [16. P. 187]. This expansionist Abyssinian kingdom policy was evident a century later in the war between this kingdom and the Somali people.

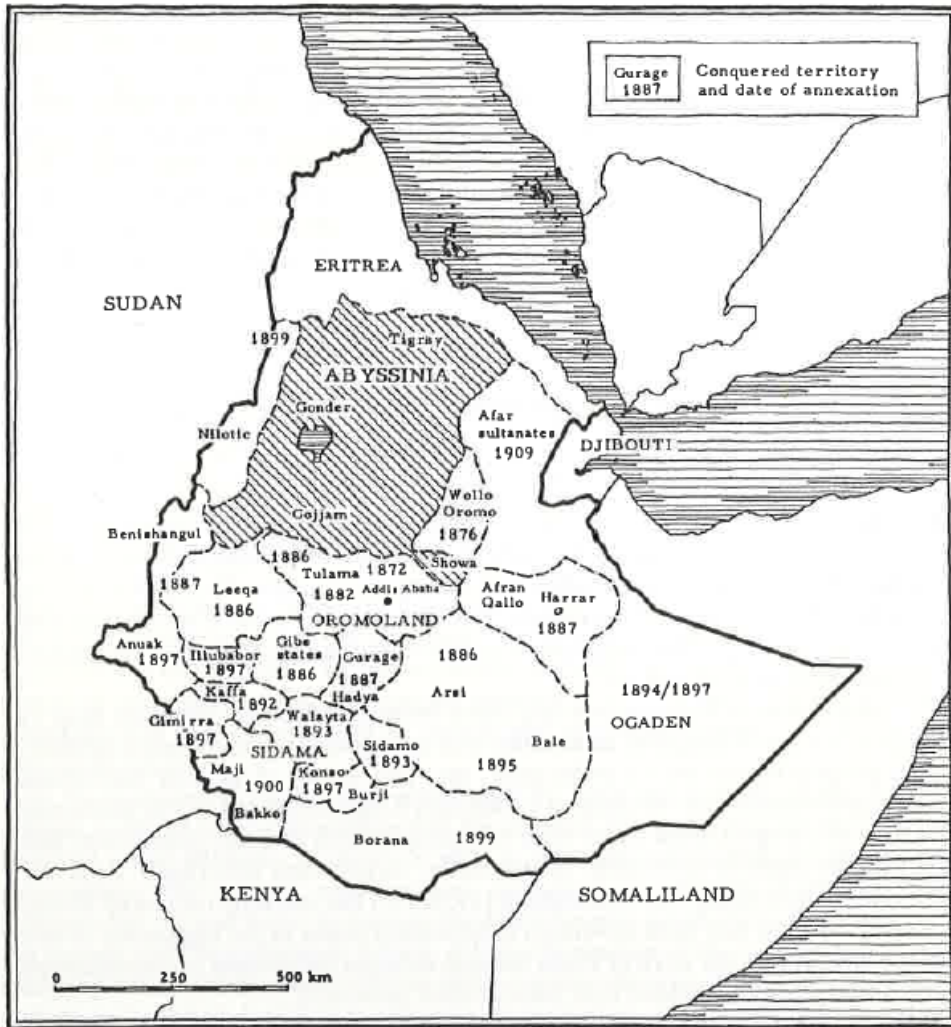
There was a violent conflict between the Abyssinians and the Somali nation at the beginning of the XV century; the name “Somali” appeared in an Abyssinian hymn celebrating the victories of the king Negus Yeshaq (1414—1429) over the state of Ifat (later became Adal) [27. P. 13]. There are many historical books on the conflict between Abyssinia and two main nations of the Cushitic people (Oromo and Somali). The great violent conflict between the Abyssinian kingdom and the Adal state (in the ancient city of Harar)

broke out in the XVI century after the repeated devastating wars of the Abyssinian army in the lowlands of different subgroups of the Somali people [17. P. 83—86]. The war was led by the Sultan of Adal Imam Ahmad bin Ibrahim al-Gazi between 1529 and 1543.

The interference of the European state, Portugal, in the Horn of Africa's conflict became evident in this conflict. From 1493, the Portuguese King's Joao II messenger Pero da Covilhão was an influential advisor of the Abyssinian imperial household. King Lebna Dengel asked the Portuguese government for military support, and received modern armament and soldiers from Portugal, a major sea power of that time in the Indian Ocean. "400 Portuguese, well-armed musketeers under Christovão da Gama, vasco, landed in Massawa on 10 February 1541. They brought great quantities of arms, including canons, gunpowder, and other supplies and were accompanied by nearly 150 craftsmen, gunsmiths and slaves" [17. P. 88]. The foreign power participation forced the Adal Sultan to look for help from the Ottoman Turk representative in Yemen: he received 900 well armed reinforcements. The conflict between the Somali nation and Abyssinia (from the first half of the XV century to the early XXI century) did not end with the victory of any group. In the late XIX century Menelik II in the worst brutal conquest and colonization in the African colonial history seized a part of the Somali land and made it a new colonial territory [1. P. 21—24], and, consequently, the Somalis — the third largest group in Ethiopia after the Oromo and Amhara.

Various Ethiopian governments went to war with the Somali state for Ogaden Somali. The known wars took place under the Haile Sellasie reign in 1964 and the Mengistu military government in 1977—1978; the contemporary government led by the Tigrian power elite gradually helping one faction against other Somali power groups in 2006—2009 sent 40,000 soldiers that killed 16,000 Somalis. There are many studies of the Ethiopian war criminal acts in Somalia by international organizations and individual experts. One of the organizations working in the region is the Human Rights Watch: "Ethiopian forces failed to take all feasible precautions to avoid incidental loss of civilian life and property, such as by failing to verify that targets were military objectives. Ethiopian commanders and troops used both means of warfare (firing inherently indiscriminate 'Katyusha' rockets in urban areas) and methods of warfare (using mortars and other indirect weapons without guidance in urban areas) that violated International humanitarian law. They routinely and repeatedly fired rockets, mortars, and artillery in a manner that did not discriminate between civilians and military objectives or that caused civilian loss that exceeded the expected military gain. The use of area bombardments in populated areas and failure to cancel attacks once the harm to civilians became known is evidence of criminal intent necessary to demonstrate the commission of war crimes. The Ethiopian forces also appeared to conduct deliberate attacks on civilians, particularly attacks on hospitals. They committed pillages and looting for civilian property, including medical equipments from hospitals" [40. P. 9]. More than 40% of the population of south-central Somalia faced this humanitarian catastrophe and did not receive necessary help due to the brutal conflict in the region. "But the one thing that is certain are the casualty rates among the aid providers which currently earn Somalia as the most dangerous place in the world for humanitarian workers" [32. P. 5]. The endless violent conflict in Somalia made Kenya the host for the largest number of refugees in the world.

The longest bloody conquest war was against the Oromo in 1872—1899 [6. P. 34]; it reduced the Oromo from 10 to 5 million people; half of the people [5. P. 12] were killed, captured and sold to slavery by the King Menelik — the ‘Butcher of Oromo’. Other neighboring nations also faced holocaust from the Menelik predatory army such as Kaficho kingdom that lost 67% of its people, before 1897 (the colonization war of Menelik II — see Map 1) the population of Kaffa was about 1 million, now it is about 800 thousand [46. P. 15] (otherwise the Kaffa would be about 6 million); 80% of the Gimira and 90% of the Maji were killed or sold to slavery [17. P. 72; 36. P. 111].



Map 1. The conquests of Menelik II

There was a conflict between the Abyssinian expansionists and the Oromo people at the beginning of the XVI century: the parties had similar armaments, but the Oromo protected their territory from the enemy that described them as a group known for their readiness to kill people, and brutality of their manner. This description is typical for contemporary Abyssinian writers [15] and their European collaborators [45. P. 76]. However,

“owing to the republican system ...an Oromo is well off in the world, and has a sufficient of food, clothing, meat and other luxuries, ploughs his own ground, reaps his own corn, guards his own cattle at pasture, and cleaves his own trees for firewood ...slaves are never sold, and are treated as ordinary servants” [31. P. 65; 38. P. 173]. Indigenous society’s political system is the reflection of the cultural development. Oromo people’s Gadaa system was democratic: political leaders of all levels were elected according to the male suffrage since the ancient times until the colonial ruler prohibited it when the Oromo lost their sovereignty [26]. Some researchers saw slaves in the trade center of Horn of Africa, but it was very rare to have slaves as servants especially in the eastern and southern Oromo country. “In Harar province as a whole the Galla (Oromo) population was not slave owners” [37. P. 222]. Later, when the Abyssinians colonized the region, the Amhara soldiers on behalf of the colonial government owned many slaves, and even after the prohibition of slavery a certain slave-traffic still supplied their needs.

The people under the Abyssinian colonial rule faced many harsh actions, mainly the Maji and Kaffa — southern neighbors of the Oromo. Slave raiding and lucrative slave trade brought a great wealth. From the Amhara colonization to the invasion of Italy (1936—1941) slave trade was depopulating the region. “Eye-witnesses at Maji and at other places near Sudan border stated that whole areas of the country had been completely devastated and that the remains of villages overgrown with bush could still be seen” [37. P. 220].

The chances of the Oromo people did not differ from the neighboring nations under the Abyssinian rule: they were sold as slaves, given as a wedding gift at royal marriages, used as domestic slaves and as eunuchs. At one time Menelik and Taitu (king and queen) owned 70,000 slaves. The Oromo tried all alternatives to protect themselves from this barbaric actions. Some fled to the forest, whereas some took refuge in British Sudan, Kenya and British Somalia to escape slavery. “The first refugees fled Oromo land in the late 1880’s following the incorporation of Oromia into the Abyssinian Empire. The able bodied men left their wives and children opting to live under the British colonialism in neighboring countries rather than fall victims to nihilistic policies of land-hungry Emperor” [6. P. 41]. The remaining Oromo in different parts of the Oromo country organized an armed resistance.

Slavery, the famine (in Amhara — the Tigre people to the south in 1888—1892), gabbar system, and anti-colonial war against invaders reduced the population of Oromo to half compared to pre-colonial period. The Russian officer A. Bulatovich who was in Illu Abba Bora in 1896 as a guest of Menelik wrote: “Ten to twelve years ago this countryside was completely settled, and of course, there wasn’t a piece of good land left uncultivated. But cattle disease led to famine and destruction of the population during the subjugation of the region has half depopulated it. Riding through, every minute you come across straight lines of ...cactus among the overgrowth indicating former property boundaries of the former fence of a farmstead. Now the territory all around is completely overgrown with bushes ...Rarely you can come upon a Galla (Oromo) settlement ...On November 16 we ...spent the night at the home of a Galla. The family consisted of the host (the father of whom was killed by the Abyssinians during the subjugation), his mother and two wives. One of the wives was exceptionally beautiful. The host himself apparently reconciled with his fate, but his mother looked at the Abyssinians with fear and anger and sat by fire all night long” [5. P. 12].

The population of the Oromo between 1850 and 1870 was about ten million people, in 1900 it reduced to five million [31. P. 66] though could be doubled. Depopulation of the colonized peoples was common in the neighboring countries, for example, the Abyssinians reduced the population of Kaffa from 1.5 million to 20,000, of Burgi — from 200,000 to 15,000, of Gimira — from 110,000 to 10,000. In Maji in 1920, the number of taxpayers was about 30,000; it was reduced by 1935 to 780 taxpayers representing the population of 3,000 or 4,000 [37. P. 220].

The Kaffa kingdom was a strong state from the XIV century [22. P. 104; 28. P. 58]; many historians argue that the kingdom has roots in the medieval period [46. P. 107]. Under the Menelik conquest war and raidings, the people were sold as slaves, and “raidings led to the decline of the population, it was almost exterminated” [36. P. 111]. In 1938, the population of Bonga, the capital of the Kaffa kingdom, was 3,000 with only 200 being Kaffa [22. P. 105]. Cushitic and Nilotic peoples became goods that was exported, and their numbers reduced dramatically. When the European ‘big powers’ divided the African continent one of their official slogans was to abolish slavery, but their local partner Abyssinia in some area introduced slavery and in others expanded it as well as the slave trade like Portuguese at the opposite side of the continent. When Ethiopia applied for membership to the League of Nations in 1919, the application was rejected due to the inability to fulfill the obligations of a member-state such as to abolish slavery. Three years later “when the British Minister asked the Regent if he would accept aid from the League of Nations in suppressing slavery he was given a negative reply” [37. P. 225].

When in 1932 the British anti-slavery society sent an envoy to Ethiopia, Haile Sellasie joked that “he would abolish slavery altogether within a period of fifteen or at most twenty years” [37. P. 227]. In the colonized regions slave traders were Amhara armed settlers and the governors appointed by Haile Sellasie, mainly his kin relatives. For example, in Maji and the neighboring provinces, Gimira and Gurafarda, under Dejazmach Taye, Emperor’s kinsman, there were centers for slave trade. In the 1930’s, until the Italian invasion, Haile Sellasie was unclear on the slavery: if he destroyed this barbaric system by the demand of the League of Nations, his Amhara kinsmen and his right hand, the Orthodox Church, would be losers. “The Church, in which priests and monks were considerable slave-owners, appears to be against changes in this direction” [37. P. 229]. The League of Nations sent a delegation to check if the basic principles of the abolition of slave trade were fulfilled in Ethiopia as a member-state. When the delegation returned from Ethiopia and presented a report at the meeting of the heads of the states, they accused Haile Sellasie of the barbaric treatment of peoples in his Empire: “The inhabitants of the conquered country are registered in families by the Abyssinian chiefs, and in every family of the Abyssinians settled in the country there is assigned one or more families of conquered as gabbars. The gabbar family is obliged to support the Abyssinian family; it gives that family its own lands, build and maintain the hut in which he lives, cultivates the fields, grazes the cattle, and carries out every kind of work and performs all possible services of the Abyssinian family. All this is done without any remuneration, merely in token of the perpetual servitude resulting from the defeat sustained thirty years ago”.

The situation in the 1930's did not improve; it was the worst period in the colonial era for the Oromo and other peoples. In the 1920's and 1930's there was perhaps the most oppressive gabbar system in the Ethiopian Empire. The individual gabbar was initially similar in a very general way to the serf in Eastern Europe, but by the 1930's some districts reduced the number of slaves, though only after the World War II the tenant system changed. The slave system was abolished when Italy colonized Ethiopia in 1936—1941 and freed all slaves; the Amhara armed settlers became equal to their former slaves and gabbars. During the Italian colonial period the backbone of the Amhara armed settlers system was destroyed, all languages became equal; the peoples learned that there was a more powerful state that defeated the Amhara colonial state very fast.

The war of colonization brought the Oromo and other southern peoples under the Abyssinian imperial rule; king Menelik moved his capital from the mountainous rocky area of Menz to the center of the Oromo country, Finfine, in 1887, and changed its name to Amharic Addis Ababa. The land of the Oromo and other colonized nations was measured in gasha (40 hectares) and divided among the Naftanya (armed settlers), Amhara, who came as soldiers, priests, colonial governors, irregular fighters, etc. In 1888—1892, Abyssinia suffered a great famine and cholera, its inhabitants fled to the south — 'a basket of bread' of the Horn of Africa. The distribution of land depended on the position and role in the conquest or services for the colonial government. The confiscation of the land and its redistribution among the Amhara is known as a gabbar system.

GABBAR SYSTEM

The gabbar system was based on the extensive confiscation of land from indigenous peoples and its redistribution among the Abyssinian royal families, the state, nobility, Orthodox Church, officers and soldiers who participated in the conquest and settled in the annexed territories [6. P. 42]. Moreover, the policy of state was to motivate the Amhara to migrate to the south so as to have a strong control over the colonized areas. The Orthodox clergy built churches in the place of the Oromo ritual shrines and destroyed mosques (e.g., in Harar city) by the forced labor of subjugated peoples including traditional believers and Muslims. The colonial government introduced the Balabbat system, in which the land was divided into three parts: "Immediately after the conquest, the northern rulers divided the southern lands into three theoretically equal parts according to the traditional principle known as *sisso*, meaning one third. They confiscated two thirds outright, leaving the last third to the indigenous population" [29. P. 33]. This two thirds of the land was divided among the Naftanya according to their position in the government. A governor received 1,000 gasha, a fitawrari (commander of the front) — 300 gasha, a qanyazmach (commander of the right) — 150 gasha [30. P. 48], and soldiers — according to their ranks: "an ordinary soldier, depending on the length of service, received from one to three gasha; a captain of fifty men was granted up to five gasha; a commander of a hundred received up to twenty gasha of land" [28. P. 113].

The peoples of the colonized countries were divided among the Abyssinian armed settlers and obliged to pay the major part of their products — up to 75% of the harvest — as a tribute to the new landlords [6. P. 42]. Each gabbar (pays taxes or tributes) conducted different kinds of works for his new master. The gabbar's obligations were not

limited; all necessary works were ordered by the Naftanya. The gabbar worked (plough, weeding, harvesting) in the field, built fences, looked after the cattle; gabbars' wives and children also had many duties for wives of Naftanya such as fetching water, grinding grains, collecting fire wood, washing clothes, in general all household duties. "Three times in a year he (gabbar) surrenders 15 quna (baskets) of ground flour to the Melkegna (Abyssinian governor) tribute in honey, and a tenth of his produce to the state. No sooner the peasant had unloaded the tribute due to the Melkegna that the latter 'congratulates' the peasant for having come just at the right time to be sent to the Melkegna's qelad (land) somewhere in the Awash river from where the peasant is supposed to bring a load of tef (grain). The toil-torn peasant supplicates, pleads and laments; 'oh, sire! It is harvest time in our area and if I don't do the harvesting now, before the approaching rains, sire, I will be finished, evicted, uprooted!' No heeding to this pleadings and lamentations. He must go to the Qelad and collect the load of tef as the Melkegna ordered! The peasant has no choice and he submits. Cursing, like the Biblical Eyob, his birthplace, i.e., his very existence, he takes to his heels in the direction of Awash. At the qelad the inevitable happens; the Mislene (the governor's representative) engaged the peasant in the renovation of the Melkegna house on the qelad. That takes a good whole week's work. Only then does the peasant reach Addis Ababa with the load of tef. At Addis, another task, another order! Endless! The peasant now collects the whole lot of grain — the one from the Awash qelad, which he would have had grounded into flour, and the one he himself had brought in earlier — and stored them properly. While he does this he runs out of his own provisions and in the hope of keeping his belly gorgeously moves after feast places and comes back exhausted, sick and diseased. Like a sick old dog with his head resting on a heap of animal dung the peasant passes his last torturing and agonizing days below the fence of the Melkegna's compound. When at last he dies, the Melkegna's household servants carry the body on a stick and after few scratching digs they 'bury' him in a ditch. Oh, the donkey! No problem, somebody has helped himself to it as the peasant lay dying below the fence. A lady living nearby asks a lady of the Melkegna's household: 'Sister, I saw a dead body leaving your household for burial today. Who could he possibly be?' 'Don't mind him, sister... he is not of human born, he is only Gabbar' [11; 43. P. 120—121].

The Naftanya used all means of exploitation to extract the labor of gabbars as his property. When the Naftanya sold his land or gave it as a gift for somebody the gabbars were given to the new master too. When the colonial governor was moved by the government from one province to another he could choose from 'his' gabbars and take them to another part of the Empire: "When Getachew's soldiers left Maji in 1933 they took over 1,000 Maji natives with them" [37. P. 332]. The colonialists made the colonized peoples do whatever they liked with the help of fire-arms and under the protection of the imperial government.

The remaining one-third of the confiscated land was given to indigenous people who proved to be intermediaries between the northern governors and the southern masses, later known as Balabbats [28. P. 107]. They became agonizing agents of the colonialists who fulfilled all orders of this alien group. The Balabbat system, in which one-third of the land was given to individual mediators, was not universally applied: for example, in Arsi-Bale region all land was divided among Naftanya, "the demand of one-third

of the land to indigenous people and a redistribution of administrative power were adamantly opposed by the settler” [42. P. 136]; the colonialists were among the causes of Bale liberation movement that started in 1960. On the eve of 1974 revolution, the Oromo elders in Chercher compared the situation with other African colonized peoples. “Like the colonized (peoples) of Rhodesia, we rented small plots of our own lands from those who disowned us in the first place, we labored hard only to give away what we produced, the amount always determined on the basis of their personal whim; and delivered at no cost” [42. P. 112].

The dehumanization of life of the colonized peoples in the hands of the settlers and their government activated a political volcano — in 1974 the Ethiopian revolution broke out. The motto of the Ethiopian students’ struggle ‘Land to the tillers!’ in February 1965 was secretly introduced by two Oromo political leaders, one of them was Obbo Tesema Negeri, a president of the Haile Sellasie’s rubber stamp parliament, which at that time debated a land reform bill (blocked by most deputies, who were landlords). When the bill was opposed by the landlords of the colonized territory, the president of the parliament had a talk with the University Students Union chairman, Obbo Baro Tumsa, his fellow Oromo. Both political leaders secretly arranged the first ‘Land to the tiller!’ demonstration. In nine years, the students struggle under this slogan and with the support of many groups of the society eradicated the hated Haile Sellasie government. The revolution destroyed two of three pillars of the Amhara — the gabbar system and monarchy, while the third pillar — Amharic language — *lisane nigus* (‘the king’s language’) — of 20% of the population tried to remain the official language of the Ethiopian Empire.

The Ethiopian revolution was a result of almost a century conflict between the Abyssinian ruling class and the colonized peoples, who became the landless serfs under the colonial rule. The first demand of the students and some groups in the army was to return the land to its former owners. Landownership in the mainland of Abyssinia was kinship holding known as *rist* in the Amhara area and *risti* in the Tigrian region. Such forms “are found mainly in the northern provinces of Eritrea, Tigre, Begemder, Gojjam, and some parts of Shoa and Wollo. These regions comprise the heartland of the Amhara and the wellspring of their culture. Still, not more than 20 or 25% of the Ethiopian population live under the Amhara kinship tenure” [19. P. 31]. Because of such ownership in the mainland of Abyssinia, there is no demand of ‘Land to the tiller!’: “in Ethiopia, a major effect of a land reform was to take land from Amhara and distribute it to the Galla [Oromo], and for a time the revolution is suspected of being a Galla plot” [19. P. 8].

Under the Haile Sellasie authoritarian government political parties were forbidden according to the Constitution [10]; thus, there was no political organization to lead the peoples’ revolt against the oppressive regime. In this political vacuum, the army headed the revolution: representatives of military divisions formed the Provisional Military Government of Ethiopia and officially took the state power in 1974. Haile Sellasie was taken under the house arrest, and the colonized peoples started to return their land. The father of the Oromo national movement general Tadesse Biru and his colleagues redistributed the land among the peasants. The military government was shocked by the situation at the colonial territory and formed a land reform committee, in which the leading Oromo young intellectuals in the Ministry of Land Reform like Obbo Zagaye Asfaw and Obbo Abiyu Galata played a key role. The land reform was accepted by the radical

wing of the Dergue (Committee) of Military Government that declared the reform in the Proclamation No.31 published on 4 May 1975.

The reasons for nationalization and the goals of the reform were as follows:

— “Whereas in countries like Ethiopia with agricultural economy a person’s right, honor, status and standard of living is determined by his relation to the land;

— whereas several thousands of gasha of land were grabbed from the masses by an insignificant number of feudal lords and their families, which made the Ethiopian masses to live as serfs;

— whereas it is essential to fundamentally alter the existing agrarian relations so that the Ethiopian peasants ...are liberated from the century feudal oppression, injustice, poverty, disease, and to lay the basis for all Ethiopians to live in equality, freedom, and fraternity;

— whereas the development of Ethiopia in the future can be ensured not by permitting the exploitation of many by the few as is now the case, but only by basically changing the agrarian relations that would lay the basis to work in cooperation and so that the development of one becomes the development of all” [3].

If this decree was fully implemented, it would have transformed the land tenure relations to grant all rights to peasants, to establish a society based on equality, liberty and fraternity, and to lay the foundations for the development of the country. The land reform declaration was “a measure, which, far more than any other, established the revolutionary credentials of the Ethiopian regime, rather than the nationalization of rural land, which followed in March 1975” [8. P. 47]. The land reform proclamation declared that ‘all rural land shall be collective property of the Ethiopian people’, but the military government refused to distribute the land among the tillers, and the state became the only landowner. The military government gradually changed its face and planned to grab the land of the colonized peoples to settle millions of the Abyssinians from the north, mainly on the Oromo land: “under the famine crisis in Ethiopia the military government settled between 1.5 and 2 million of the Ethiopians in Oromia” [23. P. 142]. The other government’s plan was to remove the colonized peoples from their original hamlets and forcibly settle them in villages on both sides of highways to prevent national liberation movements.

LAND TENURE UNDER THE TIGRAI PEOPLE’S LIBERATION FRONT (1991—2011)

Under the military government rule (1974—1991) many national movements fought to overthrow it. The main liberation fronts were the Eritrean People’s Liberation Front (EPLF) with a political program of liberating the territory from Ethiopia, the Oromo Liberation Front (OLF) that aimed to create an Oromia Republic, and the Tigray People’s Liberation Front (TPLF) with the program of establishing Tigray Republic to rule Ethiopia.

The collapse of the socialist system in the Eastern Europe ended military, financial and diplomatic support of the military government of Ethiopia. Different nations increased their support of national liberation fronts, and the Western countries selectively supported EPLF and TPLF. The military government finally collapsed in May 1991. The EPLF, which fought from 1961 to May 1991 to expel the Ethiopian army from the Eritrean territory, reached its goal and became the government of the territory. TPLF

captured the capital Finfinnee (Addis Ababa), the center of the Oromo land, and ruled the Empire from May 28, 1991 to July 5, 1991 as the organization of the Tigray (6.1% of the population of Ethiopia). The conference organized by TPLF was held on 1—5 of July, 1991, in which many political organizations participated to solve peacefully the chronic violent political conflict in the Empire. At the end of the conference, the TPLF government went through cosmetic changes taking some political organizations into the government and giving them some technical ministerial posts. The TPLF government ended within a year after in July 1992 forced OLF and other political organizations to resign. Since 1992, Ethiopia is a one-party state ruled by the power elite from the nation that makes up only 6% of 82 million peoples [44. P. 121—136].

The contemporary land grabbing in Oromia, Gambela and Benishangul Gumuz represent the Abyssinian colonial policy attempts to control the peoples of the regions. Meles Zenawi, the authoritarian ruler of the Empire, said that the lands given to the foreign companies were tribal lands in the lowland areas, not in the highlands. Everybody, who knows the Ethiopian politics, understands that the highlands are the Abyssinian homeland, where the Amhara and Tigrians live [28. P. 74]. The sales of farmlands of the colonized peoples will bring more humiliation and will make a great number of people refugees, which will become a source of the regional instability.

Land grabbing is a new term that became popular after the Cold War, especially under the international food crisis of 2008. “Global land grabbing refers to the rush for commercial land in Africa and elsewhere by private and sovereign investors for the production and export of food crops as well as bio-fuel, in which the land deals ensure the benefits for the investors at the expense of the host country and its population” [39. P. 1]. Land tenure in Ethiopia differs due to the creation of the Empire by the Abyssinians and reflects the duality of the Ethiopian identity. The Abyssinian land system is a kinship tenure for the land belongs to communities; the second type of the land is colonial territory that turned into private tenure after the crown confiscated the land and granted it to a wide range of people and institutions.

One of the main causes of the 1974 Ethiopian revolution was the land ownership of the colonized peoples (non-Abyssinians). The military junta that ruled the empire in 1974—1991 nationalized rural and urban lands but refused to distribute it among the indigenous people it confiscated the land from under the occupation. After TPLF got the political power by the military force in May 1991, it introduced its own version of the Constitution in 1995. According to the Article 40(3), the right of ownership for rural and urban land as well as natural resources belongs exclusively to the state and the people of Ethiopia. Land is a common property of the peoples of Ethiopia and not a subject to sale or other means of exchange. The Article 40(4) grants the Ethiopian peasants a right to obtain land without payment and protects it from evictions. The Article 40(6) grants the right to own land to all Ethiopian nationalities and peoples; the government shall ensure the right of private investors to use the land based on payments established by the law.

The Constitution is the pillar of all laws of the country and must be written in a clear manner and be very short. If we examine these three sub-articles, there are many unclear ideas. The first sub-article says that the ownership of land exclusively belongs to the state and the people of Ethiopia. So who owns the land? The federal state? The fed-

eration or local community? The same article states that land is a common property of nationalities and peoples of Ethiopia and shall not be a subject of sale or other means of exchange. The next sub-article grants peasants the right to remain on their land as ‘protected against evictions’. Finally, it declares that the government shall ensure the right of private investors to use the land based on payments established the by law. But what if peasants refuse to move from their ancestral land? In fact the land is controlled by the state and the government leased millions of the best fertile land with uncontrollable use of water resources for domestic and foreign ‘investors’ (new cruel vultures of profits by all costs). Thus, Ethiopia became a symbol of starvation from 1974 to the present, which was one of the causes of the demise of Haile Selassie regime [25. P. 44—45]. The next regime also exacerbated the poverty and mismanaged the development of the economy, and finally famine of 1985—1986 was the beginning of the end of the military government of Ethiopia. The contemporary government of Ethiopia (in power since May 1991) also is not interested in solving the fundamental problem of the people — the agrarian question, i.e. the issue of land ownership. The famine in Ethiopia is always caused by political conflicts, for example under Haile Selassie and the military government there was a war in Eritrea, Tigray and Wallo. After the northerners became the rulers of the Ethiopia, wealth moved to the north, while starvation, diseases and social problems — to the south, in particular to Somali (Ogaden), Oromia and Gambella for they are in the political conflict with the TPLF led Government. “In 2002—2003 there was a widespread starvation in many parts of the country affecting more than 13 million rural people; it required large inflows of internal food aid. ...In 2009, over 22% of the rural population depended on a combination of emergency food aid and safety net program financed by Western donor countries and international agencies. While the number of people seeking food assistance decreased, nearly eight millions of rural people are still supported by safety net programs” [39]. Eight to thirteen million people rely in their existence on foreign governments for the Ethiopian government expelled them from their ancestral land and leased millions of hectares of the land (Table 1).

Table 1

Investment land of the Federal Land Bank [39. P. 11]

Regions	Land in hectares
Oromia	1,057,866
Gambella	829,199
Benishangul	691,984
Amhara	420,000
Afar	409,678
SNNP	180,678
Total	3,589,678

Thus, the article examines the land tenure under three regimes of Ethiopia: the absolute monarchy until 1974, the military government (1974—1991), and the current government of TPLF. Three regimes used different ideological ‘umbrellas’ respectively: Haile Selassie’s parliament, Mengistu Haile Mariam’s scientific socialism, and the developmental democracy were only to deceive the foreign sponsors and to obtain an external legitimacy, they did not gain internal legitimacy. From the ‘southern perspective’ the contemporary government is worst due to the human rights violations, expelling of peas-

ants from their ancestral lands to provide the space for agricultural commercial business of land grabbers, poverty and starvation, in which eight million people live, the growing number of political prisoners (the government estimates them as 26,000, the Human Rights Organizations report about 70,000) and people killed at the Oromia city streets while peacefully demanding their constitutional rights, etc. These facts prove that the current government led by the TPLF (mainly of the Tigray) representing only 6.1% of the Ethiopian population is the worst government in the history of the country after the death of king Menelik II in 1913.

REFERENCES

- [1] Abdi M.M. *A History of the Ogaden (Western Somali) Struggle for Self-Determination*. Lightning Source; 2007.
- [2] Almond G.A., Powell B.G. (eds.). *Comparative Politics. A World View*. N.Y.: Harper Collins Publisher; 1992.
- [3] Basic Documents of the Ethiopian Revolution. *Negarit Gazeta*. 29 April 1975.
- [4] Brockway F. *The Colonial Revolution*. L.: Hart/Davis, MacGibbon; 1973.
- [5] Bulatovich A. *Ethiopia through Russian Eyes: Country in Transition 1896—1898*. Lawrenceville & Asmara: Read Sea Press; 2000.
- [6] Bulcha M. *Flight and Integration: Causes of Mass Exodus from Ethiopia and Problems of Integration in the Sudan*. Uppsala: Scandinavian Institute of African Studies; 1988.
- [7] Bulcha M. *The Making Oromo Diaspora: A Historical Sociology of Forced Migration*. Minneapolis: Kirk House Publisher; 2002.
- [8] Clapham C. *Transformation and Continuity Revolutionary Ethiopia*. Cambridge University; 1988.
- [9] Colár A. *Empire*. Cambridge: Polity Press; 2007.
- [10] Constitution of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. 1995.
- [11] Donham D., Wendy J. (eds.). *The Southern Marches of Imperial Ethiopia: Essays in History and Social Anthropology*. Cambridge University Press; 1986.
- [12] Dudden A. *Japan's Colonization of Korea: Discourse and Power*. Honolulu: University of Hawai'i Press; 2006.
- [13] Etherington N. *Theories of Imperialism: War, Conquest and Capital*. L.: Croom Held; 1984.
- [14] Fukuyama F. *The Origins of Political Order: From Pre-Human Times to the French Revolution*. L.: Profile Books; 2011.
- [15] Gerbee T. The Geda militarism and the Oromo Expansion. *Ethiopian Review*. 1993; October.
- [16] Haile G. *Yeabba Bahriy Dirsetoch: Oromowochin kamimalaketu leloch sanadoch gara*. Minnesota: Avon; 2002.
- [17] Henze P.B. *Layers of Time: A History of Ethiopia*. L.: Hurst & Co; 2001.
- [18] Honzák F., Pečenka M. *Státy a jejich představitelé*. Praha: Nakladatelství LiBri; 1998.
- [19] Horowitz D.L. *Ethnic Groups in Conflict*. L.: University of California Press; 1985.
- [20] Horvath R.J. A definition of colonialism. *Current Anthropology*. 1972;13(1).
- [21] Hroch a kol. *Encyklopedie Dějin Novověku 1492—1815*. Praha: Nakladatelství LiBri; 2005.
- [22] Huntingford G.W.B. *The Galla of Ethiopia, The kingdom of Kaffa and Janjero*. L.: International African Institute; 1955.
- [23] Jalata A. *Oromia and Ethiopia: State Formation and Ethno-national Conflict, 1868—1992*. Boulder-L.: Lynne Rienner Publishers; 1993.
- [24] Laitin D., Samatar S. *Somalia: Nation in Search of a State*. Boulder: West View Press; 1987.
- [25] Lefort R. *Ethiopia: An Heretic Revolution?* L.: Zed Press; 1983.
- [26] Legesse A. *Gada: Three Approaches to the Study of African Society*. N.Y.: Free Press; 1973.
- [27] Lewis I.M. *Peoples of the Horn of Africa: Somali, Afar and Saho*. L.: James Currey; 1998.
- [28] Markakis J. *Anatomy of a Traditional Polity*. Oxford University Press; 1974.

- [29] Markakis J., Nega A. *Class and Revolution in Ethiopia*. Trenton: Read Sea Press; 1986.
- [30] Melba G. *Oromia: A Brief Introduction*. Finfine; 1980.
- [31] Melba G. *Oromia: An Introduction*. Khartoum; 1988.
- [32] Menkhaus K. *Somalia: A country in peril, a policy nightmare*. 2008. <http://www.enoughproject.org> (assessed 27.5.2011).
- [33] Oliver R., Atmore A. *Africa since 1800*. Cambridge University Press; 1967.
- [34] Oppenheimer F. *The State*. Montréal: Black Rose Books; 1975.
- [35] Osterhammel J. *Colonialism: A Theoretical Overview*. Princeton: Markus Wiener Publishers; 2010.
- [36] Pankhurst R. *Economic History of Ethiopia: 1800—1935*. Addis Ababa: Haile Sellasie iUniversity Press; 1968.
- [37] Perham M. *The Government of Ethiopia*. Evanston: North-West University Press; 1969.
- [38] Plowden W.C. *Travels in Abyssinia and the Galla Country*. L.: Longmans; 1868.
- [39] Rahmato D. *Land to Investors: Large-Scale Land Transfer in Ethiopia*. Addis Ababa: Forum for Social Studies; 2011.
- [40] Shell-Shocked: Civilian under siege in Mogadishu. *Human Rights Watch*. 2007;19(12).
- [41] “So Much to Fear”: *War Crimes and the Devastation of Somalia*. N.Y.: Human Right Watch; 2008.
- [42] Tareke G. *Ethiopia: Power and Protest: Peasant Revolts in the Twentieth Century*. Cambridge University Press; 1991.
- [43] Triulzi A. Competing views of national identity in Ethiopia. Lewis I.M. (ed.) *Nationalism & Self Determination in the Horn of Africa*. L.: Ithaca Press; 1983.
- [44] Tronvoll K. Ethiopia’s 2010 elections: One party system. *African Affairs*. 2011;110(438).
- [45] Ullendorff E. *The Ethiopians: An Introduction to the Country and People*. Oxford University Press; 1960.
- [46] Woldemariam B. *The History of the Kingdom of Kaffa: The Birth Place of Coffee 1390—1935*. Hwassa: Association for Research and Conservation of Culture, Indigenous knowledge and Cultural Landscape; 2010.
- [47] Zewde B. *A History of Modern Ethiopia 1855—1974*. Addis Ababa University Press; 1991.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-289-305

АГРАРНЫЙ ВОПРОС И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ЭФИОПИИ¹

А. Кумса

Карлов Университет
У Криже 8, 15800 Прага-5, Чехия
(e-mail: alemayehu.kumsa@fhs.cuni.cz)

Автор рассматривает влияние аграрного вопроса на историю Эфиопии, начиная с того момента, как она была создана абиссинским королем Менеликом II в конце XIX в. Фактически он стал единственным африканским монархом, который принял участие в борьбе за африканские территории наравне с европейскими державами: расширил границы своей империи, захватив и колонизировав территории южных соседей. По сравнению с прочими колониальными завоеваниями предпринятая абиссинским правителем колонизация была самой жестокой с точки зрения количества людей, которые были убиты или проданы в рабство. После поглощения соседних территорий они вместе с населявшими их народностями были поделены между представителями абиссинской знати. Будучи лишены земельных наделов, жители колоний были вынуждены работать в поместьях новых земле-

* © Кумса А., 2017.

владельцев, отдавая им до 75% своей сельскохозяйственной продукции в качестве уплаты разнообразных повинностей, что породило мощное народное сопротивление. Лозунг «Землю — земледельцам!» был предложен студенческому движению главой народности оромо в парламенте Хайле Селассие и руководителем Союза студентов, выходцем из оромо. Как отметил Д. Горовиц, описывая революцию 1974 г., «в Эфиопии основным результатом земельной реформы стало перераспределение земли — она была отобрана у амхара и передана галла, поэтому некоторое время революцию подозревали в приверженности интересам галла» [19. С. 8]. Постепенно достижения революции были присвоены военной элитой. Революция позволила провести в 1975 г. земельную реформу, которая уничтожила колониальное землевладение; но правительство национализировало землю, отказавшись передать ее безземельному населению. Государство стало единственным землевладельцем и пыталось уничтожить национальное движение оромо посредством переселения 7 млн абиссинцев на территории оромо, а оромо — в новые деревни. Массовое национальное движение свергло военное правительство в 1991 г., однако нынешнее правительство, сформированное и возглавляемое Народным фронтом освобождения тиграй (НФОТ), монополизировало военную, политическую, идеологическую и экономическую власть в стране и продает земли новому мировому «супер-классу». Автор рассматривает формы земельной собственности в Эфиопии при трех разных политических режимах, чтобы ответить на вопрос: почему Эфиопия — одна из беднейших стран мира, хотя располагает огромными водными ресурсами, плодородными землями и трудолюбивым населением?

Ключевые слова: Абиссиния; Эфиопия; колониализм; рабство; землевладение; захват земли; габары; бедность



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-306-316

THE STUDY OF SOCIAL REPRESENTATIONS BY THE VIGNETTE METHOD: A QUANTITATIVE INTERPRETATION*

Zh.V. Puzanova, A.G. Tertyshnikova

RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia)
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198
(e-mail: puzanova_zhv@rudn.university; nastysya-88@inbox.ru)

Abstract. The article focuses on the prospects of creating vignettes as a new method in empirical sociology. It is a good alternative to the conventional mass survey methods. The article consists of a few sections differing by the focus. The vignette method is not popular among Russian scientists, but has a big history abroad. A wide range of problems can be solved by this method (e.g. the prospects for guardianship and its evaluation, international students' adaptation to the educational system, social justice studies, marketing and business research, etc.). The vignette method can be used for studying different problems including sensitive questions (e.g. HIV, drugs, psychological trauma, etc.), because it is one of the projective techniques. Projective techniques allow to obtain more reliable information, because the respondent projects one situation on the another, but at the same time responds to his own stimulus. The article considers advantages and disadvantages of the method. The authors provide information about the limitations of the method. The article presents the key principles for designing and developing the vignettes method depending on the research type. The authors provide examples of their own vignettes tested in the course of their own empirical research. The authors highlight the advantages of the logical-combinatorial approaches (especially the JSM method with its dichotomy) for the analysis of data in quantitative research. Also they consider another method of the analysis of the data that implies the technique of "steeping", i.e. when the respondent gets new information step by step, which extends his previous knowledge.

Key words: projective techniques; vignette method; social representations; logical-combinatorial methods; JSM method; qualitative methods; quantitative methods

The vignette method enjoys quite a long history in social sciences and has been applied both in qualitative and quantitative research. The development of the method goes back to the works of J. Piaget who used story situations to study children's moral reasoning. Piaget proposed an important rationale for vignettes application and made an attempt to pose the main methodological question concerning their validity: "while pure observation is the only sure method, it allows for the acquisition of no more than a small number of fragmentary facts ... Let us therefore make the best of it and ... analyse, not the child's actual decisions nor even his memory of his actions, but the way he evaluates a given piece of conduct. We shall only be able to describe [it]... by means of a story, obviously a very indirect method. To ask a child to say what he thinks about actions that are merely told to him — can this have the least connection with child morality?"

* © Zh.V. Puzanova, A.G. Tertyshnikova, 2017.

[20. P. 112—114]. In other words, the vignette method allows the researcher to collect data that could not be gathered at all, or only for a small number of cases. However, the question arises whether evaluated hypothetical situations relate to real-life decision making. Piaget himself admits his pragmatism towards validity when he argues that “...any method that leads to constant results is interesting, and only the meaning of the results is a matter for discussion”.

Recently the method has been used in various research projects, for the most part foreign. The methodology has been used by such scholars as *Brondani M.A., Mac-Entee M.I., Bryant S.R., O’Neil B., Barter C. and Reynold E., Gerber E., Hughes R., Neff J.A., Rossi P.N., Thurman Q.S.* [2; 4; 10; 11; 12; 17; 23; 28] and many others. Among Russian scholars, Devyatko I. F. and her project of folk sociology should be mentioned. The agenda of the research by foreign scholars is quite diverse — health problems faced by elderly people, projects involving interviewing children and young people on sensitive issues (HIV, drugs, psychological trauma, etc.), the prospects of guardianship and its evaluation, international students’ adaptation to an educational system, social justice studies, marketing and business research, just to name a few.

SPECIFICITY OF THE VIGNETTE METHOD

The main direction of the vignette method is the study of attitudes and beliefs. For example, *Cochran J.K. and Heide K.M.* studied people’s attitudes to death penalty. When they asked their respondents directly about their attitudes to death penalty, the answers they received differed from those obtained by means of the vignette method. Vignettes reflected the character of the crime and provided information about the victim as well as criminal’s life circumstances. People’s readiness to support death penalty decreased in the presence of various factors associated with the crime. The direct question does not provide an opportunity to measure and explain these significant factors underlying people’s attitudes to death penalty [5].

The basic assumption that is frequently made in the vignette-based research runs as follows: “narrative representations of emotional events can be treated as functionally compared to the corresponding real-life encounters” [19. P. 296]. Credibility is a crucial factor in the vignette design. The more trustworthy the protagonist’s situation is, the higher probability there is that the respondent can put himself into the protagonist’s place. Moreover, unrealistic scenarios can provoke participants’ negative reaction including perplexity, embarrassment, anger, demotivation. The question then arises, however, whether such brief descriptive narratives could capture the reality in the necessary context so that the answers similar to respondent’s reactions in real-life situations were obtained as a result. Some researchers using the given method admit that it fails to provide a full grasp of the reality under study. However, they find the method to be especially useful in terms of schematic nature of the displayed material. The absence of details in vignettes enables the respondent to fill in the gaps, which may be important for further research. Thus, participants’ interpretation of the vignettes provides valuable research material rather than reveals the weakness of the research tools.

There is a very important issue here, which concerns the assumption that respondents project, transfer their thoughts, feelings, opinions, and social norms onto the vignette personage. There is quite a developed reference base on projective tests in psychology where psychodynamic framework is used to interpret projective answers. However, the situation in sociology can still be described in simplistic terms: while researchers using vignettes try to study people's behaviour in different situations, they apply cognitive theorization involving a direct link between the stated attitude and behaviour. For example, in the study of females taking care of elderly people, Rahman argued that their answers were very similar to what their real-life behaviour would be. *McKeagney N.* [16] emphasizes the fact that injection drug users were more likely to speak about needle sharing in the vignette survey than in self-presentation, which points to the absence of pressure and approved answer. However, it is worth mentioning that emotions may play an important role in real life decision-making processes, which cannot be reflected in the vignette methodology. An alternative way for the researcher to interpret participants' responses to vignette material may be the study of dominant representations shared by everybody and the less dominant ones, i.e. those which may occur due to respondent's personal experience and life trajectory. Thus, the attention will be focused on subjective representations rather than shifted towards what respondents would actually do in a specific situation.

Hughes R. points out possible difficulties for the researcher in data analysis: a number of respondents react to vignettes putting themselves into the position of the vignette personage, while others provide a third-person narration. The respondents are obviously involved into the displayed reality. At the same time, however, they can choose: either to provide a wide range of reactions to the given topic immediately revealing themselves or to demonstrate stigmatized opinions and socially desirable reactions. It is natural that vignette-based experience is different from that of real life. However, the validity of the vignette as a research tool depends on the rationale for its application.

APPLICATION OF THE VIGNETTE METHOD

Vignettes are short stories or scenarios describing hypothetical characteristics and situations to which the respondent is expected to react. As long as situations are hypothetical, there is more opportunity to handle thorny issues and study sensitive topics. For the sake of realism, vignettes may be based on real-life situations. Vignettes are often used to obtain data on group beliefs, values and norms of behaviour, although such research is more likely to focus mostly on social perceptions, identification, and deeper understanding of the problems under study. A good example is the research conducted by Gerber [10; 11] who used ethnographic interviews to investigate people's opinion of their residence, the language used to describe it and the factors taken into consideration in their decision to answer researcher's questions. Initially, Gerber conducted non-structured interviews with 25 respondents, many of whom experienced difficult living circumstances, which hindered their residence identification. People from overnight homes and homeless shelters were chosen as respondents. Gerber collected descriptive data on res-

pondents' ways of life and identified expression patterns and language used to describe situations. Here we provide a fragment of an interview to illustrate the division between "living" and "temporarily staying" (e.g. intentions, disposition of things):

A: I'm just a friend of hers. I lost my apartment in December.... That's why I said I'm staying there, cause I'm not living there. I'm doing everything I can to find a way out of there.

Q: So you're not living there....

A: Well, you would say I'm living there, I been there since December, but I'm just saying it's not mine ... But I live there, I bathe there, I sleep there, I dress there, my clothes are there — not everything I own. Most of my things I got out of storage and took to my mother's, but basically everything I have to live with since December is there. As a matter of fact, it's packed up at the door. Because I'm trying to get out..."

Gerber used the information obtained during the interview to design vignettes, which served as the basis to launch a second set of interviews. Thus, the fragment of the interview given above was restructured into the vignette: "Mary asked her friend Helen if she could stay with her for a few days while she looked for a place for her own. It has been five months since then. Mary's suitcases are still packed and are at the front door. Should Helen count Mary as usually living there?"

All the vignettes described ambiguous life situations and were used to identify explanatory schemes and respondents' explanations for their residence. According to Gerber, making judgements about complex or ambiguous cases the respondents revealed the elements which were important to them and the logic they followed in their decision-making. During the interview Gerber intended to change the circumstances to follow out the whole chain of logical patterns. For example, she varied such parameters as shorter or longer duration of staying and identified the changes in the response to the vignette as a whole. Some features of vignettes developed by Gerber are worth mentioning: 1) Vignettes were selected from ethnographic sources in order to place the respondents within the scenario they may encounter in real life; 2) Gerber uses neutral vocabulary to look into the language respondents actually employ to describe their residence (for example, she uses such expressions as "sleeping in a definite place" and "spending time with a particular person" instead of "living" or "temporarily staying"); 3) The ambiguity of situations presented in vignettes stimulates respondents to formulate criteria they would apply to evaluate the situation with person's living or temporarily staying. The change of vignette details contributed to clarifying respondents' reasoning, as the following fragment of the interview illustrates:

A: Well, it seemed to me that if you had said he ate his meals and slept there, then I would consider that he lived there.

Q: ... if we said he eats at his wife's house, but he always sleeps at his mother's...

A: I'd say that's a weird arrangement.

Q: That's weird, but would you say that changed where he lived?

A: Well, if he slept at his mother's, I would consider that he lived at his mother's. On a permanent basis... if he just slept there occasionally, I would not consider that he lived there..."

Having distinguished between "eating" and "sleeping" (and other circumstantial details), Herber was able to develop more subtle understanding of factors which had provided the given reaction.

4) The tasks solved by vignettes were understood even by people without special education or language fluency. The respondents often treated the task as a puzzle or a game. There was only one interview which had to be stopped because the respondent did not understand the task.

ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF THE VIGNETTE METHOD

Vignette-based methodology can be difficult for analysis and involves a number of complications if the researcher is inclined to separate a socially approved normative interpretation of the vignette from what respondents really think. The converse is also true: if the researcher uses the method to find out how people behave in real life, the analysis may turn out to be quite difficult. However, if the researcher uses a theoretical perspective assuming that the respondent will answer the questions in a state of constant dialogue with the self as contradictory positions may exist not only in a society but in every individual as well (taking into consideration even the “voices” influencing them), then vignettes may be used more efficiently. The method may lead to an ambiguity in the results, and this will help finding new positions and opinions not detected before. Therefore, the flexibility of vignettes may be considered as a key property of their application. Among the other advantages of vignettes pointed out by the researchers, the following may be marked: the vignette method is tailored for specific research goals, and may be based on actual circumstances in life; the vignette method may help avoiding socially approved answers because the question is not addressed to the respondent personally, on the contrary, he is asked to assess the actions of the vignette personage; most people articulate badly, or hardly recognize the factors affecting the process where some or other judgments are formed, and the vignette method may help them with that; properties in the vignettes are changing continually thus enabling the assessment of changes in individual variables and their combinations in view of the changes in attitudes or judgments of respondents; if the vignette scenario is limited to the minimum information scope, the respondent is driven to complete the picture of the contextual background by himself/herself; enables studying the relationships between social processes and perception of reality.

As any other method, the vignette method has its limitations and drawbacks; the following ones may be mentioned among them; the vignette method reduces the researcher’s compatibility capabilities as each respondent uses his or her own definitions and patterns in the answers; the correlation of behaviour and actual respondents’ actions with their answers becomes questionable; adjustment of the previously created vignettes to the current research is problematic, especially if the researchers have failed to take into account all aspects of the phenomenon under study; complexity and labor intensity in design and creation of vignettes.

VIGNETTE DESIGN METHODOLOGY

The first step in the use of vignettes is to define their function. The main goal is to understand social components involved in the process of respondent’s perception rather than to predict exactly his/her behaviour. A number of vignette presentation

methods may be used for this purpose. For example, the discrete orientation forms proposed by Schutz as prerequisites for the respective forms of social relations may be taken for the basis. The first and probably the most apparent form is the “We”-relations. The “We”-relationship is direct, with both persons existing in time and space. In the context of the vignette, both the researcher and the participant can examine each other and interpret the meaning of each other’s actions.

The second form, the “Thou”-orientations, helps revealing the relation between the respondent and the hero of the vignette scenario, and belongs to the “pure” experience. The respondent interprets the actions of the other person after putting himself or herself in the other person’s position. By designing the situation with hypothetic heroes, the participant of the research is asked to do it, and indirect confidential information is obtained this way. In this case, the credibility of the scenario is of critical importance for implementation of vignette stimuli that are to be responded further on.

The third type of orientations pertains to the personality and its companions in the living world. Schutz describes them as actors personally unknown to the individual but still existing (i.e., people with their own consciousness are able to create their own subjective interpretations). In the pure form, they do not exist in the world because they are ideal types; however, they are the product of the “recognition synthesis” on the part of the personality. The role of “they”-orientation is best explained on the example given by Schutz himself. The passenger taking a train does not know the driver personally (it is quite probable that they did not exist in the space-time before) but has certain assumptions regarding the patterns of behaviour. For instance, it is quite probable that the driver has some engineering skills and experience required for his work, and will use them to ensure that the train arrives at its destination. Such assumptions are a product of accumulated evidence.

Having taken into account all the above-mentioned facts, let us turn to the design process itself. To a certain extent, it is similar to the process where questionnaire items are prepared for qualitative studies. At first glance, the vignettes look quite simple, but their design is not simple at all. Their plot should be realistic, and be focused on specific questions required to achieve the goal of the research. The vignette must be detailed, but must not overload the respondent at the same time. The pilot study is equally mandatory, as well as the vignette revision based on its results.

The specific aspects of vignette design include the following:

— Will the vignette scenario and personages be relevant for the set of samples under study? Providing some details or personage names may make the vignette more vivid and interesting. The language used for it should be familiar to the respondents. Excessively complicated vignettes with many properties usually fail;

— If the respondent should be influenced by provoking him/her into accepting a specific point of view towards one or other personage of the scenario, then the attention must be focused on that personage, either directly or indirectly. Writing a vignette from the first person perspective (as regards the specific personage) may be one of the ways to induce the respondent’s comments on the actions performed by the personage after the respondent identifies himself/herself with this personage;

— If the vignette components are known to be multiple-meaning, then the assumptions can be studied in regard to multiple elements of the scenario (e.g., various characteristics of personages such as their sex, age, ethnicity, etc., or various types of scenarios such as accepting interracial marriages in liberal and in conservative ideologies);

— Is the respondent given a chance to describe the details freely, or is his/her attention only drawn to the specific existing parameters? This will provide for defining the scope of information to be introduced into the vignette and the questions to be asked afterwards;

— Is a single vignette presented at once, or are multiple vignettes presented stage by stage? What is the number of such stages, then? Each stage includes the events evolving around the personage. If the number of stages is in excess of four, it may cause the respondent's perplexity, may confuse him/her;

— It should be understood, what aspects of the situation the respondent's attention must be concentrated on, i.e., the moral or pragmatic ones. Basing on this, different types of questions have to be formulated;

— If the aim of the studies is reduced to revealing the proper or actual respondents' actions in the situation described in the scenario, then it is better to ask how the personage of the vignette should, or will, act in their opinion.

The number of the vignettes should be sufficient for the specific type of research: 15—40 vignettes may fit for small projects, 40—100 for medium ones, and 200 or above for large projects.

In his work [13], *J.A. Krosnick* used the term “satisficing”, introduced by H. Simon in the 1950s. When the respondents answer the questions in the vignettes, they should interpret the meaning of the story, retrieve the respective information from their memory, integrate this information into their judgments about the story and communicate them so that the meaning is clear and accurate. After the respondent passes this process from the start to the end and manages to perform a complete and objective retrieval and integration of the information, the “satisficing” may be deemed achieved. However, the latter is also achievable even though the respondent fails to implement this process completely. *J.A. Krosnick* pointed out three conditions favorable for achieving it: 1) difficulty of the task; 2) respondent's competency and abilities; 3) respondent's motivation. If the difficulty is greater than the sum of the competency and motivation of the respondent, the “satisficing” takes place. Examples may include: the respondent selecting the first answer that seemed reasonable; agreeing with the statement in the plot of the vignette by saying “I do not know”, mental coin-flipping; missing differentiation in the use of rating scales, and approving the existing state of affairs.

J.F. Stolte found that the vignettes were the means of negotiating the response to stress situations. He also noted that the answers were more dependable when the respondents had been answering to the vignettes in a calm environment not distracting themselves with anything and had been given a stimulus to put forth their own opinion [25]. The advantages of using the vignette also include the fact that all respondents have to respond to the same types of stress factors. It facilitates the monitoring of stress characteristics and creates new opportunities of comparison in the analysis of the respondents' abilities to overcome the difficulties arising before people.

QUANTITATIVE STRATEGY OF DATA ANALYSIS IN THE VIGNETTE METHOD

The quantitative strategy is partially elucidated in the work of I.F. Devyatko [7] basing on the use of formalized methods: logic and combinatorial ones, and the JSM method. In the framework of the approach discussed, the JSM method of automatic generation of hypotheses (called in honor of John Stuart Mill) aids in passing from qualitative data to quantitative indicators. Thus, based on the works of V.K. Finn and his followers, a suggestion has been made that if the future vignette is provided with certain dichotomous indicators (yes/no, 1/0) and the vignettes are designed for all possible combinations of such indicators, then the determinative indicators of a particular subject under study will be obtained in data processing.

An example is the vignettes designed for the studies of qualities identifying an intelligent person. The indicators included in the vignette have been selected basing on the data previously obtained by the method of incomplete propositions [27. P. 44]. The core of the image seemed clear and evident: “education”, “upbringing”, “positive personal traits”, “culture”, and “moral standards”. However, there were several characteristics remaining at the image periphery but still applicable to the description of an intelligent person. To extract the most valuable traits, five of them were set up as indicators for the designed vignettes, including: the attitude towards the power (opposition/support); attitude towards the people (“flirting” with them/consumer’s attitude); patriotic sentiments (yes/no); striving for self-development (yes/no); hesitation (press/do not press their opinions on others).

Then these criteria were used to create 32 vignettes describing all possible combinations of the indicators. A couple of them are listed below:

1. You have become acquainted with some person. After the talk, it is clear that he has something very interesting about himself. He tries to learn something new each day. He takes an active part in various public actions and philanthropic activities. When it comes to politics, your new acquaintance supports the opposition more willingly than the power. This person loves his home country and will never move abroad to live.

Would you call this person “intelligent”? 1) Yes 2) No

2. You are introduced to a certain man. Once you start talking, his attitude towards the power becomes clear: an unconditional support for the policy being enacted. At the same time, people are only interesting to him from a consumer’s viewpoint as long as they satisfy his needs. His own opinion is the ultimate truth to be accepted by everybody around. Nevertheless, this man is keen to learn and never stops on what he has achieved. He knows the history of his country, and is proud of his homeland.

Would you call this person “intelligent”? 1) Yes 2) No

Numerous examples of vignettes are given in the literature, but the question on how the interpretation of the obtained material should be handled remains open. The vignettes enable us to advance from qualitative data to quantitative indicators. For instance, let us consider the JSM method basing on the works of V.K. Finn [9]. Each vignette is furnished with equal numbers of indicators. The expected number of combinations is then calculated for such indicators, and this number is taken equal to the number of vignettes

under study. Since the elements are taken from the same group in our case, and each element is returned back, such sampling is called the sampling with replacement. Then the number of all possible selections is n^k . E.g., for five embedded indicators, this formula results in 32 vignettes. Now consider processing of the data obtained by the vignette method in the case of the terrorist's image [21]. After the calculation, the vignettes are composed using the dichotomized indicators. Interviewing of the respondents is then followed by processing of the obtained data. Using simple calculations, we get the number of persons who have expressed their negative/neutral/positive opinion. The absolute frequencies are then reduced to relative ones. For a better understanding of what indicators have "worked" and what combinations of indicators induce evidently negative responses, the distribution over the combinations is derived taking into account the number of negative responses calculated earlier and selecting the weightiest ones. Passing to group estimates basing on one-dimensional frequency distributions of each indicator for separate vignettes requires the calculation of the following indices:

$$I_k = \frac{n_{pos} - n_{neg}}{n_{pos} + n_{neg} + n_{neutr}}$$

where n_{pos} is the number of positive responses of the respondents in regard to a given vignette, n_{neg} is the number of definitely negative responses, and n_{neutr} is the number of neutral responses of the respondents. The obtained index varies from -1 to 1 : it is 1 if the reaction towards the vignette is positive, -1 if it is negative, and 0 if the numbers of positive and negative responses coincide (neutral attitude). After these indices are calculated for each vignette, the obtained results are described. The combinations of indices are written down, and the dominant ones as well as those not affecting the image-building are separated.

The vignettes express a kind of cumulative image hiding in the subconscious of humans and allow tracing the links between the convictions and actions. A third party projection, a well-tailored hypothetical situation, and a set of indicators hidden in advance from the respondent determine how successful and reliable the data will be.

Thus, the vignette method is a good alternative to conventional mass survey methods. It has many advantages and certain drawbacks at the same time; however, such drawbacks do not impair its large-scale applicability. The vignette method is sensitive to limitations that can be found in all research methods we are familiar with. It enables the studies of the most delicate, problematic and sensitive topics on a large scale providing for their mass scope. The strategy of the data analysis unveils great opportunities for the application of this method to various themes and directions, and allows handling any slice of the problems under study and obtaining more comprehensive analytic results than in conventional methods.

REFERENCES

- [1] Anshakov O.M., Fabrikantova E.F. *DSM-metod avtomaticheskogo porozhdenija gipotez: Logicheskie i epistemologicheskie osnovanija* [DSM Method of Automatic Development of Hypotheses: Logical and Epistemological Foundations]. Moscow, 2009. (In Russ.)

- [2] Barter C., Reynold E. The use of vignettes in qualitative research. 2004 // <http://www.soc.surrey.ac.uk/sru/SRU2.5html>.
- [3] Braun V., Clarke V. *An Introduction to the Vignette Method*. N.Y.; 2013.
- [4] Brondani M.A., MacEntee M.I., Bryant S.R., O'Neil B. Using written vignettes in focus groups among older adults to discuss oral health as a sensitive topic. *Qualitative Health Research*. 2008;18(8).
- [5] Cochran J.K., Heide K.M. Capital punishment preferences for special offender populations. *Journal of Criminal Justice*. 2003;31.
- [6] Danilova E.N., Klimova S.G., Miheenkova M.A. Vozmozhnosti primenenija logiko-kombinatornyh metodov dlja analiza social'noj informacii [The application of logic-combinatorial methods for the analysis of social information]. *Sociologija: 4M*. 1999;11. (In Russ.)
- [7] Devyatko I.F. Prichinnost' v obydenom soznanii i sociologicheskom objasnenii: kontury novogo sociologicheskogo podhoda [Causality in ordinary consciousness and sociological explanation: The contours of the new sociological approach]. *Sociologija: 4M*. 2007;25 (In Russ.)
- [8] Ermizina E.V., Puzanova Zh.V. *Problemy verbal'noj kommunikacii v sociologicheskom issledovanii* [Problems of Verbal Communication in Sociological Research]. Moscow: RUDN; 2009. (In Russ.)
- [9] Finn V.K. Ob intellektual'nom analize dannyh [On the intellectual data analysis]. *Novosti isskusstvennogo intellekta*. 2004;3. (In Russ.)
- [10] Gerber E. *Calculating Residence: A Cognitive Approach to Household Membership Judgements among Low Income Blacks*. Unpublished Census Bureau report; 1990.
- [11] Gerber E. *The Language of Residence: Respondent Understandings and Census Rules. Final Report of the Cognitive Study of Living Situations*. Center for Survey Methods Research, U.S. Census Bureau; 1994.
- [12] Hughes R. Considering vignette technique and its application to a study of drug injecting and HIV risk and safer behavior. *Sociology of Health and Illness*. 1998;20(3).
- [13] Krosnick J.A. Response strategies for coping with the cognitive demands of attitude measures in surveys. *Applied Cognitive Psychology*. 1991;5.
- [14] Kusakina V.O. Vignette method to study reproductive attitudes // <http://www.ssa-rss.ru/files/File/congress2012/part50.pdf>.
- [15] Martin E. Vignettes and respondent debriefing for questionnaire design and evaluation // <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.80.711&rep=rep1&type=pdf>.
- [16] McKeganey N., Abel M., Hay G. Contrasting methods of collecting data on injectors' risk behavior. *AIDS Care*. 1996;8(5).
- [17] Neff J.A. Interactional versus hypothetical others: The use of vignettes in attitude research. *Sociology and Social Research*. 1979;64.
- [18] Pankratova E.S., Finn V.K. *Avtomatičeskoe porozhdenie gipotez v intellektual'nyh sistemah* [An automatic generation of hypotheses in the intellectual systems]. Moscow; 2009. (In Russ.)
- [19] Parkinson B., Manstead A.S.R. Making sense of emotion in stories and social life. *Cognition and Emotion*. 1993;7(3/4).
- [20] Piaget J. *The Moral Judgment of the Child*. N.Y.: The Free Press; 1965.
- [21] Puzanova Zh.V., Tertyshnikova A.G. Metod neokončennyh predloženenij v issledovanii social'nyh predstavlenij (na primere obraza terrorista) [The unfinished sentences technique in the study of social representations (on the example of the terrorist's image)]. *Teorija i praktika obščestvennogo razvitija*. 2015;4. (In Russ.)
- [22] Rahman N. Caregivers' sensitivity to conflict: The use of vignette methodology. *Journal of Elder Abuse and Neglect*. 1996;8(1).
- [23] Rossi P.H., Nock S.L. (eds.) *Measuring Social Judgments: The Factorial Survey Approach*. Beverley Hills: Sage; 1982.
- [24] Schutz A. *The Phenomenology of The Social World*. Evanston: Northwestern University Press; 1967.

- [25] Stolte J.F. The context of satisficing in vignette research. *Journal of Social Psychology*. 1994;134.
- [26] Tatarova G.G. *Osnovy tipologicheskogo analiza v sociologicheskikh issledovaniyah* [Foundations of the Typological Analysis in Sociological Research]. Moscow; 2007. (In Russ.)
- [27] Tertyshnikova A.G. Metodologicheskie i metodicheskie aspekty izucheniya social'nyh predstavlenij ob intelligencii [Methodological and technical aspects of the study of social representations of intelligentsia]. *RUDN Journal of Sociology*. 2012;4. (In Russ.)
- [28] Thurman Q.S., Lam J., Rossi P. Sorting out the cockoo's nest: A factorial survey approach to the study of popular conceptions of mental illness. *Sociological Quarterly*. 1988;29(4).

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-306-316

ИЗУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МЕТОДА ВИНЬЕТОК: КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ ПОДХОД*

Ж.В. Пузанова, А.Г. Тертышникова

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198
(e-mail: puzanova.zhanna@gmail.com; nastysha-88@inbox.ru)

Статья посвящена зарождению метода виньеток как нового метода в эмпирической социологии. Метод виньеток выступает хорошей альтернативой традиционным методам массового опроса. Метод виньеток не отличается популярностью среди российских ученых, но имеет достаточно большую историю использования за рубежом. Использование данного метода помогает в решении широкого круга проблем (например, оценка перспектив опекунства; адаптация иностранных студентов к системе образования; исследования в области социальной справедливости; маркетинговые исследования; бизнес-исследования и т.д.). Метод виньеток также может использоваться для изучения проблем, которые носят сензитивный характер (например, ВИЧ, наркотики, психологические травмы и т.д.), поскольку может быть отнесен к числу проективных методик. Проективные методы помогают получить более достоверную информацию, потому что респондент проецирует ситуацию на другого, но в то же время реагирует на стимул и отвечает так, как считает он сам. В статье рассматриваются преимущества и недостатки метода виньеток, авторы дают информацию о его ограничениях. В зависимости от типа исследования авторами приводятся основные принципы проектирования и разработки виньеток. Авторы приводят примеры самостоятельно разработанных и апробированных в ходе собственных исследований виньеток. Также авторы подчеркивают преимущества логико-комбинаторных методов (в частности ДСМ-метода с его дихотомией) в обработке данных в рамках количественной стратегии. Другой метод анализа данных предполагает технику «погружения», когда шаг за шагом респондент получает новую долю информации, которая обогащает предыдущую.

Ключевые слова: проективные методы; метод виньеток; социальные представления; логико-комбинаторные методы; ДСМ-метод; качественные методы; количественные методы

* © Пузанова Ж.В., Тертышникова А.Г., 2017.

МАССОВЫЕ ОПРОСЫ, ЭКСПЕРИМЕНТЫ, КЕЙС-СТАДИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-317-326

КУЛЬТУРНАЯ ИДЕНТИЧНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ АДАПТАЦИИ ИНОЭТНИЧНЫХ МИГРАНТОВ В РОССИИ*

И.Б. Бритвина, П.А. ШумиловаУральский федеральный университет
ул. Мира, 19, Екатеринбург, 620002, Россия
(e-mail: irinabritvina@yandex.ru; Polina_shumilova@mail.ru)

В статье представлены результаты опросов жителей города Екатеринбурга и иноэтничных мигрантов из стран Центральной Азии, которые демонстрируют актуальные формы взаимодействия принимающего сообщества и приезжих из других стран, а также проблемы взаимного неприятия, способствующие росту социальных конфликтов. Авторы обозначили барьеры на пути взаимной интеграции россиян и приезжих, основанные на разнице социокультурных ориентаций. В качестве основного фактора положительного развития ситуации авторами статьи рассматривается работа с культурной идентичностью как детерминантой межэтнического взаимодействия. В результате теоретического анализа было выявлено отсутствие четкой содержательной формулировки понятия «культурная идентичность». Вместе с тем в статье аргументирована необходимость данного концепта для анализа современных социальных процессов, связанных с массовыми международными миграциями и межкультурными коммуникациями. В связи с этим целью данной статьи является доказательство важности выделения термина «культурная идентичность» в отдельную аналитическую категорию, а также эмпирическое обоснование необходимости формирования общей культурной идентичности в процессе взаимоадаптации и взаимоинтеграции россиян и иноэтничных мигрантов. Авторы статьи на основе конструктивистского подхода рассматривают идентичность как результат процесса идентификации. Авторы статьи отмечают, что идентичность является пластичным элементом, трансформирующимся в связи с меняющейся социальной обстановкой. Основным выводом становится утверждение необходимости поиска культурных паттернов как базиса межэтнических взаимоотношений, способных сохранять социальное благополучие и стабильность. Культурная идентичность является определяющим социальным конструктом, требующим внимания и коррекции для снижения напряжения в обществе, связанного с иноэтничными миграциями. Авторы отмечают, что процесс конструирования общей социальной идентичности принимающего сообщества и иноэтничных мигрантов состоит из нескольких стадий. Начало этого процесса связано с формированием общегражданской идентичности. Следующим необходимым шагом является формирование общей культурной идентичности коренных жителей и приезжих.

Ключевые слова: социальная идентичность; культурная идентичность; принимающее сообщество; культурные привычки; иноэтничные мигранты; опрос; Екатеринбург

* © Бритвина И.Б., Шумилова П.А., 2017.

Статья выполнена при поддержке РФФИ «Формирование идентичности мигрантов из стран Центральной Азии и россиян как проблема взаимоадаптации в условиях российского мегаполиса» (проект №16-33-00010/17-ОГОН).

Общегражданская и культурная идентичность внешних иноэтничных мигрантов и принимающего сообщества — это два полюса их взаимной интеграции и адаптации к меняющимся условиям. По косвенным данным, Россия имеет около 30 млн человек накопленной миграции из стран ближнего зарубежья, большинство потока которых составляют иноэтничные мигранты из стран Центральной Азии. Принятие общегражданской идентичности — это первое, что требуется от приезжих в условиях нового для них правового поля.

Формирование общей культурной идентичности иноэтничных мигрантов и россиян — долгий и противоречивый процесс. Барьеры, мотивация на сближение, установки, этапы и факторы развития этого явления изучены еще недостаточно. Опыт США и стран Западной Европы является очень противоречивым. Ситуация в России имеет специфику в первую очередь в силу того, что ныне самостоятельные страны ближнего зарубежья ранее входили в общее правовое, экономическое и культурное пространство СССР.

Авторы данной статьи ставят перед собой цель обосновать необходимость выделения одной из форм социальной идентичности — «культурной идентичности» как самостоятельной теоретико-аналитической категории, и продемонстрировать применимость такого подхода на примере анализа современных миграционных процессов в г. Екатеринбурге.

Появление термина «идентичность» традиционно связывают с психологией. Э. Эриксон описывал идентичность как самоопределение — одно из качеств личности, которые эволюция заложила как в базальный план каждой стадии жизни человека, так и в базальный план институтов человечества [7]. Свою междисциплинарность термин приобрел благодаря Э. Фромму, придавшему ему более социологическое наполнение и связавшему идентичность не только с моральным формированием личности, но и со здоровьем общества в целом [5]. Дж.Г. Мид рассматривал идентичность с точки зрения интеракционистского подхода, оперируя понятием социальной идентичности, указывая на ее базисность в процессе трансляции и интерпретации информации. Термин «социальная идентичность» использовал и И. Гофман, считая, что он включает в себя и структурные, и личностные качества (более точного определения им не дано) [10].

В.А. Ядов выделяет *идентичность* как четкое понимание человеком того, кем он является, кем являются «они» и «мы», и *идентификацию* как процесс достижения этого понимания путем освоения, осмысления и выбора норм и правил различных социальных структур [8]. Необходимо заметить, что и сегодня понятие «идентичность» имеет в науке крайне размытую дефиницию. Такая многозначность снижает продуктивность использования термина как теоретической единицы, как категории анализа и объекта практической деятельности. Р. Брубейкер и Ф. Купер указывают на необходимость подбора значений для ясного выражения всех аспектов научного и общепринятого контента, заключенного в данном термине. Р. Брубейкер и Ф. Купер выделили следующие ключевые направления анализа идентичности: как одного из элементов, с помощью которого можно управлять обществом для решения политических и иных общественных задач; как при-

мордиального фактора общественного стремления к подобию и солидарности; как конструкта, находящегося в постоянном развитии и изменении, связанного с самоопределением и категоризацией психосоциальной сферы существования индивида, делающего возможным коллективное взаимодействие [9].

В современной науке представлен множественный подход, авторы которого полагают, что идентичность человека является результатом сложения целого комплекса более специфических идентичностей, создающих общую структуру итоговой идентичности, выстроенных в какую-либо иерархию, ситуативно актуализированных или неактуализированных. В итоге содержательная наполненность понятия значительно утяжеляет его и затрудняет адекватное использование во всех сферах применения. Тем не менее, термин «идентичность» прочно занимает свою нишу в научном пространстве, и вполне релевантен для объяснения ряда социальных процессов.

Понятие «культурная идентичность» актуализируется в связи с массовыми внешними миграциями, провоцирующими негативные социальные процессы скрытого или открытого противостояния культур принимающего сообщества и приезжих.

Прежде всего, стоит отметить, что дефиниция «культурная идентичность» отдельно практически не используется. Чаще всего она является смысловой приставкой в изучении других видов идентичностей: этнокультурной, национально-культурной, социокультурной и пр. По мнению авторов статьи, имеет смысл выделить культурную идентичность в отдельную аналитическую категорию в связи с доминирующими в науке социально-конструктивистскими воззрениями на природу этносов, рас, наций, национальностей, народностей как на мнимые сущности, формирование которых подчиняется политическим и социальным интересам [1. С. 31].

Культурная идентичность, по нашему мнению, имеет особую природу — она всегда проявляется в реальных эмоциях и чувствах, в поступках без дополнительных «информационных надстроек». Проявляясь в условиях культурного противопоставления, она чаще всего выражается словесной формулой «у них так, а у нас совсем не так». Л.Н. Гумилев отмечал, что антитеза «мы/они» — это универсальное явление, имеющее глубокую подоснову [3. С. 25], и даже выделял способность к противопоставлению как детерминанту этноса. В своем труде «Этногенез и биосфера Земли» Л.Н. Гумилев определяет этнос как «устойчивый, естественно сложившийся коллектив людей, противопоставляющих себя всем прочим аналогичным коллективам и отличающийся своеобразным стереотипом поведения» [3. С. 98]. Осознание этого отличия происходит при столкновении в обычной жизни, в повседневных делах, т.е. в рамках не специализированного уровня культуры (профессионального, научного, художественного и пр.), а на обыденном уровне. Именно на этом уровне и осуществляется акцентирование разницы реакций и культурных форм их выражения. Процесс актуализации культурной идентичности происходит через осознание, что определенные образцы поведения не соответствуют ожидаемым реакциям.

Таким образом, конструктивистский подход становится неуместным при анализе повседневного поведения индивидов, поскольку очевидность его стихийного примордиализма сложно отрицать. На уровне обыденного сознания культурное поведение — это «кровно заложенное» свойство, определяющее поведение человека и его восприятие других людей. И даже если индивид объективно понимает конструктивную природу культурной идентичности, субъективно он все равно трактует этничность как ее (идентичности) первооснову, чему способствуют такие факторы как фенотипические различия этнических групп, общая история народов, традиции и пр.

Культурная идентичность в такой трактовке выступает как формат социального поведения — человек не может находиться в состоянии изоляции [6. С. 188].

Для комфортного существования в окружающем социуме человек вырабатывает определенные формы поведения, которые упрощают ежедневное взаимодействие индивидов внутри определенного общества. Складывается набор паттернов, предполагающих поведенческий алгоритм, состоящий из принятых форм осуществления коммуникации и определенных ожиданий в ответ на них. Это можно отнести к понятию социальных привычек людей, необходимых для того, чтобы не обдумывать каждый раз стратегию поведения и сохранять комфортное коммуникативное состояние. Такие привычки, названные П. Бурдые габитусом, формируются посредством социальных отношений и становятся основой формирования их в дальнейшем.

Габитус — система схем восприятия и оценивания, это когнитивные и развивающиеся структуры, которые агенты получают в ходе их продолжительного опыта в какой-то позиции в социальном мире. Габитус есть одновременно система схем производства практик и система схем восприятия и оценивания практик [2. С. 75]. Они формируются в течение длительного времени и являются историческим продуктом, отражающим социальную позицию, в которой он (габитус) был сформирован. Именно поэтому, как отмечает П. Бурдые, началом чувств симпатии, антипатии, кооптации, дружбы, любви, брака, ассоциации и т.д. и, следовательно, всех устойчивых связей является чувство сходства габитуса [2. С. 71]. Это можно назвать «культурным габитусом», культурными привычками, которые лежат в основе всех социальных взаимодействий. При столкновении с другой культурой возникает ощущение разницы культурных габитусов.

Привычные схемы поведения не имеют ожидаемой реакции, а незнакомые образцы вызывают затруднения в их интерпретации. В этот момент у индивида возникает осознание разницы в поведенческих паттернах, через которое приходит определение себя как субъекта одной культуры, отличной от другой. Антитеза «их правила / наши правила» актуализирует существование культурной идентичности и понимание индивидом себя как носителя определенной культуры. Таким образом, можно рассматривать культурную идентичность как культурное самоопределение посредством социально-коммуникативных практик, включающих такие способы выражения индивидом своих чувств и мыслей, как символы, способы обмена ими, формы поведения.

При анализе миграционных проблем в области взаимоотношений между мигрирующим и принимающим сообществом нужно анализировать сферу повседневного общения, поскольку недовольство друг другом возникает как результат столкновения в обыденной жизни. В связи с этим можно выделить области регулярной социальной интеракции, в которых функционируют различные, но фиксированные в рамках определенной культуры схемы поведения (культурные привычки), например, межгендерная, межпоколенная, профессиональная, межстатусная, возрастная, религиозная, бытовая, семейная, дружеская и пр. Далее следует определить, в рамках каких из этих областей активнее всего происходит межкультурная коммуникация в конкретно взятом обществе, и провести сравнительный анализ коммуникационных паттернов конкретных культур, выявляя базовые несоответствия в принятых в этих культурах шаблонах самовыражения и ответных реакций. После этого производится соотнесение целей интеракции и оценки принципов ее осуществления.

Поскольку в данной статье речь идет о проблемах, возникающих в результате разницы культур принимающего сообщества и внешних иноэтнических мигрантов, то имеет смысл отметить, что для безопасного сосуществования с членами принимающего сообщества именно мигранты в определенной степени должны принять культурную идентичность страны, в которую прибывают. Как отмечает Л.Н. Гумилев, инкорпорация достаточно большого количества инокультурных масс может привести к разложению этноса [3]. Однако любые привычки, в том числе и культурные, менять не просто, поэтому со стороны иноэтнических мигрантов, как правило, используется тактика воссоздания своего мира «на чужбине» и стремление к временному (с целью адаптации) или постоянному максимальному сокращению контактов с представителями принимающей культуры. Это выражается в стремлении к созданию «этнических кварталов» или «капсулированию» мигрантов. Это стало большой проблемой в Европе.

В России на данный момент проводится политика, не допускающая массового и закрытого территориального расселения мигрантов на территории страны. Так, например, в Екатеринбурге традиционно район Сортировки считается неким этническим анклавом. Однако, по сути, он таковым не является, поскольку на его территории проживают представители не одного этно-национального меньшинства, а очень многих: китайцы, кавказцы, выходцы из стран Центральной Азии. Тем не менее, трудовые мигранты стремятся к сплочению и обособлению по этнонациональному признаку, стараясь проживать совместно на жилплощади, вместе работать и проводить свободное время. Происходит это от того, что при взаимодействии с принимающей культурой они чаще всего получают в ответ негативные реакции. Исходя из теорий «зеркального Я» (Ч.Х. Кули), «обобщенного другого» (Дж.Г. Мид) и значимости одобрения для индивида со стороны окружающих можно выделить механизм формирования культурных привычек, в котором присутствуют несколько основных элементов: совершение коммуникативного действия стороной А, получение ответного одобрения со стороны Б, повторение коммуникативного действия стороной А (желательно несколько раз).

Нежелание со стороны приезжих принимать культурную идентичность принимающего сообщества можно объяснить тем, что мнение его представителей для них не так важно, поскольку они не являются «значимыми другими». То есть совокупность представителей принимающего сообщества неинтересна самим мигрантам, как общество, в которое они хотели бы встроиться.

Для иллюстрации сформулированных выше положений приведем данные двух социологических исследований, проведенных под руководством профессора И.Б. Бритвиной в 2016 г. методом опроса (анкетный опрос и стандартизированное интервью) представителей принимающей стороны (жителей Екатеринбурга, N = 485) и иноэтничных мигрантов из стран Центральной Азии (N = 231).

Таблица 1

**Готовность мигрантов и жителей Екатеринбурга
менять свои культурные привычки для безопасной жизни**

Варианты ответа	Жители Екатеринбурга	Мигранты
Совершенно не готов(а) менять свои культурные привычки	74,2	16,5
Ради безопасности частично готов(а) поменять свои культурные привычки	12,2	35,5
Готов(а) кардинально изменить свою культуру	0,2	11,7
Не знаю	12,6	35,1
Нет ответа	0,8	1,3

Данные опросов показывают, что степень готовности к изменениям ради безопасного сосуществования у мигрантов и местных жителей совершенно разная. Жители Екатеринбурга не считают нужным кардинально менять свои культурные паттерны как представители принимающего сообщества. Однако надо заметить, что лишь небольшая часть мигрантов (11,7%) готова кардинально пересмотреть свое поведение в чужой стране, настраиваясь на культурную интеграцию на базе норм местного населения. Это объясняется тем фактом, что большая часть иноэтничных мигрантов приезжают в Россию на временное проживание с целью заработать, именно поэтому они имеют мотивацию культурно встраиваться в российский социум ровно в той степени, которая позволяет им работать, т.е. достигать основной цели переезда в нашу страну. Так, например, из числа опрошенных мигрантов менее половины (47,2%) хотят навсегда переехать в Россию. Остаться жить в Екатеринбурге хотят лишь четверть опрошенных приезжих (26,8%).

Большинство екатеринбуржцев негативно воспринимают трудовых мигрантов из стран Центральной Азии и не согласны с необходимостью их присутствия в городе: 60,2% опрошенных отрицательно относятся к факту роста числа нерусских мигрантов в Екатеринбурге. Важно отметить, что основной причиной называются непринятые модели местного культурного поведения со стороны мигрантов и четкая артикуляция требования принять культурные нормы поведения россиян. Отметим, что респонденты обоих полов совершенно единодушны в своих требованиях к мигрантам. Но и при выполнении этих условий лишь треть опрошенных екатеринбуржцев (30,7%) готовы считать приезжих из этих стран «своими». Более трети однозначно считают их «чужими» (33,4%), остальные затруднились ответить на этот вопрос, что также наталкивает на размышления.

Таблица 2

**Требования к нерусским мигрантам
из стран Центральной Азии, % от числа опрошенных**

Перечень требований	Пол		
	Мужской	Женский	В целом
Соблюдать наши законы	69,1	66,4	67,7
Знание русского языка	65,0	62,5	63,6
Соблюдать культурные нормы, принятые в России	62,3	64,8	63,6
В общественных местах говорить только на русском языке	29,5	29,2	29,4
Молодежь из этих стран в России не должна вести себя вызывающе	27,3	27,3	27,3
Не создавать при расселении «этнические кварталы»	22,3	19,4	20,7
Не претендовать на рабочие и учебные места, которые могли бы занять россияне	13,6	23,3	18,8
Не требовать особых условий для соблюдения своих религиозных обрядов	15,5	19,0	17,3
Не демонстрировать свои культурные отличия в одежде, поведении, обычаях	15,0	12,3	13,5
Другие требования	2,3	2,0	2,1
Не знаю	2,7	1,6	2,1
Нет ответа	0,5	0,0	0,2

Интересно, что большинство мигрантов согласно с необходимостью соблюдения культурных норм, однако понимают они их иначе, чем россияне, и, прежде всего, — как юридически-правовые нормы.

Таблица 3

**Мнение мигрантов о необходимости соблюдения культурных норм,
принятых в России**

Варианты ответа	% от числа ответивших
Согласен	76,1
Не согласен	3,9
Не знаю	17,4
Нет ответа	2,6

Можно утверждать, что частичное или полное принятие общегражданской идентичности со стороны трудовых мигрантов не является достаточным для того, чтобы принимающее сообщество могло перейти на позитивную модель коммуникативного взаимодействия с ними.

В результате исследования был выявлен индекс социальной дистанции, который основан на субъективном ощущении екатеринбуржцев в отношении культурной чуждости иноэтнических мигрантов. Мы замеряли социальную дистанцию по шкале Э. Богардуса следующим образом: от 1 балла (возможность брачных отношений с представителями другого этноса) до 7 баллов (невозможность быть гражданами одного государства). Шкала была построена по кумулятивному принципу. Соответственно, чем индекс, полученный как средняя взвешенная суммы всех выборов, ближе к 1, тем социальная дистанция между этническими группами ощущается респондентами как более короткая.

Индекс социальной дистанции с иноэтничными мигрантами из стран Центральной Азии

Ранг группы	Этническая группа	Индекс социальной дистанции
1	Казахи	4,49
2	Киргизы	5,14
3	Туркмены	5,17
4	Узбеки	5,18
5	Таджики	5,25

Жители Екатеринбурга ощущают социальную дистанцию по отношению к мигрантам из стран Центральной Азии как довольно длинную: выше четырех баллов. Вместе с тем можно отметить, что этнические казахи воспринимаются жителями Екатеринбурга как социально более близкая группа, чем мигранты из других стран Центральной Азии.

Таким образом, результаты исследования показывают, что культурные паттерны являются базисом межэтнических взаимоотношений, способных сохранять социальное благополучие и стабильность. Также очевидно, что на сегодняшний день в России они не являются положительной основой в связи с недовольством принимающей стороны и стигматизацией внешних трудовых мигрантов, выражающейся в отсутствии контактов и распространения негативной, часто преувеличенной информации как через СМИ, так и через «сарафанное радио».

Формат статьи не позволяет осветить итоги опросов более подробно, но мы хотели бы выделить следующие противоречия процесса формирования общей культурной идентичности иноэтничных мигрантов из стран Центральной Азии и россиян на примере жителей Екатеринбурга:

- ◆ у россиян превалирует [4] общегражданская идентичность, у иноэтничных мигрантов актуализирована прежде всего этническая идентичность;

- ◆ налицо несопадение уровней социальной идентичности коренных и приезжих, что мешает формированию общей культурной идентичности (например, Ф. Шредер и М. Штефан-Эммрих отмечают, что мигранты имеют одновременно идентичность страны происхождения и страны приема; кроме того, некоторые этнические группы стран Центральной Азии могут опираться на их досоветские идентичности, в которых проявляется опыт «кочевого наследия») [11];

- ◆ сущность культурной идентичности иноэтничные мигранты и россияне понимают совершенно по-разному;

- ◆ россияне и иноэтничные мигранты имеют разную степень готовности менять свои культурные привычки;

- ◆ более высокая готовность приезжих менять свои культурные привычки не означает ее реализацию в конкретных поведенческих актах;

- ◆ стигматизация иноэтничных мигрантов через сообщения СМИ как «опасных» является серьезным барьером в формировании установки на культурное сближение со стороны россиян;

- ◆ мигранты проявляют разную степень готовности к принятию российской культурной идентичности в зависимости от цели пребывания в стране.

Таким образом, учитывая негативный опыт Европы в отношении столкновений иноэтничных мигрантов и принимающего сообщества, следует обратить особое внимание не только на формирование общегражданской идентичности мигрантов, но и на формирование общей культурной идентичности коренных и приезжих.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Андерсон Б.* Воображаемые сообщества. Размышления об истоках и распространении национализма. М.: КАНОН-пресс-Ц; Кучково поле, 2001.
- [2] *Бурдые П.* Социология социального пространства. М.—СПб.: Институт экспериментальной социологии; Алетейя, 2007.
- [3] *Гумилев Л.Н.* Этногенез и биосфера земли. СПб.: Кристалл, 2001.
- [4] *Дробизева Л.М.* Гражданская идентичность как условие ослабления этнического негативизма // *Мир России*. 2017. Т. 26. № 1.
- [5] *Фромм Э.* Иметь или быть? М.: АСТ, 2000.
- [6] *Фромм Э.* Человек для самого себя. М.: АСТ, 2010.
- [7] *Эриксон Э.* Детство и общество. СПб.: Ленато, АСТ, Университетская книга, 1996.
- [8] *Ядов В.А.* Социальные и социально-психологические механизмы формирования социальной идентичности личности // *Мир России*. 1995. № 3/4.
- [9] *Brubaker R., Cooper F.* Beyond “identity” // *Theory and Society*. 2000. Vol. 29. No. 1.
- [10] *Goffman E.* Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity. N.J.: Prentice-Hall, 1963.
- [11] *Schröder Ph., Stephan-Emmrich M.* The institutionalization of mobility: Well-being and social hierarchies in Central Asian translocal livelihoods // *Mobilities*. 2016. Vol. 11. No. 3.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-317-326

CULTURAL IDENTITY AND ADAPTATION OF ETHNIC MIGRANTS IN RUSSIA*

I.B. Britvina, P.A. Shumilova

Ural Federal University
Mira St., 19, Yekaterinburg, 620002, Russia
(e-mail: irinabritvina@yandex.ru; Polina_shumilova@mail.ru)

Abstract. The article presents the results of interviews with residents of Yekaterinburg (N = 485) and ethnic migrants from Central Asia (N = 231), which reveal the current forms of interaction between the host society and migrants from different countries, and the problem of mutual rejection that determines the growth of social conflicts. The authors identify key barriers hindering the mutual adaptation of the host society and migrants that are based on cultural differences and, thus, require a careful work with cultural identity as a determinant of interethnic interaction. However, the theoretical analysis proves the lack of a clear unambiguous interpretation of the ‘cultural identity’ concept that is necessary for the analysis of contemporary social processes under the international migrations and intercultural communications. The article aims to prove the importance of both considering ‘cultural identity’ as a special analytical category and

* © I.B. Britvina, P.A. Shumilova, 2017.

The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research. Project No. 16-33-00010/17-OGON “The identity of migrants from Central Asia and Russians as a problem of mutual adaptation in the Russian megalopolis”.

developing the common cultural identity in the process of mutual adaptation and integration of the Russians and ethnic migrants. The authors use the constructivist approach and define ‘identity’ as a result of the identification process and a flexible element that can be changed according to the social situation. Thus, cultural patterns should become the basis of interethnic relations to ensure social well-being and stability, and cultural identity is to be the most important social construct to reduce social tensions determined by ethnic migrations. The development of a common social identity consists of several stages: first the common civil identity is to be formed, then the common cultural identity of the host society and ethnic migrants.

Key words: social identity; cultural identity; host society; cultural habits; ethnic migrants; survey; Yekaterinburg

REFERENCES

- [1] Anderson B. *Voobrazhaemye soobshhestva. Razmyshleniya ob istokah i rasprostraneni nacionalizma* [Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism]. Moscow: KANON-press-C: Kuchkovo pole; 2001 (In Russ).
- [2] Bourdieu P. *Sociologiya social'nogo prostranstva* [Sociology of Social Space]. Moscow—Saint-Petersburg: Institut eksperimental'noj sociologii; Aleteya; 2007 (In Russ).
- [3] Gumilev L.N. *Etnogenez i biosfera zemli* [Ethnogenesis and the Biosphere of Earth]. Saint-Petersburg: Kristall; 2001 (In Russ).
- [4] Drobizheva L.M. Grazhdanskaya identichnost' kak uslovie oslableniya etnicheskogo negativizma [National identity as a means of reducing ethnic negativism]. *Mir Rossii*. 2017; 26(1) (In Russ).
- [5] Fromm E. *Imet' ili byt'* [To Have or to Be?]. Moscow: AST; 2000 (In Russ).
- [6] Fromm E. *Chelovek dlya samogo sebya* [Man for Himself]. Moscow: AST; 2010 (In Russ).
- [7] Erikson E. *Detstvo i obshchestvo* [Childhood and Society]. Saint-Petersburg: Lenato, AST, Universitetskaya kniga; 1996 (In Russ).
- [8] Yadov V.A. Social'nye i social'no-psihologicheskie mekhanizmy formirovaniya social'noj identichnosti lichnosti [Social and social-psychological mechanisms for forming social identity]. *Mir Rossii*. 1995; 3—4 (In Russ).
- [9] Brubaker R., Cooper F. Beyond “identity”. *Theory and Society*. 2000; 29(1).
- [10] Goffman E. *Stigma: Notes on the Management of Spoiled Identity*. N.J.: Prentice-Hall; 1963.
- [11] Schröder Ph., Stephan-Emmrich M. The institutionalization of mobility: Well-being and social hierarchies in Central Asian translocal livelihoods. *Mobilities*. 2016; 11(3).

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-327-337

ЭТНИЧЕСКИЕ СТЕРЕОТИПЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ: УДМУРТСКИЕ СТРАТЕГИИ*

И.Л. Поздеев

Удмуртский институт истории, языка и литературы
Уральского отделения Российской академии наук
ул. Ломоносова, 4, Ижевск, 426000, Россия
(e-mail: pozdeev79@gmail.com)

В работе на основе социологического исследования анализируется влияние этнических стереотипов на выбор стратегий межкультурного взаимодействия. На примере удмуртского этноса показана роль поведенческих стереотипов, выступающих в качестве целостной программы межличностных отношений и служащих ориентиром в процессе взаимодействия с представителями своего и других этносов. Выявлены автостереотипы, отражающие эмоциональное восприятие принадлежности к своему народу и дающие возможность прогнозировать дальнейшие пути развития этноса. Этнические стереотипы удмуртов формировались под влиянием инокультурного окружения и несли в себе опыт приспособления к окружающей социальной действительности. Отмечается наличие у основной массы удмуртов положительного отношения к своей этнической идентификации, осознание уникальности этнической культуры, присутствие позитивного опыта взаимодействия с другими народами, что внушает осторожный оптимизм при взгляде на будущее удмуртского этноса. Проанализирован также исторически сложившийся у удмуртов опыт коммуницирования с иноэтничным окружением и внутри своего этноса. Автор фиксирует, что взаимодействие с внешней культурной средой имело различные последствия. С одной стороны, оно могло вырабатывать у удмуртов негативную самооценку, в том числе неуверенность в себе. Неуверенность часто приводит к замкнутости, боязни показать свою культурную своеобразность, что затем вызывает стремление к социальной мимикрии. В качестве одного из ведущих факторов усиления ассимиляционных процессов рассматривается сложившийся в обществе низкий социальный статус удмуртского этноса и его слабые адаптационные возможности. С другой стороны, противодействие инокультурному доминированию заставляет занимать активную позицию, искать пути сохранения этнической идентичности. Так, необходимость приспособления к социальной действительности побуждает удмуртов Республики Татарстан быть такими же активными, как этническое большинство республики, искать новые стратегии межкультурного взаимодействия. Использование в статье собранных автором полевых этнографических материалов не только дополняет статистические данные новыми фактами, но и позволяет почувствовать голос народа, его эмоциональное восприятие социальных и культурных реалий.

Ключевые слова: удмурты; этнические стереотипы; этническая идентичность; этносоциология; межэтническое взаимодействие; Удмуртская Республика; Республика Татарстан

Влияние этнического фактора на социальные процессы является одной из примечательных реалий современной России. Этнокультурная мозаичность российского социума оказывает значительное и знаковое воздействие на самосознание и самоощущение, межкультурную коммуникацию народов страны, и, наконец, на государственное управление и общественное развитие. Казалось бы, сегодня,

* © Поздеев И.Л., 2017.

когда происходит размывание этнокультурных различий и усиливаются позиции массовой культуры, этнический фактор рискует стать отмирающим анахронизмом. Однако этнические общности продолжают оставаться объективной реальностью нашего времени, разносторонне влияя на этнокультурные, языковые, конфессиональные процессы, происходящие Российской Федерации. Исследователями отмечается активизация «этнизации» массового сознания россиян, наблюдается повышение интереса к своей культуре у коренных этносов под воздействием миграционных процессов и увеличения частоты межнациональных контактов [10. С. 530]. В этой связи чрезвычайную актуальность приобретает рассмотрение сложившихся в духовной культуре народов специфических этнических стереотипов как наиболее устойчивых, типизированных и эмоционально заряженных образов-представлений, содержащих в себе универсальные элементы комплексной программы межличностных отношений как внутри этноса, так и с иноэтническим окружением. В данной статье на примере удмуртского этноса предпринимается попытка анализа влияния этнических стереотипов на выбор поведенческих стратегий межкультурного взаимодействия.

Эмпирическую основу работы составили результаты социологического исследования, проведенного в 2012—2014 гг. в рамках реализации проекта «Ресурсный потенциал удмуртов в различных социо- и этнокультурных средах» среди городских и сельских удмуртов, проживающих на севере, юге и в центральной части Удмуртии, а также в г. Набережные Челны и Кукморском районе Республики Татарстан, где исторически высок удельный вес удмуртского населения. Целью исследования стало выявление специфики воздействия этнического фактора на ресурсный потенциал удмуртов в зависимости от социокультурного окружения.

В качестве метода сбора информации было использовано анкетирование. Выбор информантов строился по принципу «одна анкета — одна семья», возрастная граница опрашиваемых — от 25 лет и старше. В этот период у человека формируется устойчивое мировоззрение, осознанная этническая идентичность, вырабатываются индивидуальные практики и образцы поведения, он приобретает уникальный жизненный опыт. Согласно выборке было опрошено 1435 человек. В анкете респондентам предлагалось ответить на ряд вопросов, охватывающих различные сферы жизни: этническое самосознание, материальное положение семьи, семейные отношения, оценки жизненной ситуации, состояние здоровья, авто- и гетеростереотипы, отношение к собственной этнической культуре. Количественные показатели были дополнены информацией, полученной качественным путем — с опорой на глубинные интервью или включенное наблюдение, осуществленное в ходе рабочих поездок.

Поведенческие стереотипы выступают в качестве целостной программы межличностных отношений, предлагая человеку готовые модели поведения и помогая ориентироваться в различных ситуациях, в том числе в процессе взаимодействия с представителями своего и других этносов. Ю.В. Бромлей определял этнические стереотипы как «типичные для членов этноса понятия, знания, умения, нормы поведения» [2. С. 71]. Они, как отмечал А.К. Байбурин, «проявляются в условиях контакта с представителями других этносов и выполняют защитную функцию по отношению к своеобразию духовной культуры» [1. С. 39].

Л.М. Дробижева выделяет этнические стереотипы в структуре идентичности в качестве «представления о своей группе («образ мы»), наряду с самоидентификацией (отнесением себя к этнической группе, локальной, государственной общности) и эмоционально окрашенным отношением к таким образам» [5. С. 232]. Немаловажным является указание исследователя на то обстоятельство, что авто-стереотипы (представления о себе) формируются в процессе соотнесения с гетеростереотипами (представлениями о других) [5. С. 232].

Сложившиеся представления-маркеры не только обобщают характерные черты этносов, они выражают ценностное и эмоциональное отношение к ним, оказывая решающее воздействие на выбор поведенческих стратегий. В этой связи в процессе исследования респондентам было предложено высказать мнение о положительных и отрицательных свойствах своего народа (табл. 1).

Таблица 1

Национальные черты в оценке респондентов (в %)

Варианты ответов	Удмуртская Республика			Республика Татарстан	
	Общие данные	Городские поселения	Сельские районы	Набережные Челны	Кукморский район
Положительные стороны удмуртов*					
Гостеприимность	17,6	15,0	20,2	4,6	6,7
Доброта	21,8	17,6	26,1	37,0	20,5
Скромность	14,5	12,0	17,0	18,5	3,3
Толерантность	5,4	5,1	5,7	4,6	2,8
Терпеливость	7,1	8,5	5,8	1,5	5,5
Трудолюбие	37,5	36,9	38,2	38,4	55,6
Дружелюбие	1,5	2,1	1,0	—	1,1
Коммуникабельность	2,1	2,4	1,9	3,0	2,8
Не ответили	2,1	9,3	—	—	—
Негативные стороны удмуртов*					
Алкоголизм	7,9	6,7	9,0	12,3	4,4
Доверчивость	4,8	0,9	9,2	—	2,2
Зависть	10,4	9,6	11,3	3,1	6,7
Неуверенность в себе	23,8	16,0	31,6	20,0	1,1
Скромность/робость	5,3	4,1	6,5	4,6	9,4
Стеснительность, в т.ч. по отношению к родному языку	10,6	12,1	9,6	10,7	28,3
Не ответили	33,8	48,3	17,7	46,3	44,4

* Суммарный показатель может превышать 100%, поскольку респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов.

Как видим, респонденты гораздо легче и охотнее называют положительные качества своего народа, нежели негативные. Это вполне объяснимо, поскольку человеку важно получать положительные эмоции от осознания связи с социальной общностью, это одно из необходимых условий для нормализации внутригрупповых и межнациональных отношений. Не случайно Ю.В. Бромлей отмечал, что среди характеристик «своего» этноса преобладающими обычно являются положительные самооценки [3. С. 183], поскольку распространенность негативных стереотипов ставит под угрозу целостность этноса: индивид, стараясь избавиться

от чувства этнической неполноценности, вероятнее всего постарается идентифицировать себя с более «престижной» этнической общностью. Или, возможно, его дети выберут иную этническую принадлежность.

Оценивая позитивные стороны удмуртов, многие из анкетированных указали такое качество, как трудолюбие: в городах Удмуртии — 36,9%, в сельской местности — 38,2% вариантов ответов. Результат вполне объясним — для основной части опрошенных главным средством адаптации является труд в различных его проявлениях. Во время бесед у респондентов отмечается готовность много работать, в том числе и физически. Данную сентенцию иллюстрируют слова одного из активистов Всеудмуртской ассоциации «Удмурт кенеш»: «Да, среди удмуртов мало предприимчивых людей, но дайте нам хорошего руководителя — мы же горы свернем!». Это в очередной раз подтверждает тезис, выдвинутый ранее, что труд является для удмуртов испытанным, привычным и надежным ресурсом [4. С. 82].

В традиционном удмуртском обществе трудолюбие выступало в качестве жизненно важной характеристики. Межпоколенная передача необходимых трудовых навыков, народной земледельческой культуры, элементов трудовой этики являлась одним из необходимых условий сохранения народа в условиях аграрного уклада. Трудолюбие являлось необходимым для признания индивида полноценной личностью, полноценным членом общества. Это нашло отражение в устном народном творчестве удмуртов («Умелому всякая работа легка», «Самим заработанный хлеб сытнее») [13. С. 16] и стало составным элементом духовной культуры удмуртов, проявляющимся и в наше время.

На второе и третье места респондентами были поставлены доброта и гостеприимность (в среднем по Удмуртии 21,8% и 17,6% показателей), причем данные свойства, как правило, чаще указывались в сельской местности, где, очевидно, между односельчанами сохраняются более тесные взаимоотношения, чем среди горожан. Кроме того, для городской среды характерна большая индивидуализация жизни. Для ответов горожан характерна вариативность, использование современных терминов в описании стереотипов, что вполне объясняется более высоким уровнем образования.

Трудолюбие и доброта среди удмуртов Татарстана также занимают лидирующие позиции. В то же время на третьем месте по г. Набережные Челны — скромность (18,5%). Разница усиливается по такому качеству, как гостеприимство: если в среднем по Удмуртии 17,6% опрошенных считают данное качество характерным для удмуртов, то в соседнем регионе — только 4,6% (г. Набережные Челны) и 6,7% (Кукморский район). Возможно, фиксируемый феномен обусловлен стремлением к самосохранению, выражающемся также в замкнутости, в создании определенной дистанции с иноэтничным окружением. Исторически сложившийся опыт сохранения этнической культуры этой локальной группы в преимущественно татарском окружении отличается специфическими поведенческими практиками местных удмуртов. Прежде всего, это связано с необходимостью социального маркирования, этнокультурного отделения от татар. Как они сами отмечают, «среди другого народа жить очень сложно» [7. Л. 18]. Близкое соседство с титульным

этносом выработало в характере, психологии и поведении удмуртов особые черты, в том числе стремление к активности. Полевые материалы, собранные в Кукморском районе, дают хороший иллюстративный материал: «Татары шустрые, но мы должны быть шустрее их, иначе не выживешь» [7. Л. 22], «удмурты — народ упорный, а татары — наглый; рядом с ними живя, и удмурт становится нагловатым» [7. Л. 23]. Все это оказывает воздействие на выбор адаптационных практик локальных групп удмуртов Татарстана.

Кроме того, исследования завятских («живущих за Вяткой») удмуртов показывают, что внутри этих этнотерриториальных групп достаточно активно используются сетевые связи. К примеру, в сельском сообществе функционирует разветвленная сеть родственной и соседской взаимопомощи, дружеской поддержки [9. С. 39].

Обычно соседи и родственники устраивают помочи при проведении трудоемких работ — посадке картофеля, заготовке сена, строительстве дома. Поддерживаются связи между жителями удмуртских поселений и при проведении досуга: «Мы каждый год стараемся для старшеклассников проводить вечера, каждый год — в разной удмуртской школе. Пусть они там знакомятся друг с другом, чем с татарами и русскими» [7. Л. 20].

Ответы респондентов свидетельствуют о стремлении к положительной этнической самоидентификации, что говорит и о наличии потенциала самосохранения этноса. В то же время не чуждо удмуртам и критичное отношение к самим себе. Подавляющее большинство городских и сельских удмуртов среди негативных характеристик прежде всего отметили «неуверенность в себе». Думается, в таком единодушии ответов кроется понимание респондентами того факта, что от неуверенности в себе «произрастает» нерешительность, ведущая к социальной пассивности. «Мы не решаемся взять на себя ответственность, не хватает жизненной энергии, отсюда не хватает хваткости, умения пролезать и брать на себя ответственность, решать какие-то важные проблемы, вступать в конфликт с тем же начальством — зачем, когда можно жить и так, без конфликта», — говорят информанты [7. Л. 14]. При этом чувство неуверенности в основном называли сельские жители (31,6%), хотя и в городе такой ответ не является редким (23,8%).

Возможно, такая психологическая реакция сложилась у удмуртов исторически, под воздействием иноэтничного окружения. Этнограф Г.К. Шкляев, исследуя этническую психологию удмуртов, отмечал, что ко второй половине XIX в. в сознании русских на территории Удмуртии утвердился стереотип этнической иерархии, согласно которому удмуртский народ стоял на более низкой ступени развития: «Отношение русских к удмуртам... оценивается как пренебрежительное, как к народу с низкой нравственностью; их стали считать недалекими по уму, мстительными и т.д. По свидетельству священника П. Глезденева, в значительной части русского общества нередко были слышны самые дикие и грубые мнения и выражения об удмуртах, особенно среди необразованной его части — крестьян и ремесленников» [14. С. 80]. Подобные представления имели место и в татарской среде.

Конечно, не стоит считать, что данные установки существовали среди всего русского и татарского населения — это было бы неправильно, но все же подобная точка зрения приняла достаточно распространенный характер. Поэтому у удмуртов формировалось настороженное отношение к иноэтничной среде, они нередко замыкались в себе. Ситуацию можно проиллюстрировать удмуртской поговоркой, в которой образно отразилось отношение к соседним этносам и к себе: «Русский — медведь, татарин — волк, удмурт — рябчик».

Заметное место среди отрицательных свойств, с точки зрения анкетированных, заняла зависть: это качество в среднем по республике отметил каждый десятый. Алкоголизм в большей степени характерен для сельской местности, чем в поселениях городского типа.

Анализируя автостереотипы опрошенных удмуртов, следует отметить, что осознание наличия негативных черт у собственного этноса практически не влечет за собой стремление поменять свою этническую идентификацию (табл. 2).

Таблица 2

**Распределение ответов на вопрос:
«Хотели бы Вы поменять свою национальность?»**

Варианты ответов	Удмуртская Республика			Республика Татарстан	
	Общие данные	Городские поселения	Сельские районы	Набережные Челны	Кукморский район
Нет, меня устраивает моя национальность	93,1	91,7	94,5	96,9	96,1
Да, хотел бы поменять	2,1	2,8	1,5	—	2,8
Не ответили	4,8	5,5	4,0	3,1	1,1

О желании поменять свою национальность высказалось небольшое количество респондентов (по Удмуртии 2,1%). Столь незначительный процент вполне объясним, поскольку опрос проводился среди людей с уже сформировавшимся этническим самосознанием, а как отметил С.Е. Рыбаков, любое иное качество личности, связанное с идентификацией, меняется, а принадлежность к этносу — нет [12. С. 10].

Сложившееся к концу юношеского возраста этническое самосознание уже практически не изменить. Индивид, даже сознательно отказавшись от своей этнической принадлежности, поменяв ее, не перестает быть представителем своей этнической группы. Она продолжает влиять на него через национальный характер, психологию, родственные связи, стереотипы мировосприятия и поведения вне зависимости от того, осознаваемы они или нет, желательны или нежелательны для самого человека. Однако эмоциональная окраска от идентификации с этносом может варьироваться, что часто наблюдается в ответах респондентов.

Абстрактные представления о национальном характере респонденты могли уточнить на своем конкретном примере, ответив на вопрос «Какие черты характера присущи Вам как удмурту?» (табл. 3).

**Распределение ответов на вопрос:
«Какие черты характера присущи Вам как удмурту?»***

Варианты ответов	Удмуртская Республика			Республика Татарстан	
	Общие данные	Городские поселения	Сельские районы	Набережные Челны	Кукморский район
Гостеприимность	6,0	2,9	9,0	4,6	0,6
Доброта	10,2	7,7	12,7	20,0	15,5
Неуверенность в себе	10,8	6,9	14,8	7,7	—
Трудолюбие	20,3	17,7	23,0	23,1	33,9
Терпеливость	5,6	5,4	5,8	4,6	2,2
Толерантность	1,6	2,5	0,8	6,0	—
Коммуникабельность	1,9	2,8	1,0	1,5	0,6
Скромность	15,1	12,9	17,3	26,2	0,3
Не ответили	28,5	41,0	15,4	—	20,4

* Суммарный показатель может превышать 100%, поскольку респондентам было предложено выбрать несколько вариантов ответов.

И здесь положительные характеристики преобладают над отрицательными, во многом повторяя ситуацию с оценкой качеств своего народа. Анкетированные отмечали в первую очередь соответствующие положительные стороны (в порядке убывания): трудолюбие (и сельские, и городские жители), скромность, доброту и гостеприимство; единственный ответ с отрицательной оценкой — «неуверенность в себе» — является наиболее часто упоминаемым качеством в случае, когда речь идет о восприятии всего этноса и когда происходит самооценка.

Интересно, что при знакомстве с мнениями людей, изложенными в анкетах, часто встречается такая ситуация, когда удмурты, указывая среди негативных этнических черт «неуверенность в себе», далее говорят то же самое и про себя. Налицо определенный внутренний дисбаланс, с которым человек вынужден сосуществовать. Естественно, что подобное рассогласование может иметь и далеко идущие последствия, когда человек вольно или невольно будет стремиться к тому, чтоб исправить данную ситуацию. К примеру, подменяя «неуверенность» на более нейтральный вариант ответа «скромность», который является вторым по упоминаемости в Удмуртской Республике (15,1%) и первым в г. Набережные Челны (26,2%).

К сожалению, неуверенность в себе часто приводит к замкнутости, боязни показать свою культурную своеобразность, что затем вызывает стремление к социальной мимикрии. Хорошо комментирует сложившуюся ситуацию высказывание одного из респондентов, в словах которого отражены беспокойство и переживание за будущее народа: «Вина всего удмуртского общества — мы не гордимся тем, что мы носители языка, нет гордости за себя. Хотя этого и у русских нет, в нас самих нет гордости за страну, за нацию. Нам надо развивать позицию уникальности своей культуры» [8. Л. 12].

Возможно, все вышеперечисленное повлияло на то, что, по мнению опрошенных, удмурты по уровню своих адаптационных возможностей занимают одно из последних мест, после татар, уроженцев Кавказа, русских и евреев (хотя более трети анкетированных считают, что всем народам сложно приспособиться к современной жизненной ситуации) (табл. 4).

**Распределение ответов на вопрос:
«Какие народы легче всего приспосабливаются к жизни?»**

Варианты ответов	Удмуртская Республика			Республика Татарстан	
	Общие данные	Городские поселения	Сельские районы	Набережные Челны	Кукморский район
Русские	12,4	8,6	16,3	6,1	12,8
Удмурты	4,2	4,5	4,0	9,2	12,2
Татары	32,2	29,9	34,6	29,2	40,0
Кавказцы	24,2	24,4	24,1	26,1	7,8
Евреи	11,5	13,8	9,2	26,1	12,2
Всем одинаково сложно	33,1	35,3	30,9	26,1	26,1

В своей практической жизни удмурты взаимодействуют с представителями других этносов. Так, татары, будучи коренным народом Урало-Поволжья, помимо Республики Татарстан являются третьим по численности народом Удмуртии. Они компактно проживают во всех городах региона, в 20 сельских населенных пунктах их доля составляет свыше 80% населения [6. С. 175]. Кроме того, указанные субъекты Российской Федерации притягивают мигрантов из республик Закавказья и Средней Азии. Выбор Удмуртии в качестве региона-реципиента обусловлен обладанием первоначальной информацией о принимающем сообществе, наличием людей, способных помочь в процессе первичной адаптации, и благоприятной межэтнической ситуацией в регионе [11. С. 126]. При этом мигранты своим поведением не оставляют равнодушными местных жителей, часто вызывая настороженность и раздраженность. Вместе с тем местные жители в качестве положительных характеристик приезжих отметили их сплоченность, уважительное отношение к женщинам и пожилым людям, незыблемый авторитет старших среди молодежи. Видимо поэтому респонденты среди качеств указанных групп, способствующих более легкому и быстрому приспособлению к жизни, отметили, что они «дружные», «наглые», «хитрые», «целеустремленные».

При анализе данных исследования видно, что многие респонденты затрудняются с ответом на некоторые вопросы, в том числе при характеристике национальных черт своего этноса. Вероятно, национальный характер, как один из элементов ментальности, не всегда осознается людьми, и существует на уровне обыденных представлений, когда индивид не задумывается, какие положительные или отрицательные стороны присущи его народу и как они отражаются на его жизни. Не стоит также исключать того факта, что эта тема весьма деликатна, поэтому анкетированные старались уходить от нее, избегали ответов на подобные вопросы.

Таким образом, сложившиеся в духовной культуре народа этнические стереотипы и в современных условиях оказывают свое регулирующее воздействие на стратегии межкультурного взаимодействия, выполняя роль символического объединения этноса и средства сохранения этнической дистанции с другими народами. Помимо информационных кодов поведения, стереотипы придают эмоциональную окраску принадлежности к своему народу.

Этнические стереотипы удмуртов исторически формировались под влиянием инокультурного окружения и несли в себе опыт приспособления к окружающей социальной действительности. Возможно, слабая социальная активность, стремление к уходу от конфликтов являлись составными частями исторически сложившейся стратегии выживания удмуртов. Однако современная действительность, в том числе приток представителей нетрадиционных для Урало-Поволжья этнических культур с достаточно активной и «напористой» жизненной позицией, усиление негативных ассимиляционных тенденций требуют от удмуртов поиска новых стратегий межкультурного взаимодействия.

Наличие у основной массы удмуртов позитивного отношения к своей этнической идентификации, осознание уникальности этнической культуры, присутствие положительного опыта взаимодействия с другими народами внушают осторожный оптимизм при взгляде на будущее удмуртского этноса. В качестве положительного примера здесь выступают поведенческие практики удмуртов Республики Татарстан. Стремление к социальной адаптации заставляет местных удмуртов быть активными, вырабатывать механизмы сохранения своего культурного своеобразия, не последнее место среди которых занимает уважительное отношение к собственной этнической культуре и осознание ее ценности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Байбурин А.К.* Этнические аспекты изучения стереотипных форм поведения и традиционных культур // Советская этнография. 1985. № 2.
- [2] *Бромлей Ю.В.* К вопросу о влиянии особенностей культурной среды на психику // Советская этнография. 1983. № 3.
- [3] *Бромлей Ю.В.* Очерки теории этноса. М.: Наука, 1983.
- [4] *Васина Т.А., Поздеев И.Л.* Адаптационные ресурсы и практики городских удмуртов // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2011. № 3.
- [5] *Дробизева Л.М.* Социальные проблемы межнациональных отношений в постсоветской России. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 2003.
- [6] *Касимова Д.Г.* Численность и расселение татар Удмуртии // Удмуртская Республика: историко-этнографические очерки. Ижевск, 2012.
- [7] Научно-отраслевой архив УИИЯЛ Уро РАН, Рукописный фонд. Описание 2-Н, Дело 1637.
- [8] Научно-отраслевой архив УИИЯЛ Уро РАН, Рукописный фонд. Описание 2-Н, Дело 1648.
- [9] *Никитина Г.А.* Удмурты за пределами Удмуртии: ресурсы выживания в условиях постсоветских трансформаций // Диаспоры Урало-Поволжья: Материалы межрегиональной научно-практической конференции. Ижевск, 2005.
- [10] *Оносов А.А., Гаспаршивили А.Т.* Этнизация массового сознания русских в московском регионе: экспертная оценка процесса // Вестник РУДН. Серия «Социология». 2016. Т. 16. № 3.
- [11] *Поздеев И.Л., Арзамасов А.А.* Узбеки в России: практики адаптации в инокультурной среде // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2015. Т. 15. № 4.
- [12] *Рыбаков С.Е.* О методологии исследования этнических феноменов // Этнографическое обозрение. 2000. № 5.
- [13] Удмуртский фольклор: Пословицы, афоризмы и поговорки. Устинов: Удмуртия, 1987.
- [14] *Шкляев Г.К.* Традиции и новации в межэтническом поведении удмуртов // Традиционное поведение и общение удмуртов. Ижевск, 1992.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-327-337

ETHNIC STEREOTYPES IN INTERCULTURAL COMMUNICATION: THE UDMURTS' STRATEGIES*

I.L. Pozdeev

Udmurt Institute of History, Language and Literature
Ural Branch of Russian Academy of Sciences
Lomonosova St., 4, Izhevsk, 426000, Russia
(e-mail: pozdeev79@gmail.com)

Abstract. Based on the data of sociological research the article examines the influence of ethnic stereotypes on the choice of intercultural interaction strategies. The example of the Udmurt ethnos proves the importance of behavioral stereotypes as a program of interpersonal relations and a reference point in interaction with representatives of one's own and other ethnic groups. The author identifies autostereotypes that reflect the emotional perception of ethnic identity and allow predicting further ways of ethnic development. Ethnic stereotypes of the Udmurts were determined by the influence of their cultural environment and adaptation to the social reality. The majority of Udmurts positively perceive their ethnic identity and recognize the uniqueness of ethnic culture and the need for positive interaction with other peoples, which explains the author's cautious optimism when considering the future of the Udmurts. Their historical interaction with the cultural environment had various consequences: on the one hand, it explains the negative self-esteem of the ethnos including self-doubt; and uncertainty often leads to isolation and fear to show one's cultural identity, and striving for social mimicry. Thus, the author considers the low social status of the Udmurts and their weak adaptive abilities as one of the key factors in strengthening the assimilation. On the other hand, the Udmurts opposition to the cultural domination of other ethnic groups makes them take an active stance and to seek ways to preserve their ethnic identity. Thus, the Udmurts of the Republic of Tatarstan should be as active as the ethnic majority of the region (the Tatars) in the search for new strategies of intercultural interaction and adaptation to the social reality. The field ethnographic data allow the author to supplement statistical data with new facts, and help the readers to 'hear' the voices of the people and to 'see' their emotional perception of social and cultural realities.

Key words: Udmurts; ethnic stereotypes; ethnic identity; ethnic sociology; interethnic interaction; the Udmurt Republic, the Republic of Tatarstan

REFERENCES

- [1] Baiburin A.K. Etnicheskie aspekty izucheniya stereotipnykh form povedeniya i traditsionnykh kul'tur [Ethnic aspects of the study of stereotypic forms of behavior and traditional cultures]. *Sovetskaya etnografiya*. 1985;(2). (In Russ).
- [2] Bromley Y.V. K voprosu o vliyaniy osobennosti kul'turnoi sredy na psikhiku [On the influence of the features of the cultural environment on the psyche]. *Sovetskaya etnografiya*. 1983;(3). (In Russ).
- [3] Bromley Y.V. *Ocherki teorii etnosa* [Essays on the Theory of Ethnos]. Moscow: Nauka; 1983. (In Russ).
- [4] Vasina T.A., Pozdeev I.L. Adaptatsionnye resursy i praktiki gorodskikh udmurtov [Adaptation resources and practices of urban Udmurts]. *RUDN Journal of Sociology*. 2011;(3). (In Russ).
- [5] Drobizheva L.M. *Sotsial'nye problemy mezhnatsional'nykh otnoshenii v postsovetskoj Rossii* [Social Problems of Interethnic Relations in Post-Soviet Russia]. Moscow: Tsentr obshchechelovecheskikh tsennosti; 2003. (In Russ).

* © I.L. Pozdeev, 2017.

- [6] Kasimova D.G. *Chislennost' i rasselenie tatar Udmurtii* [The number and resettlement of Tatars of Udmurtia]. *Udmurtskaya Respublika: istoriko-etnograficheskie ocherki*. Izhevsk, 2012. (In Russ).
- [7] Nauchno-otraslevoj arhiv Udmurtskogo instituta istorii, jazyka i literatury UrO RAN [Research and Industry archive of the Udmurt Institute of History, Language and Literature of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences]. Rukopisnyj fond. Opis' 2-N, Delo 1637. (In Russ).
- [8] Nauchno-otraslevoj arhiv Udmurtskogo instituta istorii, jazyka i literatury UrO RAN [Research and Industry archive of the Udmurt Institute of History, Language and Literature of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences]. Rukopisnyj fond. Opis' 2-N, Delo 1648. (In Russ).
- [9] Nikitina G.A. Udmurty za predelami Udmurtii: resursy vyzhivaniya v usloviyakh postsovetских transformatsii [Udmurts outside Udmurtia: Resources of survival under the post-Soviet transformations]. *Diaspory Uralo-Povolzh'ya*. Mezhtseleynaya nauchno-prakticheskaya konferentsia. Izhevsk, 2005. (In Russ).
- [10] Onosov A.A., Gasparishvili A.T. Etnizatsiya massovogo soznaniya russkikh v moskovskom regione: ekspertnaya otsenka protsessa [Ethnization of the mass consciousness of the Russians in the Moscow Region: An expert assessment of the process]. *RUDN Journal of Sociology*. 2016,16(3). (In Russ).
- [11] Pozdeev I.L., Arzamazov A.A. Uzbeki v Rossii: praktiki adaptatsii v inokul'turnoi srede [Uzbeks in Russia: Practices of adaptation in a foreign language environment]. *RUDN Journal of Sociology*. 2015,15(4). (In Russ).
- [12] Rybakov S.E. O metodologii issledovaniya etnicheskikh fenomenov [On the methodology of the study of ethnic phenomena]. *Etnograficheskoe obozrenie*. 2000,(5). (In Russ).
- [13] *Udmurtskii fol'klor: Poslovitsy, aforizmy i pogovorki* [Udmurt Folklore: Proverbs, Aphorisms and Sayings]. Ustinov: Udmurtiya; 1987. (In Russ).
- [14] Shklyayev G.K. *Traditsii i novatsii v mezhetnicheskom povedenii udmurtov* [Traditions and innovations in the interethnic behavior of Udmurts]. *Traditsionnoe povedenie i obshchenie udmurtov*. Izhevsk, 1992. (In Russ).



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-338-347

NEIGHBORING COUNTRIES' IMAGES: PERSISTENT STEREOTYPES OF THE RUSSIAN STUDENT YOUTH*

N.P. Narbut, I.V. Trotsuk

RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia)
Miklukho-Maklaya St., 6, Moscow, Russia, 117198
(e-mail: narbut_np@rudn.university; trotsuk_iv@rudn.university)

Abstract. The article presents the results of the comparative study of the neighboring countries' images in the perception of the Russian student youth. In the first part of the article, the authors emphasize the importance of public opinion as one of the key social institutions in the contemporary society though it is often manipulated by state and political organizations to ensure the public support of ambiguous decisions. There are two basic mechanisms to form social representations including the images of different countries in public opinion: spontaneous and purposeful (when officials and media use special techniques to create an image of either a dangerous enemy or the best geopolitical friend). Today in Russia the former seems to dominate for except the key geopolitical powers other countries seem to attract the state attention rather sporadically, which is supported by general political indifference, wide dissemination of information technologies, and freedom of travels all over the world, etc. The second part of the article focuses on the methodological consequences of thus developing images in the Russian public opinion. The authors explain the thematic structure and techniques of the questionnaire developed for the study of the images of China, Kazakhstan and Serbia in the Russian student youth' worldview, which were applied in the sociological survey of 2010–2011 in the project supported by the Russian Foundation for Humanities, and then again in 2016 for the comparative analysis. The last part of the article presents the results of these surveys in the comparative perspective and focuses on a few indicators to reconstruct the persistent stereotypic elements of the neighboring countries' images in the student youth worldview though there are some changes that are difficult to interpret.

Key words: comparative study; (generalized) images of neighboring countries; (persistent) social stereotypes; China; Kazakhstan; Serbia; student youth; public opinion

In the XX century, the public opinion repeatedly proved its decisive role in the domestic policy and was used by the state and political forces to mobilize people for protest or support actions in their interests. In the foreign policy, the role of public opinion is insignificant or only declaratively important as a 'basis' of ambiguous government decisions that allegedly meet the public expectations. Therefore, the dominant social stereotypes about neighboring countries are formed either spontaneously (for instance, as a result of mass tourism to the country that is not a geopolitical/economic/cultural partner of the state) or purposefully (when the state seeks public support of its decisions or actions in foreign policy, and strives to ensure a certain public perception of the situ-

* © N.P. Narbut, I.V. Trotsuk, 2017.

The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research. The project No. 15-03-00573 "The social well-being of the youth in post-socialist countries: Comparative analysis (on the example of Russia, Kazakhstan, China, Serbia and Czech Republic)".

ation). In the latter case, the official political and media discourses use different techniques to create an image of either a dangerous enemy (to justify war aggression or economic sanctions) or, on the contrary, of the best geopolitical friend (to justify financial or other aid to some countries at the expense of taxpayers).

It is believed that the purposeful formation of social representations is typical for democratic countries (primarily the United States) because their governments prefer legitimate actions and decisions, i.e. accepted and approved by public opinion [4]. Certainly, there is a reason though authoritarian regimes also rely on the purposeful formation of necessary social stereotypes and have many means to do it effectively. The things become more complicated regarding the images of neighboring countries for the type of mechanism used to influence the public opinion strongly depends on the interests of the state and current geopolitical situation. Thus, the state never ignores discursive-ideological work when it comes to its key international partners or its desirable image, i.e. the government prefers a purposeful influence on public opinion; while for all other countries beyond the state interests, the government allows and accepts the spontaneous formation of generalized images and social stereotypes.

Unlike the Soviet period with the absolute dominance of the purposeful mechanism, the last decades of the Russian history demonstrate pros and cons of various combinations of purposeful and spontaneous mechanisms. Except the key geopolitical powers like China and the United States, other countries attract the state attention rather sporadically, that is why the spontaneous mechanism plays a leading role in shaping the images of neighboring countries in the Russian public opinion. Its decisive role is supported by the phenomenal in scale political indifference of population, wide dissemination of information technologies that allow different organizations and individuals (for example, travel agencies and popular bloggers) to promote their own perception and 'images' in social networks, and freedom of travels all over the world that generates tons of public photos of 'exotic' and famous elements of other countries social and natural landscapes. In other words, the (geo)political picture of the world in mass consciousness usually differs from the real situation in the international arena. Today's world with its rapidly developing tourism and communication technologies increases the amount of information about other countries but deteriorates the quality of knowledge, thus, expanding the opportunities for dissemination of superficial, stereotyped, fantastic or mythologized ideas among both ordinary people and public politicians.

Another important factor of the spontaneous mechanism dominance is that public opinion in the countries with a successful (either negative or positive) geopolitical positioning (considered the main players in the global political arena even despite economic problems or military campaigns) usually focus on internal affairs except under global crises or if the news contradict the traditional picture of the world (for instance, when the ministry of foreign affairs does not recommend its population to travel to their favorite resorts). Countries with no geopolitical role and with serious economic-social problems do not have resources to play image games and focus on internal affairs. However, they can use the purposeful mechanism to benefit from the imaginary external threat factor (some dangerous malicious power), i.e. to mobilize its population or to distract public attention from failures of the government.

The above-described logic of forming the images of countries in the public opinion has predictable consequences. First, it is the mythologems that increasingly determine the public perception of the global geopolitical order as legitimate or wrong, which makes public opinion a subject of fluctuations after unexpected events, political decisions, or information campaigns that break previously as if infallible stereotyped image of the country and change it to the opposite. Secondly, we must admit that sociological studies ‘measure’ only stereotypes of the public consciousness determined by media and political manipulative technologies. Such measurements reveal a simplified core image of the country (consisting of different elements and taking into account both ‘objective’ geopolitical status of the country and its international relations in the past and present) and are necessary for assessing the current state of public opinion and its possible changes under different foreign policy scenarios.

For instance, in the early 2000s, the Public Opinion Foundation started a ‘Geo-project’ as a series of surveys about the Russians’ perception of about 40 leading powers and other countries [4]. Already in 2000—2001 these surveys proved that the Russian public opinion is monolithic and focuses on geopolitical features when considers the leading world powers (for example, China is believed to be a gigantic country with a growing role in world politics and economics), while the images of small countries with insignificant geopolitical role are very diverse (for instance, the image of Greece is a bizarre mixture of historical and mythical facts supplemented by information about tourist locations and imported food products). This is only one example proving the importance of studying the images of different countries in the Russian public opinion; there is an impressive tradition of the sociological monitoring of the geopolitical picture of the world in public opinion.

In 2010, the Sociology Chair of the RUDN University in cooperation with its Serbian, Chinese and Kazakhstan colleagues expanded the questionnaire of the comparative study of the student youth’s worldview in the capitals of four countries with a series of questions aimed to identify the images of neighboring countries in the younger generations perception (the additional block of questions was small and simple so as not to ‘overload’ the questionnaire, not to make the survey procedure too long, and to identify stereotyped images of neighboring countries in the non-sensitive way). In the questionnaire design we took into account that, first, political rhetoric and media selection and coverage of events inevitably form a certain stereotyped image of the country and of its typical representative in public opinion; secondly, once formed this image becomes a social stereotype that makes our everyday life easier and predictable in identifying unfamiliar objects.

Thus, we relied on the traditional definition of the stereotype introduced by W. Lippmann — as a means of understanding and ‘mapping’ social world to make it comprehensible and convenient for personal and collective orientation. “The world that we have to deal with politically is out of reach, out of sight, out of mind. It has to be explored, reported, and imagined. Man is no Aristotelian god contemplating all existence at one glance. He is the creature of an evolution who can just about span a sufficient portion of reality to manage his survival, and snatch what on the scale of time are but a few moments of insight and happiness. Yet this same creature has invented ways of

seeing what no naked eye could see, of hearing what no ear could hear, of weighing immense masses and infinitesimal ones, of counting and separating more items than he can individually remember. He is learning to see with his mind vast portions of the world that he could never see, touch, smell, hear, or remember. Gradually he makes for himself a trustworthy picture inside his head of the world beyond his reach” [5. P. 27]. In other words, until a person has a relevant personal experience (of participant observation) and makes efforts to gather information about the country, he lives in a (happy) captivity of stereotypes about the country and its typical representatives.

However, if this captivity ensures him peace and confidence in the future, no personal experience will ever destroy his stereotypes. Moreover, even if stereotypes were shaken, there is still a ‘spiral of silence’: “People ...live in perpetual fear of isolating themselves and carefully observe their environment to see which opinions increase and which ones decrease. If they find that their views predominate or increase, then they express themselves freely in public; if they find that their views are losing supporters, then they become fearful, conceal their convictions in public and fall silent. Because the one group express themselves with self-confidence whereas the others remain silent, the former appear to be strong in public, the latter weaker than their numbers suggest. This encourages others to express themselves or to fall silent, and a spiral process comes into play” [10. P. 218—219].

In 2010—2011 we received interesting results [9; 12], and in 2016 we conducted another survey aimed at comparative analysis of two sets of data to prove the persistent stereotyped images of neighboring countries in the student youth worldview (we used similar samples of 1000 Moscow students from different universities representing only the educational profiles — social sciences and humanities, technical sciences, natural sciences). Certainly, we admit the limitations of such a comparison determined by the problems of comparative analysis. On the one hand, “the importance and utility of comparative research are as old as the discipline itself...; it is sociology itself, in so far as it ceases to be purely descriptive and aspires to account for facts”. On the other hand, “although comparative research flourishes within the discipline, persistent methodological problems remain” [7. P. 619]: ambiguous ‘status’ of the comparative research; unclear dividing line between ‘comparative studies’ and ‘cross-cultural research’; implicit character of comparison as a necessary attribute of sociological work not always mentioned in the title of projects; researchers’ implicit tendency to treat their culture as the norm and all others as variations, i.e. to use seemingly objective figures to support ethnocentric argumentation [11. P. 7]; ‘seeking and examining non-existing phenomena’ due to the imposed theoretical framework and techniques that are not relevant for other cultural values [1. P.171], etc. However, without comparative analysis one cannot claim the persistent character of stereotypes under study. Moreover, there is a long tradition of comparative studies in sociology, which proves that opinion polls are applicable for testing preformulated hypotheses [3] (such as the persistent character of the stereotyped images of neighboring countries) and ‘harmless’ for they are ‘ascertaining rather than evaluative’ [11. P.10] especially in different time points.

There is a general belief that the more standardized technique we use, the more valid and reliable data we get. Certainly, there is nothing wrong with standardization

per se, but “standardized instruments or indices are available for only a small number of variables” [2. P. 5] not including the stereotyped images of neighboring countries. First, we added a small thematic block on the perception of China to the questionnaire on student value orientations, because the image of this country is definitely more unambiguous in the Russian public opinion, compared to Kazakhstan and Serbia, due to its ‘rootedness’ in the Russian history, state discourse, political agenda and media rhetoric. It is obvious that the image of Serbia is less clear due to its small territory (and, therefore, insignificant geopolitical role), rare Serbian agenda in the Russian media, and lack of scientific and journalistic interest in Eastern and Central Europe in general not to mention the image of these countries in the Russian society. On the contrary, the images of China and the Chinese in Russia are a constant topic of research [8] though most works consider the regional dimension of China’s image as primarily important for Eastern Siberia and the Far East bordering the country [6].

The questionnaire on the image of China (and Kazakhstan) consisted of the following questions: a series of closed questions on the sources of information about China; an open question about three Chinese famous public figures; a request to choose 5 most relevant descriptions of the Chinese from the given 21 characteristics; a request to select from the list of countries three most positively evaluated; closed questions to assess the respondent’s desire to travel to China and his perception of the Russian-Chinese relations; a series of statements about China to express one’s consent or disagreement with; a closed question about the desire to learn Chinese. The questionnaire on the image of Serbia was modified in the following way (other questions remained unchanged): the series on the sources of information was shortened for Serbia is much less present in the Russian media; a question on associations with ‘Serbia’ and a request to assess one’s awareness of Serbia were added. Compared to the questionnaire on China there were also changes in the list of countries to select the most positively perceived from: China was in the list in all surveys, while Kazakhstan and Serbia were added only in their ‘own’ questionnaires. Another change was in the survey procedure: in 2001, we used three questionnaires; in 2016, we combined them, which, we hope, did not affect the results.

Further, we compare the results of two surveys focusing on basic indicators for identifying the persistent elements of the countries’ images. Thus, the generalized image of China in the perception of the student youth is determined by mass media in both 2010 and 2016: primarily the respondents learn information about China in different media (84% and 88% respectively), watch Chinese movies (74% and 69%) and search for information in the Internet (57% and 80%). The growth of importance of the Internet hardly indicates the increase of interest in China, rather the increasingly significant role of the Internet itself. However, the number of students that visited China also increased — from 15% to 26%, while the share of respondents wishing to travel to China stayed the same — 40% and 37%.

In 2010, the most famous Chinese public figures named by the Moscow students were Mao Zedong (71%), Confucius (33%), Hu Jintao and Jackie Chan (15% each). In 2016, the situation changed in numbers and the list of public figures. We identified

two groups consisting of both political leaders and media persons: (1) Mao Zedong and Jackie Chan (about 30% each); (2) Confucius, Xi Jinping and Bruce Lee (in average 14% each), which proves a kind a diversification of students' awareness of China that is no longer limited to the historical past. However, the stereotyped image of the typical Chinese has not changed much: a hard-working, disciplined patriot (these indicators grew), collectivist, familial, easily trained (this indicator also grew), honoring science and well-behaved (unambiguous and positive image) (Table 1).

Table 1

In your opinion, which of the following characteristics correspond to the mentality and behavior of the Chinese?

Characteristics (only the most frequent)	2010	2016
Hard-working	64%	70%
Collectivist	56%	54%
Patriot	50%	64%
Disciplined	50%	68%
Familial	41%	45%
Easily trained	25%	43%
Honoring science	22%	26%
Well-behaved	19%	21%

The generalized image of China is also positive. The students believe that its global role increases (54% in 2010 and 78% in 2016, which is definitely the result of the objective situation and the students' better awareness of it) due to the rapid economic growth surpassing the Russian rates (58% in 2010 and 64% in 2016, which also reflects the objective situation) and successful reforms (48% and 54% respectively); every fourth respondent in 2010 and every third in 2016 supposes that Russia should learn from China. However, there is still some ambiguity in the student youth perception of China: 20% (28% in 2010) believe that the rapid development of China threatens the Russian national security, while 75% (a tremendous growth compared to 44% in 2010, which can be interpreted as a significant improvement of the image of China) believe that the Russian-Chinese union will play an important role in the global geopolitical structure.

The generalized image of Kazakhstan is also determined primarily by mass media (54% in 2011, 63% in 2016), and there is a tremendous increase in the number of respondents searching for information on Kazakhstan in the Internet — every third in 2011 and about 70% in 2016, which can be explained by the desire to become more aware of the globalizing world especially of the key partner of Russia among the former USSR states. Media is still as important source of information about Kazakhstan as one's Kazakh friends, and the latter indicator even grew (from 52% in 2011 to 61% in 2016). There is still a striking awareness of Kazakhstan cultural 'artifacts' — films and songs: about a third in 2011 and 40% in 2016 claim to have learned about the country from its movies and songs. However, the majority of respondents have never been to Kazakhstan (about 90% in both surveys).

In 2011, an absolute leader among the Kazakhstan public figures named by the students was the President Nursultan Nazarbayev (80%), while other well-known public

figures were named by only 5—7%. Among them not only Abai (Kunanbaev) (7%) — a poet, philosopher, founder of the Kazakh written literature, but also Chingiz Aitmatov (5%) — a Kyrgyz writer, which proves the unclear students' identification of the nation/country of key public figures of the Soviet and earlier periods. In 2016, Chingiz Aitmatov was named only by 1 respondent, while the President Nursultan Nazarbayev still heads the list (though only with 33%) followed by Abai (12%) and Roza Rynbaeva (5%) — a Soviet and Kazakh popular singer.

The stereotyped image of the typical Kazakh has not changed over the last five years: he is considered a familial and hard-working patriot; every third respondent believes he is a disciplined and peaceful collectivist, every fourth — that he is freedom-loving and honest, every fifth — that he is a well-behaved and easily trained romantic optimist. Thus, the image of the typical Kazakh is 'blurred' due to the excessive number of elements but definitely positive like the image of the country. Kazakhstan (and Belorussia) headed the list of the most positively perceived countries (by every second respondent) though we must remember that it was included in the list only in the survey on Kazakhstan; more than 80% (we are talking about two time moments) believe in the positive impact of relations with Kazakhstan on Russia. Although many respondents admit that they know little about Kazakhstan (60% in 2011 and 47% in 2016, i.e. students awareness increased, at least in self-estimates), about 40% believe that the Russian-Kazakhstan union will play an important role in the global geopolitical structure, obviously thanks to Russia for only 17% admit the increasing role of Kazakhstan in the world, only 20% — that it chose the successful path of reforms, and only 10% — that it develops rapidly and will quickly catch up with Russia. However, at the same time more than 60% disagree that Kazakhstan is a poor backward country and that it threatens the national security of Russia, i.e. the image of Kazakhstan is definitely positive though slightly ambiguous.

Predictably, the stereotyped image of Serbia is also determined mainly by media (80% in 2011 and 70% in 2016; the youth increasingly prefers the Internet — 54% and 64% respectively). As with China, the number of respondents that visited Serbia increased significantly — from 11% in 2011 to 26% in 2016, which is probably due to similar languages, low costs and visa-free regime of travels to Serbia. The students estimate their level of awareness of Serbia as extremely low, which apparently corresponds to the real state of affairs, though the situation improved: in 2011, every third respondent did not know what kind of country Serbia is and where it is located (16% in 2016), 58% had only the most general idea about Serbia (68% in 2016), i.e. the students admit that their answers to the questions about Serbia represent the persistent stereotypes of the Russian public opinion about this country.

The low awareness of Serbia determines the key associations with this country though there are some changes compared to the previous survey. In 2011, the respondents considered Serbia primarily from the geographical perspective — as a state in the Balkans; the second most frequent associations were 'geopolitical', reflecting official and media narratives — a country constantly involved in ethnic-political conflicts with

former Yugoslav states, and a people close to the Russians by the common Slavic origin and Orthodox faith; the last group of associations (mentioned by almost every fifth respondent) included ‘geopolitical’ (most friendly to Russia in Europe, a very patriotic people) and tourist (a good place for vacations, beautiful nature) clichés. In 2016, the ‘rating’ of associations slightly changed: primarily it is considered a country with the people close to the Russians by the common Slavic origin and Orthodox fate; second dominant association is geographical (a country in the Balkans); the third group of associations (about every third respondent) consists of ‘geopolitical’ (complicated ethnic-political relations with former Yugoslav states, friendly to Russia) and geographical (beautiful nature) clichés; and about every fifth respondent mentions its constant political conflicts, a very patriotic people and tourist attractiveness (Table 2).

Table 2

Students’ associations with Serbia

Associations	2011	2016
A country in the Balkans	47%	44,3%
A country with complicated ethnic-political relations with former Yugoslav states	33,7%	37,5%
A people close to the Russians by the common Slavic origin and Orthodox faith	33,1%	53,4%
A country constantly involved in political conflicts	31,1%	23,9%
A country with beautiful nature	21,8%	32,4%
The most friendly to Russia European country	18,7%	39,2%
A nice tourist place	17,7%	20,5%
A country with famous cultural traditions	15,2%	18,8%
A very patriotic people	15%	22,2%
A country with original cuisine	12,5%	13,1%
Other	7%	1,7%

Such political and ‘recreational’ accents in the perception of Serbia manifested also in the list of the famous Serbian public figures named by the Moscow students. In 2011, the leaders of the list were Slobodan Milošević — a Yugoslav and Serbian politician (8%), Boris Tadić — a politician and a President of Serbia from 2004 to 2012 (5%), Emir Kusturica — a filmmaker, actor and musician (4%), and Vojislav Koštunica (3%) — a politician. In 2016, this list changed but stayed mainly political: Emir Kusturica and Vasa Staić — a Yugoslav philosopher and public figure of the past (8% each); the second group (5—6% each) consists of Petar Kočić (a Bosnian Serb writer and politician) and Slobodan Milošević; the third group (3—4% each) — of Nikola Tesla (a Serbian-American inventor and electrical engineer), Aleksandar Vučić (a politician, now the President of Serbia), Tomislav Nikolić (a politician, a former President of Serbia), and Zoran Tošić and Dušan Tadić (football players).

The stereotyped image of the typical Serb has not changed much: first, a patriot (more than 50% in both surveys), then a freedom-loving familial man (every third respondent), honest and hard-working, peaceful, well-behaved and disciplined realist (more than 20% each). There are some changes in this image in 2016 compared to 2010: less respondents mentioned that a typical Serb is collectivist (9% instead of 28%); at the

same time more respondents describe him as warlike (33% against 22%) and faithful (25% against 18%), wild (16% against 10%) and optimistic (19% against 13%). Thus, the image is contradictory, which probably resembles both the low personal awareness of Serbia and its various estimates in the Russian official and media discourse. Nevertheless, the generalized image of Serbia is definitely positive for the student youth evaluate the relations of our countries as friendly (42% in 2011 and 62% in 2016), and the share of respondents that found it difficult to estimate Russian-Serbian relations declined (from 46% to 22%); the majority of students (about 75%) believe that the relations with Serbia are beneficial for Russia.

The results of the sociological evaluation of the images of neighboring countries in the comparative time perspective are very difficult to interpret for we cannot be certain about the contextual determinants of the changes except for the influence of the official rhetoric, media discourse and objective reality. We are pretty sure that these are the key factors, which is obvious, but we cannot reconstruct reliable direct relationships between them and indicators' variations. Certainly, we admit that our data are too sketchy, simplified and schematic, but any other comparative perspective or survey questionnaire for assessing the generalized images of neighboring countries would be even more criticized.

REFERENCES

- [1] Allardt E. Challenges for comparative social research. *Acta Sociologica*. 1990;33(183).
- [2] Hoffmeyer-Zlotnik J.H.P. Harmonisation of demographic and socio-economic variables in cross-national survey research. *Bulletin de Méthodologie Sociologique*. 2008;98 (5).
- [3] Khizrieva A.G., de Munck V.C., Bondarenko D.M. The Moscow School of quantitative cross-cultural research. *Cross-Cultural Research*. 2003;37(5).
- [4] Kolosov V. 'Nizkaja' i 'vysokaja' geopolitika ['Low' and 'high' geopolitics]. <http://bd.fom.ru/report/map/oz02061904> (In Russ.).
- [5] Lippmann W. *Obshhestvennoe mnenie* [Public Opinion]. Per. s angl. T.V. Barchunovoj. Moscow; 2004 (In Russ.).
- [6] Lukin A.V. *Medved' nabljudat za drakonom. Obraz Kitaja v Rossii v XVII—XXI vekah* [The Bear Watches the Dragon. The Image of China in Russia in XVII—XXI Centuries]. Moscow; 2007 (In Russ.).
- [7] Mills M., van de Bunt G.G., de Bruijn J. Comparative research: Persistent problems and promising solutions. *International Sociology*. 2006;21.
- [8] Mjasnikov V.S. Ob obraze Kitaja v Rossii [The image of China in Russia]. <http://magazeta.com/columns/glevfedorov/2007/06/10/myasnikov> (In Russ.).
- [9] Narbut N.P., Trotsuk I.V. Obrazy stran-sosedej v vosprijatii studencheskoj molodezhi (po rezul'tatam sociologicheskikh issledovanij) [Images of neighboring countries in the perception of students (results of sociological studies)]. *RUDN Journal of Sociology*. 2011;4 (In Russ.).
- [10] Noelle-Nuemann E. *Obshhestvennoe mnenie. Otkrytie spirali molchanija* [The Spiral of Silence: Public Opinion]. Moscow; 1996 (In Russ.).
- [11] Scheuch E.K. Society as context in cross-cultural comparisons. *Social Science Information*. 1967;6(7).
- [12] Trotsuk I.V. Obraz Serbii v rossijskom obshhestve: rezul'taty oprosa moskovskogo studenchestva [The image of Serbia in Russian society: Results of the Moscow students survey]. *RUDN Journal of Sociology*. 2012;3 (In Russ.).

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-338-347

ОБРАЗЫ СТРАН-СОСЕДЕЙ В ВОСПРИЯТИИ РОССИЙСКОЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ: ЭЛЕМЕНТЫ УСТОЙЧИВОЙ СТЕРЕОТИПИЗАЦИИ*

Нарбут Н.П., Троцук И.В.

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Макляя, 6, 117198, Москва, Россия
(e-mail: narbut_np@rudn.university; trotsuk_iv@rudn.university)

В статье представлены результаты сравнительного анализа образов стран-соседей в восприятии российской студенческой молодежи. В первой части статьи авторы подчеркивают важность общественного мнения как одного из ключевых социальных институтов современного общества, хотя его значение нередко определяется возможностями манипулирования им государственными и политическими структурами в целях обеспечения общественной поддержки неоднозначных решений и непопулярных мер. Фактически сегодня сосуществуют два механизма формирования социальных представлений, включая образы других стран: спонтанный и целенаправленный (когда официальные лица и средства массовой информации используют различные приемы конструирования образа страны как опасного врага или, наоборот, лучшего друга). В России часто доминирует первый механизм, если речь не идет об основных геополитических игроках, поскольку остальные страны редко привлекают внимание государства; не менее важны общая аполитичность населения, широкое распространение информационных технологий и свобода путешествий. Во второй части статьи обозначены методологические последствия сосуществования двух механизмов формирования образов стран в общественном мнении, которые определили тематическую структуру и особенности инструментария анкетирования российских студентов для определения обобщенных образов Китая, Казахстана и Сербии в молодежной картине мира. Впервые опрос был проведен в 2010—2011 годах на выборке московского студенчества в рамках проекта, поддержанного РГНФ; в 2016 году было проведено повторное анкетирование с аналогичным инструментарием. Заключительная часть статьи суммирует результаты сопоставления образов стран-соседей в восприятии студенческой молодежи по ряду базовых показателей, позволяющих реконструировать устойчивые стереотипные элементы этих образов, хотя выявленные различия крайне сложно интерпретировать.

Ключевые слова: сравнительный анализ; (обобщенные) образы стран-соседей; (устойчивые) социальные стереотипы; Китай; Казахстан; Сербия; студенческая молодежь; общественное мнение

* © Нарбут Н.П., Троцук И.В., 2017.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ. Проект № 15-03-00573 «Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран: сравнительный анализ (на примере России, Казахстана, Китая, Сербии и Чехии)».



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-348-363

СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ РОССИЙСКОЙ МОЛОДЕЖИ: МАСШТАБЫ И ФАКТОРЫ СДЕРЖИВАНИЯ*

К.Г. Сохадзе

Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, 117198, Москва, Россия
(e-mail: keti.sokhadze@gmail.com)

В последние годы экспертные и обыденные оценки вовлеченности российской молодежи в общественную деятельность мало расходятся: постсоветские поколения называют аполитичными, индифферентными, безразличными к чему бы то ни было, кроме личного благополучия и интересов. В то же время изучением разных аспектов социальной и гражданской активности, политического участия и протестного потенциала не только молодежи, но российского общества в целом занимаются крупнейшие исследовательские центры (Фонд «Общественное мнение», Всероссийский центр изучения общественного мнения, Левада-Центр, Институт социологии Российской академии наук), и в статье представлены их опросные данные за несколько последних лет, позволяющие диагностировать весьма низкий уровень политической вовлеченности и социальной активности российского населения. Полагая, что этот показатель может оказаться существенно выше для молодых поколений, особенно студенчества, автор предпринимает два последовательных шага. Во-первых, прорабатывает категорию «социальная активность», уточняя ее содержательное наполнение, в том числе движущие мотивы (в первую очередь, социально значимые потребности), субъектное «измерение» (личные потребности и интересы), типы целей (прагматичные и альтруистичные, коллективные и личностные и т.д.), формы осуществления (личностная, групповая и др.) и внешние и внутренние факторы. Во-вторых, чтобы оценить мотивы и сдерживающие факторы вовлечения молодежи в общественную деятельность и обоснованность оценок молодых поколений как индифферентных, в статье представлены результаты ряда опросов, проведенных на выборке студентов Российского университета дружбы народов, которые подкреплены данными опросов общественного мнения. Автор уточняет причины незаинтересованности молодежи в общественной деятельности (отсутствие материальной выгоды; отсутствие интереса/желания/времени/мотивации; плохая информированность; негативный образ общественных объединений), мотивы социальной активности (социальные, селективные, компетентностные, мобилизационные) и вступления в общественные объединения (самореализация; желание изменить мир; сочетание того и другого; совпадение личных интересов с деятельностью организации), а также факторы, определяющие отношение молодежи к общественной деятельности в целом (оценки ситуации в обществе, ценностные ориентации и социальное самочувствие).

Ключевые слова: молодежь; социальная активность; доверие; аполитичность; ценностные ориентации; социологические опросы

В последние годы в российском обществе, судя по тематике социологических исследований и выступлениям официальных представителей партийных структур и государственного аппарата, возрос интерес к мотивации и проявлениям соци-

* © Сохадзе К.Г., 2017.

Исследование выполнено при поддержке РФФИ. Проект №15-03-00573 «Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран: сравнительный анализ (на примере России, Казахстана, Китая, Сербии и Чехии)».

альной активности, особенностям гражданской идентичности, восприятию политических институтов и протестному потенциалу общества в целом и молодежи в частности. Причем экспертные оценки, основанные на данных социологических опросов, здесь весьма различаются. Так, Наталья Зоркая, представитель «Левада-центра», полагает, что «молодежь сегодня — наиболее приспособившаяся группа населения, циничная и нацеленная в первую очередь на себя» [13]. Схожей позиции придерживается Анна Сорокина, представитель Лаборатории политических исследований Высшей школы экономики: «Современная российская молодежь, действительно, аполитична и прагматична — ее все устраивает» [13]. Лев Гудков, директор «Левада-центра», объясняет это тем, что «молодежь воспринимает сегодняшнее состояние российской жизни как вполне благополучное, ей кажется, что у нее есть то, чего она хочет, — возможности потреблять, развлекаться, сидеть в чатах. Сегодняшняя молодежь отличается в целом невысокими запросами, в основном прагматическими, — хочет большую зарплату, быструю карьеру, ориентирована на определенный уровень потребления» [23]. Способствует подобной аполитичности молодежи и то, что «в России гражданская культура является недостаточно зрелой, ...уровень гражданского самосознания является низким, причем это относится ко всем слоям российского общества» [19. С. 92]. Результаты социологических исследований показывают, что молодежь, как правило, не готова жертвовать личным благополучием ради важных общезначимых целей, а в целом россияне готовы действовать в интересах страны только в случае, если это не повредит их собственным интересам [15. С. 13].

Как правило, приведенные выше оценки базируются на различных «замерах» гражданской активности и патриотического настроения российского населения, а в используемых в рамках исследований вопросах не всегда проводится четкое разграничение государства и страны/общества, что действительно приводит к достаточно низким (декларируемым) показателям гражданской ответственности россиян применительно к широкому социальному кругу — на уровне своего города или страны. Так, Фонд «Общественное мнение» регулярно рассчитывает индекс гражданской ответственности, используя метод опроса (интервью) по месту жительства, и результаты исследований подтверждают, что россияне в разной мере чувствуют ответственность за то, что происходит на той или иной социальной дистанции. «Индекс рассчитывается по ответам респондентов на вопросы о готовности брать на себя ответственность за происходящее на ближней, средней и на дальней социальной дистанции: „Вы чувствуете или не чувствуете ответственность за то, что происходит в доме, во дворе, где Вы живете?“; „Вы чувствуете или не чувствуете ответственность за то, что происходит в нашем городе?“; „Вы чувствуете или не чувствуете ответственность за то, что происходит в нашей стране?“. Утвердительному ответу на каждый из трех вопросов присваивается 1 балл, а отрицательному ответу — 0 баллов. Набранная респондентом сумма баллов нормируется... и значение индекса для каждого респондента вычисляется как средний балл по трем вопросам... от 0 до 100. Значение индекса в той или иной социальной группе вычисляется как среднее значение по респондентам, входящим в эту группу. Среднее значение индекса по стране в 2014 г. ... составило 56 баллов» [3].

Около половины россиян готовы нести ответственность за происходящее в родном городе, селе, и 41% — за происходящее в стране.

Всероссийский центр изучения общественного мнения измеряет индекс моральной ответственности на основе вопроса «По Вашему мнению, несет ли человек моральную ответственность...» [14]: ответу «безусловно, несет» присваивается коэффициент «2», «в какой-то мере несет» — коэффициент «1», «затрудняюсь ответить» — «-1» и «безусловно, не несет» — «-2»; соответственно, индекс может принимать значение от -200 до 200 пунктов. Так, в 2014 г. индекс ответственности за происходящее в государстве составил 4 пункта (в 1989 г. он составлял 20 пунктов), индекс ответственности за действия людей своей национальности -15 пунктов (в 1989 г. -6 пунктов), а индекс ответственности за поступки родных — 55 пунктов.

По данным ежегодных опросов «Левада-Центра», большинство россиян (73%) считают невозможным повлиять на то, что происходит в стране, — отсюда и низкий уровень ответственности за происходящее в ней (64%) (табл. 1, 2) [11. С. 42].

Таблица 1

В какой мере вы чувствуете ответственность за то, что происходит в стране? (в %)

Варианты ответов	2006 октябрь	2009 июнь	2014 март	2015 ноябрь	2016 апрель
В полной мере	2	2	2	3	3
В значительной мере	7	5	13	10	8
В незначительной мере	23	22	36	28	22
Совершенно не чувствую	59	62	41	55	64
Затруднились ответить	8	9	7	4	4
Число опрошенных	3000	950	1600	1600	1600

Таблица 2

Как Вы считаете, в какой мере вы можете повлиять на то, что происходит в стране? (в %)

Варианты ответов	2006 октябрь	2008 июнь	2009 июнь	2016 июнь
В полной мере	1	1	1	2
В значительной мере	3	3	1	3
В незначительной мере	15	16	10	17
Совершенно нет	75	75	81	73
Затруднились ответить	7	5	7	4
Число опрошенных	3000	1600	900	1600

Что касается отношения россиян к политике, то за прошедшие три года стабильной остается и доля тех, кто совсем не интересуется политикой (каждый пятый), и тех, кто «скорее, интересуется» и «очень интересуется» (около 40%) (табл. 3) [11. С. 44]. При этом выросла доля тех, кто определенно не готов более активно участвовать в политике — с 36% до 46%, но не снизилась совокупная доля тех, кто в какой-то мере и определенно готов к этому — 19% и 18% соответственно (табл. 4).

Таблица 3

Насколько вы в целом интересуетесь политикой (в %)

Варианты ответов	Год, месяц													
	2003 XI	2004 X	2005 X	2006 III	2006 VI	2006 X	2007 X	2010 X	2011 X	2012 X	2013 XI	2014 XI	2015 X	2016 II
Очень интересуюсь	6	7	6	5	7	6	7	3	3	5	1	5	7	3
Скорее, интересуюсь	28	37	32	34	30	31	37	29	31	27	28	34	30	38
Скорее, не интересуюсь	44	34	36	40	39	41	36	38	42	42	41	38	38	36
Совсем не интересуюсь	19	20	24	19	24	21	18	26	22	23	26	21	22	22
Затруднились ответить	2	2	2	2	2	1	2	4	1	2	2	1	2	2
<i>Число опрошенных</i>	<i>1600</i>	<i>1600</i>	<i>1600</i>	<i>1600</i>	<i>1600</i>	<i>1600</i>	<i>1600</i>	<i>1600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1600</i>

Таблица 4

Готовы ли вы лично более активно участвовать в политике? (в %)

Варианты ответов	2006 февраль	2010 февраль	2012 февраль	2013 март	2014 март	2015 март	2016 август
Определенно да	5	5	3	3	2	5	3
В какой-то мере да	14	14	14	13	17	18	15
Скорее нет	30	31	38	35	39	33	34
Определенно нет	47	46	39	45	36	38	46
Затруднились ответить	4	4	6	5	6	7	2
<i>Число опрошенных</i>	<i>1600</i>	<i>1600</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>800</i>	<i>1600</i>

Наибольшую политическую ответственность и активность (если в принципе можно так выразиться) россияне проявляют, участвуя в выборах и обсуждая политические события в стране с друзьями, хотя второй показатель серьезно снизился за прошедшие двадцать лет (с 45% до 15%), тогда как колебания первого показателя не вполне объяснимы (2015 и 2016 годы), но в целом позволяют утверждать, что практически каждый третий опрошенный россиянин принимает участие в выборах (в 2016 году — 35%). За прошедшие двадцать лет возросла доля россиян, которые не принимают участие ни в каких форматах деятельности, в той или иной мере связанных с политикой (с 34% до 49%) (табл. 5) [11. С. 46].

Таблица 5

Что из перечисленного вы делали за последний год? (в %)

Варианты ответов	1995 июль	2014 сентябрь	2015 сентябрь	2016 сентябрь
Участвовал в выборах	29	30	22	35
Обсуждал с друзьями политические события в стране	45	32	29	15
Был на встрече с политическим деятелем, кандидатом	8	5	6	4
Подписывал петицию, обращение	6	5	3	3
Был на приеме в органе власти	4	2	3	3
Участвовал в демонстрации или митинге	5	2	2	4
Посылал письмо в редакцию, на радио или телевидение, в какой либо орган власти	2	3	2	3
Участвовал в забастовке	2	2	2	1
Вносил деньги в поддержку политической партии, движения, кандидата	1	2	1	1
Выступал на собрании, митинге	2	1	1	<1
Участвовал в деятельности политической партии	1	3	1	1
Участвовал в действиях протеста, неповиновения властям	1	1	<1	1
Не делал ничего подобного	34	46	50	49
Затруднились ответить	7	3	5	3
<i>Число опрошенных</i>	<i>3000</i>	<i>800</i>	<i>1600</i>	<i>1600</i>

Казалось бы, если в основном россияне столь аполитичны и не хотят принимать участие ни в каких видах политической активности, то, возможно, совершенно иначе будет выглядеть ситуация с социальной активностью, связанной с разными форматами взаимной поддержки различных сообществ. Однако это предположение оказалось неверным, согласно данным общероссийских опросов. Так, по результатам исследований «Левада-Центра», добровольчеству, волонтерству, работе в общественных организациях и социальных инициативах более-менее регулярно отдают свое свободное время лишь около 2% россиян [2. С. 29]. Наиболее распространенными среди россиян оказались такие виды «общественной активности», как подаяние милостыни (31%), участие в субботниках, обустройстве территории, подъезда, двора, детской площадки (22%), пожертвование одежды, вещей, игрушек малоимущим, бездомным, детским учреждениям, пострадавшим от стихийных бедствий (17%) и участие в собрании товарищества собственников жилья, дачного кооператива, родительского комитета (13%). Значительная часть россиян не участвовала ни в каких формах общественной активности (41%) [2. С. 30].

Чтобы оценить, насколько приведенные выше низкие показатели социальной активности россиян верны и для молодых поколений, обратимся к данным других социологических исследований, в том числе, проведенных на базе Социологической лаборатории Российского университета дружбы народов в 2015—2016 гг. Однако прежде необходимо уточнить, каково содержательное наполнение самого данного понятия — «социальная (иногда общественная) активность» [см. также: 20].

Итак, под социальной активностью человека обычно понимается «степень проявления его сил, возможностей и способностей как члена коллектива, члена общества» [4]; «объективно детерминированное субъективное отношение и социально-психологическая готовность личности к деятельности, которая... представляет собой целенаправленную творческую социальную деятельность, преобразующую объективную действительность и саму личность» [22. С. 142]. Соответственно, социальная активность — это сознательная и целенаправленная деятельность, мотивированная «социально-психологической, ценностной, профессиональной установкой субъекта» [12. С. 48]. В российской исследовательской традиции социальная активность выступает как «интегральное понятие, проявляющееся как побудитель к деятельности и как устойчивое свойство личности» [6. С. 31].

Движущими факторами социальной активности выступают те потребности, удовлетворение которых имеет социальное значение и затрагивает общественные интересы и общезначимые задачи [16. С. 2]. В то же время реализация социальной активности требует, чтобы лежащий в ее основе интерес превратился в фактор действия, т.е. чтобы противоречие между условиями существования и потребностями личности было преодолено в соответствии с мотивами и устремлениями индивида [5. С. 54]. Так, донор крови, спонсор постройки детского хосписа или волонтер, собирающий средства для нуждающихся, в первую очередь, удовлетворяет личную потребность сделать доброе дело и помочь окружающим, но подобный сознательный и целенаправленный процесс самореализации (альтруисти-

чески мотивированные проявления заботы о других людях) позволяет обществу сформировать и укрепить определенные жизненные ценности и реализовать те социальные потребности, которые являются основой, например, волонтерской деятельности.

Социальная активность может выступать и как средство достижения других индивидуально и общественно значимых целей. Скажем, участвуя в мирных протестах против участия страны в военном конфликте далеко за ее пределами, в сборе подписей жильцов дома за или против установки придомового шлагбаума и т.д., молодежь получает знания и навыки организаторской работы и развивают свои лидерские способности, т.е. проходит социальное обучение, которое поможет ей в будущей профессиональной или общественной деятельности. Причем социальная активность может быть весьма рационально просчитанным способом достижения личных целей: молодые люди, включаясь в социально-значимую деятельность, могут быть движимы прагматическими задачами (выстраивания карьеры, должностного роста, участия в образовательных программах и грантах, получения рекомендаций для трудоустройства или политической деятельности в молодежных партийных структурах и т.д.) [17].

Соответственно, различаясь по целям, социальная активность может осуществляться в разных формах — личностная, групповая/коллективная, направленная на реализацию интересов определенных социальных общностей, личностно-институциональная (в рамках формальных объединений). Столь же вариативными могут быть и конкретные действия в рамках социальной активности: реальная деятельность, потенциальная активность (человек осознает необходимость и ценность участия в некотором социальном взаимодействии, но по тем или иным причинам предпочитает оставаться лишь его наблюдателем), псевдоактивность (внешне происходящее напоминает социальный активизм, но его участники либо не осознают его необходимость и ценность, либо просто имитируют таковые) и социальная пассивность (минимальное включение в социальное взаимодействие, его ценность и значимость не осознаются или не признаются) [21. С. 24].

Исходя из целей и формата социальной активности, различаются и типы ее участников. Согласно данным Фонда «Общественное мнение», россиян по степени вовлеченности в добровольческую активность можно разделить на три группы: волонтеров отличает интенсивное участие в добровольчестве и активная гражданская позиция (в течение последнего года они хотя бы раз участвовали в деятельности некоммерческих организаций, работали волонтерами, участвовали в массовых акциях, демонстрациях, забастовках, митингах, шествиях или в работе профессиональных сообществ, профсоюзов); активисты более спонтанно и нерегулярно, по сравнению с волонтерами, участвуют в социальных инициативах, причем их гражданское участие локализовано на ближней социальной дистанции (в течение последнего года им приходилось заниматься общественными проблемами по месту жительства и помогать незнакомым людям); «обыватели», судя по говорящему названию данной категории, наименее социально активны, вернее, они готовы помогать и объединяться только ради своего ближайшего окружения (друзья, кол-

леги, соседи, хорошие знакомые и пр.). К данным трем группам относятся те, кто хотя бы минимально задействован в добровольчестве, тогда как остальные респонденты были разделены на две группы: те, кто каждый день пользуется Интернетом, т.е. «web-обыватели», и «аутсайдеры» — не включены ни в какие форматы социального взаимодействия [1].

Таким образом, в целом уровень социальной активности (и политического участия) в российском обществе невысок, однако, возможно, картина будет несколько иной, если выделить в ней и рассмотреть отдельно ту социально-демографическую группу, которая, судя по целому ряду экспертных оценок, обладает наибольшим потенциалом для социальной активности, — студенческую молодежь. Так, согласно результатам нескольких опросов, проведенных в 2015/2016 учебном году среди студентов Российского университета дружбы народов (была использована квотная выборка, отражающая структуру генеральной совокупности по критериям факультета и курса обучения), больше половины респондентов не участвовали в каком-либо виде общественной активности за последний год (56%), однако достаточно высока (по сравнению с представленными выше общероссийскими показателями) оказалась и доля тех, кто участвует в таковой регулярно, несколько раз в год и чаще — 39%. Иными словами, наиболее заполненными оказались две градации социальной активности — ее полное отсутствие и регулярное в ней участие, тогда как эпизодически вовлеченных в нее всего лишь 5% (рис. 1).

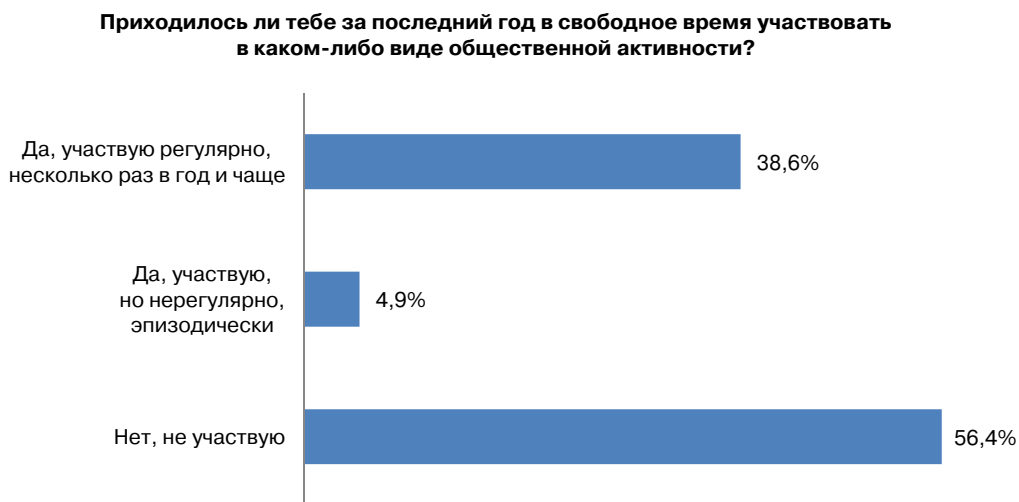


Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли тебе за последний год участвовать в каком-либо виде общественной активности?»

Относительно невысокую степень вовлеченности молодежи в социальную активность подтверждают и данные Фонда «Общественное мнение» за 2017 г. [18]: 65% молодых россиян никогда не участвовали в работе волонтерских организаций и не занимались благотворительностью; 74% никогда не участвовали в массовых мероприятиях или флешмобах; 65% не подписывали петиции или коллективные

письма. Лишь 16% молодых респондентов когда-либо участвовали в митингах, демонстрациях или акциях протеста, а 62% даже не допускают для себя подобной возможности, потому что такие мероприятия связаны с проблемами, которые не волнуют их и их близких. Принимая во внимание результаты опроса в РУДН (хотя, безусловно, речь ни в коем случае не может идти о сопоставлении данных), следует, видимо, признать, что студенчество и университетская среда в целом повышают заинтересованность и реальное участие молодежи в разных форматах общественной активности.

Опираясь на результаты общероссийских и наших собственных опросов в РУДН (в том числе методом полуструктурированных интервью с участниками различных молодежных объединений и общественных движений), обозначим основные причины неучастия (незаинтересованности) молодежи в общественной деятельности:

— отсутствие материальной выгоды («невысокая заинтересованность связана с установкой на „зарабатывание денег“»; «сначала нужно помочь себе, себя прокормить, для себя заработать, а потом уже помогать другим; с этим в нашей стране проблема, молодежь (и не только) вынуждена полжизни работать на квартиру или оплачивать дорогостоящее обучение, очень много барьеров, а если сам неблагополучный, то тебе не до общественной деятельности»);

— о отсутствие интереса/желания/времени/мотивации («наличие альтернативных интересов»; «не интересно»; «ноль стимула и мотивации»);

— недостаточная информированность («со стороны процесс вхождения видится очень сложным что не побуждает попробовать»; «молодежь недостаточно информирована о всех прелестях участия в общественных объединениях и видит только минусы»; «очень слабая информационная составляющая в продвижении некоммерческих молодежных организаций»);

— негативный образ общественных объединений («престиж работы в общественных организациях невысок»; «из-за негативного восприятия политических движений и организаций»; «неверное представление о деятельности общественных организаций»).

Среди студентов РУДН эти причины в несколько дифференцированном виде распределены следующим образом: просто нет на общественную активность времени (34%); считают, что их личное участие ничего не изменит, это бесполезно (34%); не желают тратить время на посторонних людей (34%); основная работа отнимает слишком много времени и сил (32%); социальные инициативы им не нужны, им все нравится, все устраивает (26%); нет на это денег (26%); все силы уходят на поддержание приемлемого уровня жизни для себя и своей семьи (25%); никому не верят (24%); тратят много времени на помощь родным и близким, на чужих времени просто не остается (21%); считают свою работу общественно значимой, достаточным вкладом в жизнь общества (20%); нет сил (20%); считают, что каждый должен быть сам за себя (19%); уверены, что простые люди ничего не могут изменить в стране (19%); убеждены, что ни государство, ни общество не предоставляют возможностей для гражданской активности (18%) (рис. 2).

Почему, на твой взгляд, люди НЕ участвуют регулярно в деятельности общественных организаций/в общественных инициативах?

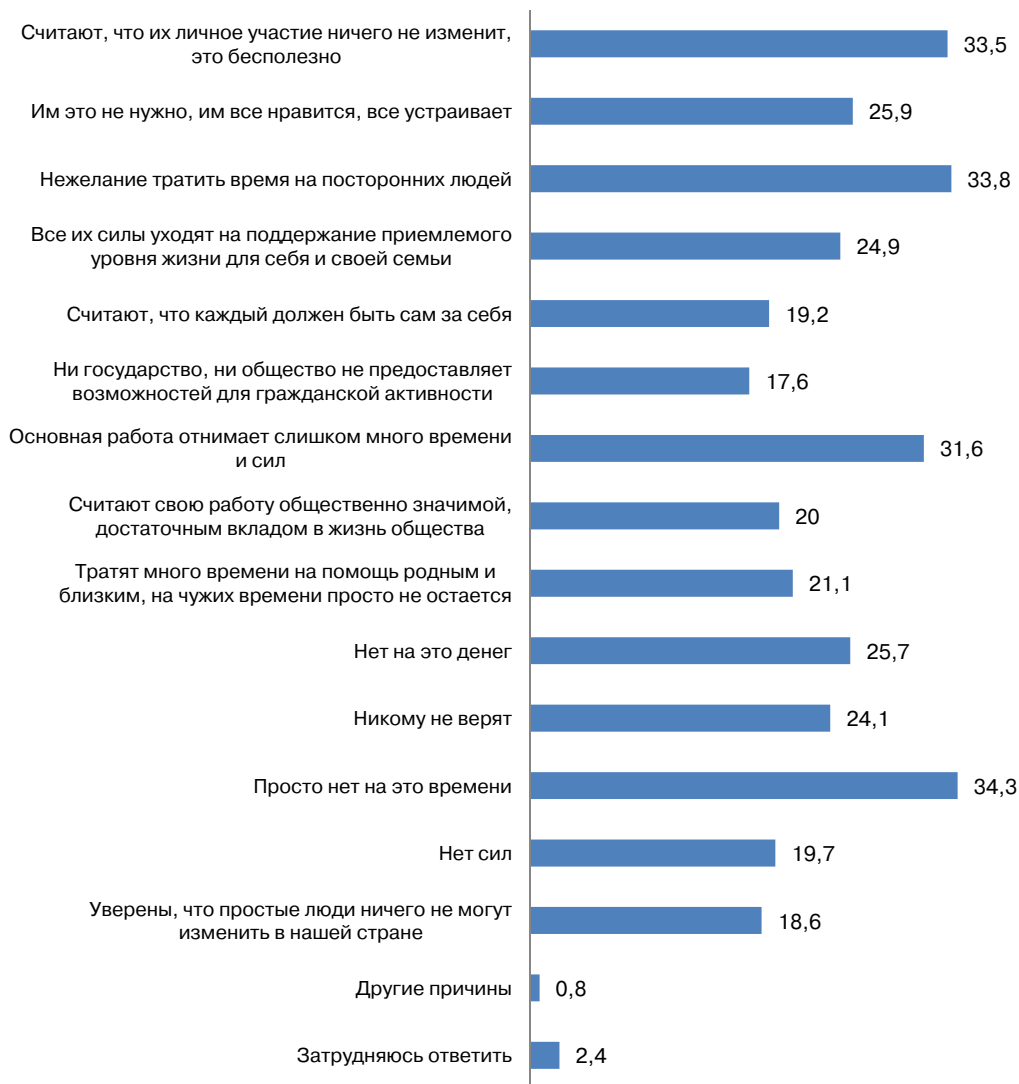


Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Почему, на твой взгляд, люди НЕ участвуют регулярно в деятельности общественных организаций/ в общественных инициативах?»

Негативный (или, вернее, неоднозначный) имидж общественных организаций, конструируемый российскими средствами массовой информации, обуславливает то, что они не вызывают доверия у большинства студентов: менее половины опрошенных отметили, что полностью или скорее доверяют общественным организациям (45%); аналогична доля доверяющих международным неправительственным организациям, которые работают в России (43%), тогда как доверие благотворительным фондам выше (52%) [см. также: 24]. Однако когда речь заходит о собственном будущем в связи с общественной деятельностью в формате официальных организаций, мнения респондентов распределяются иначе: каждый третий

не видит себя в общественной деятельности или затрудняется однозначно ответить на соответствующий вопрос (по 30%); 28% хотели бы стать участниками или руководителями общественного объединения; 15% не отказались бы связать свое будущее с политической деятельностью (15%).

Среди тех 39% студентов РУДН, кто заявил о регулярном участии в общественной активности, предпочтения распределились следующим образом: помощь деньгами детским домам/домам престарелых/приютам для животных и пр. (18%); волонтерская помощь тем же организация (23%); сбор/передача вещей в эти учреждения (24%); участие/помощь в организации городских субботников (12%); участие/помощь в организации городских, районных мероприятий и пр. (19%). По мнению опрошенных, основными движущими мотивами людей, на регулярной основе вовлеченных в социальную активность, являются стремление сделать мир лучше и принести пользу людям (47%), сам факт участия в общественной жизни и удовольствие от подобной деятельности (по 36%); несколько реже — обретение новых знакомств и хорошая компания (31%), шанс почувствовать себя нужным (30%), получение возможности для индивидуального продвижения и самореализации (27%) или просто нового жизненного опыта (21%); защита собственных прав (22%), выполнение своего гражданского долга по принципу «кто, если не я?» (23%), надежда на материальное вознаграждение (19%) или избыток свободного времени (17%) (рис. 3).



Рис. 3. Распределение ответов на вопрос «По твоему мнению, какие мотивы движут людьми, которые на регулярной основе занимаются общественными инициативами?» (в %)

Кстати, интересно отметить, что мнение об условно «бескорыстных» мотивах участия в общественных инициативах преобладает среди тех, кто полагает, что жизнь в нашей стране в последнее время становится все лучше и безопаснее, и, видимо, в таких условиях, по мнению этой группы респондентов, людям проще испытывать и реализовывать стремление «сделать мир лучше, принести пользу людям» и просто «принять участие в общественной деятельности». Те, кто полагает, что в нашей стране либо ничего не меняется, либо жизнь становится хуже и опаснее, чаще, по сравнению с предыдущей группой, называет в качестве мотивов социальной активности личные интересы — «надежду на построение карьеры», «возможность новых знакомств», хороший старт для индивидуального продвижения и самореализации.

Таким образом, мотивы социальной активности студенчества (и молодежи в целом) можно разделить на следующие группы: социальные (гражданский долг и ответственность, стремление сделать общество справедливым, оказание помощи), селективные (профессиональные перспективы, карьера, возможность подрабатывать), компетентностные (получить новые знания и навыки, организационный опыт, найти единомышленников), мобилизационные (влияние друзей, семьи, принуждение) [10. С. 106]. Впрочем, типология мотивов общественной деятельности может быть и более простой, такой, какая была составлена нами по результатам экспертного опроса, проведенного в 2015 году методом полуформализованного интервью с 65 представителями российских неполитических общественных объединений:

— самореализация: «стремление к грамотной и созидательной самореализации и намерение развиваться»; «возможность самовыражения»; «личностный рост»; «саморазвитие, получение жизненного опыта»;

— желание изменить мир: «желание изменить окружающую действительность, создавать актуальные форматы для самореализации молодежи, помогать нуждающимся»; «желание быть полезным обществу»; «гражданская позиция, желание улучшить социальный климат»; «возможность помочь людям, защитить их интересы, быть на стороне справедливости и разума»; «желание развивать молодежную политику, ...помогать в росте и развитии молодых людей и детей»;

— сочетание того и другого: «желание создать собственную команду и изменить действительность»; «желание делать хорошие дела и развиваться»; «желание приносить пользу и видеть реальный результат от деятельности; необходимость в самореализации, личностном росте»;

— совпадение личных интересов с деятельностью общественного объединения: «интерес к политической ситуации в стране и мире»; «интерес к деятельности и масштаб организации»; «желание активного образа жизни, интересные мероприятия».

Независимо от предпочитаемой типологии мотивов социальной активности, несомненно одно: ее восприятие и степень вовлеченности в нее молодежи зависит и от объективной ситуации в обществе, и от ценностных ориентаций и социального самочувствия молодых поколений. Так, студенты РУДН не очень оптимистич-

ны в оценках общей ситуации в стране: лишь 17% считают, что жизнь становится все лучше и безопаснее; каждый третий полагает, что ничего не меняется, каждый четвертый — что жизнь становится все хуже и опаснее. Тем не менее, в будущее студенты смотрят либо с надеждой и оптимизмом (41%), либо спокойно, без особых надежд и иллюзий (35%); существенно меньше доля тех, кто испытывает тревогу, неуверенность (18%) и, тем более, страх и отчаяние (7%) [см. также: 9].

Видимо, подобные оценки в значительной степени определяются представлениями студентов о том, какие проблемы сегодня наиболее остро стоят перед российской молодежью. Среди «лидеров» оказались алкоголизм (60%), наркомания (51%) и курение (46%), а также морально-нравственная деградация общества (41%) и безработица (36%). Примерно каждый пятый опрошенный назвал также недоступность образования (22%), преступность (20%), экономическую ситуацию в стране (18%), нехватку материальных средств (17%), коррупцию власти (17%), отсутствие взаимопонимания с родителями (16%) и т.д. (рис. 4).

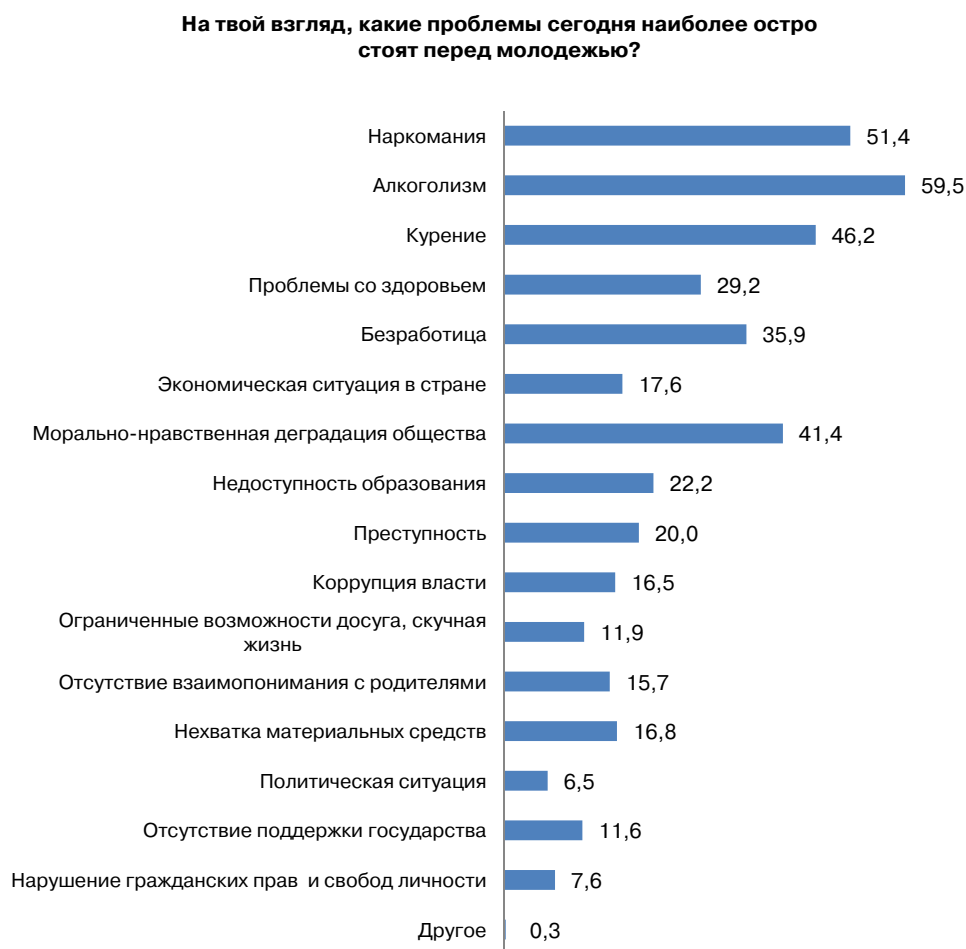


Рис. 4. Распределение ответов на вопрос «На твой взгляд, какие проблемы сегодня наиболее остро стоят перед молодежью?» (в %)

Другой фактор, который также может снижать мотивацию участия в общественной деятельности, — это доминирующие среди молодежи трактовки жизненного успеха: почти для половины опрошенных студентов успех ассоциируется, прежде всего, с материальным достатком (47%), карьерными достижениями (44%) и творческой самореализацией (42%), чуть реже — с семейным благополучием (37%), но общественное признание и славу отметил лишь каждый пятый (19%). Причем результаты общероссийского опроса Фонда «Общественное мнение» в 2016 г. [8] показывают, что значительная доля российской молодежи (60%) считает, что ей сложно будет добиться успеха в жизни и реализовать себя (основные причины — высокий уровень безработицы и сложности с трудоустройством молодежи, бедность и коррупция, платное образование и невнятная молодежная политика государства, крайне редко упоминается и инфантилизм молодежи, ее избалованность и инертность). Данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения за 2017 год [7] также подтверждают ориентацию российской молодежи на ценности, в общем и целом не стимулирующие активную общественную деятельность: доход, порядок и стабильность и самореализацию.

Иными словами, российская молодежь сталкивается со значительным числом объективных проблем, весьма пессимистично оценивает свои жизненные перспективы и опирается на устойчивую (интериоризированную в ходе социализации) систему ценностей, которая не подкрепляет активную гражданскую позицию и заинтересованность в волонтерской деятельности или в социальной активности в целом в широком наборе вариантов ее реализации (молодые люди просто не видят в ней особого смысла, тем более, не ощущая поддержки со стороны общества и государства). Поэтому говорить однозначно и категорично о социальной пассивности или аполитичности российской молодежи вряд ли корректно: есть немало социологических свидетельств тому, что молодые люди, особенно студенты, проявляют интерес и готовность к участию в общественной деятельности, пусть в основном и на очень близкой «социальной дистанции»; кроме того, следует принимать во внимание гендерную, поселенческую и прочую специфику объективных возможностей и субъективных мотивов общественной деятельности.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Актеры добровольчества. 2014 // <http://fom.ru/TSennosti/11663>.
- [2] Волков Д., Гончаров С. Потенциал гражданского участия в решении социальных проблем: сводный аналитический отчет. М., 2014.
- [3] Индекс «Гражданская ответственность». 2014 // <http://fom.ru/Obraz-zhizni/11691>.
- [4] Канто А.С. Социальная активность как нравственная черта личности. Киев, 1968.
- [5] Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь. М., 2000.
- [6] Коряковцева О.А. Государственная молодежная политика как фактор общественно-политической активизации молодежи в постсоветской России. Ярославль, 2010.
- [7] Молодежь и политика: точки соприкосновения. 2017 // https://www.wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-05-22_cennosti.pdf.
- [8] Молодежь о молодежи. Молодежь говорит о своих особенностях и о трудностях в жизни. 2016 // URL: <http://fom.ru/Obraz-zhizni/12832>.
- [9] Нарбут Н.П., Троцук И.В. Репертуар страхов российского студента: по материалам эмпирического проекта // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2013. № 4.
- [10] Николаева А.А. Социальная активность как фактор формирования гражданской идентичности современной российской студенческой молодежи. Орел, 2012.

- [11] Общественное мнение—2016. М., 2017.
- [12] *Потапова С.А.* Социальная активность студенческой молодежи современного молодого города (на материалах г. Нижнекамска). СПб., 2005.
- [13] *Ревоненко А.* Молодежь аполитична и прагматична: Эксперты о протестном потенциале студентов. 2016 // URL: <https://openrussia.org/post/view/18923>.
- [14] Российская идентичность: мы вместе? 2014 // <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115072>.
- [15] Российское общество: год в условиях кризиса и санкций: Информационно-аналитический материал по итогам общероссийского социологического исследования. М., 2015.
- [16] *Серегин А.Н.* Методика исследования социальной активности студенческой молодежи. М., 2008.
- [17] *Соколова Е.С.* Структурный подход к пониманию мотивации социальной активности молодежи. М., 2008.
- [18] Социальная и политическая активность молодежи. Какие виды активности распространены среди молодых? 2017 // <http://fom.ru/TSennosti/13286>.
- [19] *Трофимова И.Н.* Гражданская компетенция: государственная политика или возможность для гражданина // Россия реформирующаяся. Вып. 13: Ежегодник / Отв. ред. М.К. Горшков. М., 2015.
- [20] *Троцук И.В., Сохадзе К.Г.* Социальная активность молодежи: подходы к оценке форм, мотивов и факторов проявления в современном российском обществе // Вестник РУДН. Серия: Социология. 2014. № 4.
- [21] *Харланова Е.М.* Развитие социальной активности молодежи: традиции и инновации // Молодежь в социальном взаимодействии: самореализация, социальная активность, интеграция. Челябинск, 2010.
- [22] *Христова И.Ч., Комаров Е.Г., Ищенко Т.В.* Пути формирования социальной активности личности при социализме. М., 1972.
- [23] *Цветкова Р.* Лев Гудков: «Молодым в стране не хватает воздуха». 2016 // http://www.ng.ru/ng_politics/2016-03-01/9_young.html.
- [24] *Šuvaković U.V., Narbut N.P., Trotsuk I.V.* The youth of Russia and Serbia: Social trust and key generational problems // *RUDN Journal of Sociology*. 2016. Vol.16. No.4.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-348-363

SOCIAL ACTIVITY OF THE RUSSIAN YOUTH: THE SCOPE AND RESTRAINING FACTORS*

K.G. Sokhadze

RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia)
Miklukho-Maklaya St., 6, 117198, Moscow, Russia
(e-mail: keti.sokhadze@gmail.com)

Abstract. In recent years, both experts and public opinion tend to assess the involvement of the Russian youth in social activities as rather low: the post-Soviet generations are called apolitical and indifferent to anything except personal well-being and interests. At the same time, the largest research centers (Public

* © K.G. Sokhadze, 2017.

The research was supported by the Russian Foundation for Basic Research. The project No. 15-03-00573 “The social well-being of the youth in post-socialist countries: Comparative analysis (on the example of Russia, Kazakhstan, China, Serbia and Czech Republic)”.

Opinion Foundation, Russian Public Opinion Research Center, Levada Center, and Institute of Sociology) conduct sociological studies of various aspects of social and civil activities, political participation and protest potential of younger generations and Russian society as a whole. The article presents some recent data that prove the low level of political and social activity of the Russian population. The author believes that this level is higher among the younger generations, especially the students. To prove that, first, the author considers the category 'social activity': its motives (primarily socially significant needs), subjective 'measurement' (personal needs and interests), goals (pragmatic and altruistic, collective and personal, etc.), forms (personal, collective, etc.) and external and internal factors. Secondly, to assess the motives and restraining factors of the youth social activity, the article presents some results of the surveys conducted in the RUDN University and of the Russian public opinion polls. The author identifies reasons for the youth's lack of interest in public activities (lack of material benefits, desire/time/motivation, information, and negative image of public associations), motives of social activity (social, selective, mobilization, etc.) and for becoming a member of public associations (self-realization, the desire to change the world, combination of the two, etc.), and factors that determine the youth's perception of social activity in general (estimates of social situation, value orientations and social well-being).

Key words: youth; social activities; trust; being apolitical; value orientations; sociological surveys

REFERENCES

- [1] Aktory dobrovol'chestva [Actors of volunteer movement]. 2014. <http://fom.ru/TSennosti/11663> (In Russ.).
- [2] Volkov D., Goncharov S. *Potencial grazhdanskogo uchastija v reshenii social'nyh problem: svodnyj analiticheskij otchet* [The Potential of Civil Participation in Solving Social Problems: A Consolidated Analytical Report]. Moscow; 2014 (In Russ.).
- [3] Indeks "Grazhdanskaja otvetstvennost'" [Index of Civil Responsibility]. 2014. <http://fom.ru/Obraz-zhizni/11691> (In Russ.).
- [4] Kapto A.S. *Social'naja aktivnost' kak npravstvennaja cherta lichnosti* [Social Activity as a Moral Trait of Personality]. Kiev; 1968 (In Russ.).
- [5] Kodzhaspirova G.M. *Pedagogicheskij slovar'* [Pedagogical Dictionary]. Moscow; 2000 (In Russ.).
- [6] Koryakovtseva O.A. *Gosudarstvennaja molodezhnaja politika kak faktor obshhestvenno-politicheskoj aktivizacii molodezhi v postsovetskoj Rossii* [State Youth Policy as a Way to Activate the Post-Soviet Younger Generations]. Yaroslavl; 2010 (In Russ.).
- [7] Molodezh' i politika: tochki soprikosnovenija [Youth and Policy: Common Interests]. 2017. https://www.wciom.ru/fileadmin/file/reports_conferences/2017/2017-05-22_cennosti.pdf (In Russ.).
- [8] Molodezh' o molodezhi. Molodezh' govorit o svoih osobennostjakh i o trudnostjakh v zhizni [Youth's Opinion on the Youth: Its Features and Life Difficulties]. 2016. <http://fom.ru/Obraz-zhizni/12832> (In Russ.).
- [9] Narbut N.P., Trotsuk I.V. Repertuar strahov rossijskogo studenta: po materialam jempiricheskogo proekta [Russian students' main fears: The results of an empirical study]. *RUDN Journal of Sociology*. 2013;4 (In Russ.).
- [10] Nikolaeva A.A. *Social'naja aktivnost' kak faktor formirovanija grazhdanskoj identichnosti sovremennoj rossijskoj studencheskoj molodezhi* [Social Activity as a Factor of the Contemporary Russian Student Youth Civil Identity Formation]. Orel; 2012 (In Russ.).
- [11] *Obshhestvennoe mnenie—2016* [Public Opinion—2016]. Moscow; 2017 (In Russ.).
- [12] Potapova S.A. *Social'naja aktivnost' studencheskoj molodezhi sovremennogo molodogo goroda (na materialah g. Nizhnekamska)* [Social Activity of the Contemporary Young City's Youth (Based on the Data from Nizhnekamsk)]. Saint Petersburg; 2005 (In Russ.).
- [13] Revonenko A. Molodezh' apolitchna i pragmatichna: Eksperty o protestnom potencie studentov [Youth is Apolitical and Pragmatic: Experts on the Students' Protest Potential]. 2016. <https://openrussia.org/post/view/18923> (In Russ.).
- [14] Rossijskaja identichnost': my vmeste? [Russian Identity: Are We Together?] 2014. <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115072> (In Russ.).

- [15] *Rossijskoe obshhestvo: god v uslovijah krizisa i sankcij: Informacionno-analitičeskij material po itogam obshherossijskogo sociologičeskogo issledovanija* [Russian Society: A Year under the Crisis and Sanctions: An Information-Analytical Report Based on the All-Russian Sociological Study]. Moscow; 2015 (In Russ.).
- [16] Seregin A.N. *Metodika issledovanija social'noj aktivnosti studenčeskoj molodezhi* [A Method to Study the Social Activity of the Student Youth]. Moscow; 2008 (In Russ.).
- [17] Sokolova E.S. *Strukturnyj podhod k ponimaniju motivacii social'noj aktivnosti molodezhi* [Structural Approach to the Study of the Youth's Motives for Social Activity]. Moscow; 2008 (In Russ.).
- [18] Social'naja i političeskaja aktivnost' molodezhi. Kakie vidy aktivnosti rasprostraneny sredi molodyh? [Social and Political Activity of the Youth. What are Its Common Types?] 2017. <http://fom.ru/TSennosti/13286> (In Russ.).
- [19] Trofimova I.N. Grazhdanskaja kompetencija: gosudarstvennaja politika ili vozmožnost' dlja grazhdanina [Civil competence: State policy or citizens' opportunities]. *Rossija reformirujuščajasja*. Vyp. 13: Ezhegodnik. Otv. red. M.K. Gorshkov. Moscow; 2015 (In Russ.).
- [20] Trotsuk I.V., Sokhadze K.G. Social'naja aktivnost' molodezhi: podhody k ocenke form, motivov i faktorov pojavlenija v sovremennom rossijskom obshhestve [Social activity of the youth: Approaches to the assessment of forms, motives and factors in the contemporary Russian society]. *RUDN Journal of Sociology*. 2014;4 (In Russ.).
- [21] Harlanova E.M. Razvitie social'noj aktivnosti molodezhi: tradicii i innovacii [The youth social activity development: Traditions and innovations]. *Molodezh' v social'nom vzaimodejstvii: samorealizacija, social'naja aktivnost', integracija*. Chelyabinsk; 2010 (In Russ.).
- [22] Hristova I.Ch., Komarov E.G., Ischenko T.V. *Puti formirovanija social'noj aktivnosti lichnosti pri socializme* [Ways of Developing Social Activity of a Person under Socialism]. Moscow; 1972 (In Russ.).
- [23] Tsvetkova R. Lev Gudkov: "Molodym v strane ne hvataet vozduha" [Lev Gudkov: "There is not enough air for younger generations in the country"]. 2016. http://www.ng.ru/ng_politics/2016-03-01/9_young.html (In Russ.).
- [24] Šuvaković U.V., Narbut N.P., Trotsuk I.V. The youth of Russia and Serbia: Social trust and key generational problems. *RUDN Journal of Sociology*. 2016;16(4).



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-364-372

LGBT COMMUNITY IN THE FOCUS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH*

Zh.V. Puzanova, T.I. Larina, S.D. Sharma

RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia)

Mikukho-Maklaya St., 6, 117198, Moscow, Russia

(e-mail: puzanova_zhv@rudn.university,

larina_ti@rudn.university, isonia.shr@gmail.com)

Abstract. The LGBT community and the attitude towards it became one of the dividing factors between Russia and Europe long ago. This factor quite often creates political precedents and becomes a basis for various provocations. In the Russian mass conscience the topic, which has long been considered tabooed, today has a sensitive character; therefore classic survey methods are hardly suitable for its study; on the other hand, various projective techniques have proved to be more useful. This article presents the data of a number of Russian sociological surveys on the attitudes towards LGBT representatives and of the RUDN University Sociology Chair scientific team research on this subject. The article also presents the results of a number of focus groups aimed at identifying attitudes towards LGBT representatives and based on the application of the vignette method, which is a special type of projective techniques. The high efficiency of vignette method for the study of such a sensitive subject was proved. The method allows overcoming of some barriers in respondents' conscience determined by the 'radical' character of the issues under study, and also reduces the general social pressure upon respondents. The research with the application of vignette method resembled a kind of a narrative game, therefore adapting this method to the focus group research helps to obtain more detailed and interesting data due to the group dynamics.

Key words: LGBT community; vignettes; focus groups; sensitive subject; projective techniques; propaganda

Homosexuality, the rights of homosexuals and even the use of this term are the issues that provoke heated discussions in the contemporary world. American Psychological Association ruled out homosexuality from the list of diseases in 1973, confirming that homosexuality is not a sexual perversion, but a different sexual orientation [3]. This fact has had a considerable impact on the formation of the tolerant attitude towards LGBT community and the creation of a new legislation on this matter. The processes of legalizing homosexuality have begun in the number of European countries and the USA. These processes have influenced the level of tolerance and promoted changes in consciousness of society.

Speaking about the attitude of Russian society to this topic, we present the results of the largest relevant sociological surveys. In March 2015, Levada-Center conducted the research to identify the definition of homosexuality as a phenomenon, during which 800 people aged 18+ in 134 settlements in 46 regions of the country were interviewed [5]. More than a third of Russians (37%) consider non-standard sexual orientation to be the disease, which must be treated (Table 1). This view is shared first and foremost by the informants who have a higher education.

* © Zh.V. Puzanova, T.I. Larina, S.D. Sharma, 2017.

Table 1

**‘How do you personally think, homosexuality — is...’
(closed question, one answer, in %)**

	February 2013	March 2015
Disease, which must be treated	34	37
Result of ill-breeding, promiscuity, bad habits	23	26
Result of seduction (in a family, on the street, in the closed institution)	17	13
The sexual orientation, given from the birth, has the same right to exist as the heterosexual orientation	16	11
Not sure	10	14

Generally speaking, homosexuality causes a certain degree of wariness and disgust, as towards people who have a serious disease (Table 2).

Table 2

**How do you personally feel about homosexuals and lesbians?
(closed question, one answer, in %)**

	2013	2015
Positive	1	1
Interested	3	2
Calm, neutral	23	26
Alarmed	22	19
Irritated	20	22
Disgusted, frightened	26	24
Not sure	6	5

Turning to the research carried during the last year, let us pay attention to the work of Russian public opinion research center (WCIOM), which studied how the Russians’ values have changed for the last 25 years, regarding the issue of homosexual relations as well [4].

Aversion towards homosexual relations in society not only hasn’t weakened, but has also grown significantly. Furthermore, a more tolerant attitude today is more common among young people (25%) and residents of federal cities — Moscow and St. Petersburg (12%) (Table 3).

Table 3

‘How do you think, intimate relationships, sexual relations between two adults of the same sex (male or female) are worth of condemnation or there is nothing reprehensible about this’ (closed question, one answer, data in %)

	1991	2016
Always worthy of condemnation	57	74
More often worthy of condemnation	14	7
More often there is nothing reprehensible	8	5
There is nothing reprehensible at all	7	7
Other	2	3
Not sure	12	4

The survey of the All-Russian Public Opinion Research Center shows that the majority of Russians — 86% — are ready to support a ban on the promotion of homosexuality, while only 6% faced its manifestations [6].

According to the opinion of the Russian psychologist M. Beylkin, there are two forms of homosexuality: congenital and acquired, which influence the relation to non-standard sexual orientation in their own specific ways [1]. So, in Russian society the attitude towards ‘congenital’ homosexuality is rather tolerant, since it is perceived as a disease, ‘genetic failure’. To such people society might express pity and sympathy, comparable to the way we feel about a disabled person. The situation with ‘homosexuals by conviction’ is crucially different. In this case there is an aspect of a conscious, voluntary choice of the sexual orientation. In this context, the attitude towards homosexuality can be divided into liberal, compromise and conservative. The liberal attitude in this case is characterized by full legal support of homosexuals and their marriages, compromise — delegation of some rights for the self-presentation in public places, conservative — recognition of the fact of existence, but a certain social distance from homosexuals.

In February—August 2016 in the RUDN University the sociological research ‘Realization of personal freedom in the representations of modern youth (on the example of students of RUDN)’ was conducted. The type of sample is quota-sample (quotas — all faculties of the university), 456 people were interviewed. Method — a questionnaire survey. The questionnaire consisted of 26 questions. Students were asked: ‘Imagine that your friend (a male) is planning to marry a man in a country where it is not prohibited. You are’: 1) clearly against such a union, will cut him off; 2) against such a union, but will continue to communicate with him any day of the week; 3) I do not mind, but it will be inconvenient to continue communication; 4) I do not mind, I will fully support his decision; 5) Do not know. 22% of students chose the first answer (Conservatives), one in three chose the 4th answer (interpreted as a Liberal), the remaining 47% expressed compromise views on this issue. It is interesting to note that in response to the same question, but with the projection on the female, only 15% — Conservatives, 34% — Liberals, 51% — are Compromises. So, we can say that female homosexuality is seen a little more loyal.

In March—April 2017 the scientific research team of RUDN Sociology Chair within the initiative research work № 100235-0-000 ‘Features of understanding and realization of personal freedom by modern youth: the cross-cultural aspect’ implemented a field investigation phase in Austria, the Czech Republic, the Netherlands and Russia, where attitudes towards representatives of LGBT community was one of the research blocks. The following methods were used: garfinkeling, participant and non-participant observation. The results of the first stage made it possible to say that, despite the postulated tolerance to homosexuals, the liberal attitude is observed in Austria and the Netherlands, but in the Czech Republic the attitude to LGBT community has a compromise character. The Czech Republic, being one of the first countries of Europe where gay parades were allowed and are still held, isn’t liberal in this regard, and LGBT community in Prague has a character of a closed community. In Russia, the attitude to LGBT representatives is still conservative and is described by formula — ‘it is permissible as long as it doesn’t concern me and my family’. Such results have become possible due to the application of non-polling methods. Regarding polling methods, some special approaches are needed including projections, game techniques, etc.

The vignette method seems to be one of the most effective techniques of studying the attitude towards such a sensitive subject. The vignette represents a brief hypothetical written, oral or graphic (illustrated) description of people in different situations, based on the experimental, flexible variables. The vignette technique gives the chance to research quite an extensive range of social phenomena at a deeper level, more substantially, than when using traditional methods. As well as a method of unfinished sentences, it helps to avoid responses approved by society [7], because questions are projected on a fictional character, but not set directly — answers of respondents display real reactions of people.

In terms of the Russian realities, LGBT community can be characterized as closed and conservative, taking this into account, it is necessary to select a specific method of a research that gives a chance to study a sensitive subject most deeply, while not putting increased pressure on the informant. Such method is the vignette method.

The objective of the study is diagnostics of the efficiency of using the vignette method in researching the subject of the attitude towards LGBT community. The main methods include a focus group research with application of the vignettes method. In the autumn 2016 in the RUDN University we conducted a research to identify the attitudes of students towards LGBT representatives. In the original research was used the technique, proposed by J. Finch, on the basis of which five vignettes (5 steps) were formulated [2]. At each step, the respondent was asked open questions, which gradually plunged him into the core of the story. Such technique allows reducing the level of pressure on the informant, so the participant feels more comfortable. It is particularly important when studying sensitive subjects.

The vignette was a dynamic formation, meaning that the scenario developed at every new stage. The informants were offered to pronounce their judgment on the obtained information, then the new circumstances regarding the main hero of the history were introduced, and the question was asked — ‘What should happen next?’. A special method was used when we asked the following questions: ‘How would they react?’, and then: ‘How would you react?’, so the informant was less focused on their own personality.

At the pilot stage only one type of vignette called ‘Andrey’ was used, in which a young man was the main character:

1. *Andrey is a young man, 25 years old. He has many different hobbies and does not like to sit around: enjoys music, plays the guitar and likes to read. The guy travels a lot. He has a lot of friends. Also, Andrey has a good job, and he has recently decided to get another higher education.*

Question: How do you think, what impression he makes on people around? What impression does he make on you?

2. *Actually, Andrey has a secret — he has a non-standard sexual orientation. He has understood it not so long ago. He likes guys. But he is really embarrassed by it and is afraid to be misunderstood by his relatives.*

Question: How do you think, what a young man should do in this situation — open up to his relatives or keep it to himself? How do you assess this situation?

On the basis of the results, received by means of a pilot study, essential adjustments to the research program were made.

First, it was decided to change the method of an individual interview to focus groups, based on the following arguments:

- 1) using focus groups takes less time in comparison with an interview, which is an important criterion for the empirical research;
- 2) having group dynamics, and particularly statements of some respondents, can be a powerful incentive for others, less active participants, to express their opinion;
- 3) high degree of informants' emancipation can induce spontaneity of their answers;
- 4) self-disclosure of the individual, that is, the fact that other participants presented have a similar opinion, gives them the feeling of security and confidence in their own statements;
- 5) circumstances within a focus group can push the person (through questions and statements of other members of the group) to give detailed and reasoned answers;
- 6) presence of directly opposite opinions makes the focus group more lively;
- 7) decreased emotional tension among members of the group;
- 8) opportunity to study the natural vocabulary of informants, when discussing the topic;
- 9) interaction of participants with each other replaces their interaction with the interviewer, that leads to a bigger emphasis on the participants' points of view;
- 10) opportunity to create a comfortable situation, which produces perfect circumstances for the direct talk.

Secondly, five more vignettes called 'Christina' were formulated additionally, in which the main character was a girl, as during the interview the respondents were told the following assumption — their attitude towards the hero could be other if it was a male. Example of a vignette:

1. Christina is a young girl, she's 24 years old. She is a very versatile person and always finds what to do: professionally dances, understands painting, reads a lot. Christina travels a lot with her friends. Recently she got a good position in a prestigious company and decided to get another higher education.

Question: How do you think, what impression she makes on people around? What impression does she make on you?

2. Actually, Christina has a secret — she has a non-standard sexual orientation. She has understood it not so long ago. She likes girls. But she hides it and is afraid to be misunderstood by her relatives.

Question: How do you think, what should a girl do in this situation — open up to relatives or keep it to herself? How do you assess this situation?

Four female focus groups were made. It was made because not all the informants felt comfortable, discussing a person of a non-standard sexual orientation with representatives of the opposite sex. At the same time, participants were selected so that they weren't familiar with each other, with the purpose to avoid getting socially approved and expected answers.

Using the vignette method on the focused interview showed the following results. First, regarding the first vignette 'Andrey', where the short description of his personality

was given, the respondents unanimously gave a hero a positive assessment, characterizing him as a positive, purposeful, creative person. For the similar scenario, where the girl was the main character, the opinions of the informants differed. So, some girls supposed that Christina created a positive impression. Others assumed that she was arrogant, could irritate people and be light-minded due to her creative, 'not age-appropriate' hobbies. This reaction is partly connected with the fact, that girls see the heroine as a rival, as she is more talented and successful.

The second step of the scenario gave similar participants' opinions in both focus groups, where vignettes sounded the following way:

1) *During their friendship, his friends have never seen Andrey communicate with girls or go out with them, although his friends were already married.*

2) *During their friendship, her friends have never seen Christina communicate with men or go out with them, although her friends were already married.*

Question: Why do you think it happens?

The respondents assessed this situation neutrally, commenting that young people, due to their qualities, didn't meet a person who would meet their high requirements. Besides, the girls specified that Andrey and Christina, being busy with self-development, just didn't have enough time for any serious relationships at the moment. Such position of the informants is understandable, since the modern youth is focused on self-realization and financial well-being, while the value of a family fades into the background [8].

The third situation, where sexual orientation of the main characters was revealed, didn't cause any strong reaction from the respondents, which shows their awareness about the presence of homosexual people in our society.

To the question 'How do you assess this situation?', the participants of both groups empathized with the heroes, explaining it by the difficulty of finding such people in Russian society. This opinion was supported particularly by such arguments like '*in our country it is strongly judged*', '*Russia is a homophobic country*', '*he simply considers himself not like the others and this must be bad*', '*a lot of kids are instilled that a family can only be traditional*'.

Discussing the dilemma of whether or not a person's homosexuality should be revealed to the closed ones, the respondents expressed the opinion that the main character should share it with relatives as orientation doesn't prevent from being the same good, interesting person as before their 'coming out'. These data indicate a tolerant attitude towards the representatives of sex minorities, the informants reinforced their statements with examples from their life, when they themselves were in the position of this 'close one'. Similar stories were typical for both the first and the second focus groups.

The fourth step became the most resonant. 'Andrey' and 'Christina' reported about their non-standard orientation to a friend who was of the same sex as them. In the first case, the informants thought it was quite possible that a friend wouldn't understand, would take it negatively: 'not really positive', 'I don't know', 'well, in our country it isn't accepted'. Such opinion relates to the fact, that in Russia the attitude towards women of a non-standard orientation is more tolerant than the one towards men. Men see a hidden threat in gay men, which was revealed as soon as the pilot research stage was conducted.

Discussing Christina, the respondents said that they would most likely accept her, but would not understand. The main arguments in favor of this misunderstanding were the peculiarities of the attitude towards the sex minority in the country, and the fear that the heroine might have feelings for a friend, which would lead to the problems in their friendship.

The most controversial part of the story was the final one:

1) *Andrew decided to talk with his parents. He believes that they will understand him, because, regardless of his orientation, he is still their son.*

2) *Christina decided to talk with her parents. She believes that they will understand her, because, regardless of her orientation, she is still their daughter.*

Question: How can parents react? And how do you think the parents should react to such news?

The girls were unanimous that parents should accept heroes. However, the overwhelming majority of the respondents considered that relatives could not understand this and would look for a problem in themselves, as the examples of precipitating factors they named: the high role of religion in the family, patriarchy, conservatism. Also, it should be noted, that many respondents tried to imagine that they turned out to be in such situation, expressing their opinion through the prism of their own 'Me'.

Thus, in spite of the fact that the respondents allowed a possibility of communication with the representative of sexual minorities, expressing positive/neutral attitude towards them, they could hardly accept such child. Disputing, the girls assumed that if they were in a similar situation, they would hide this fact from people around them: *'If my child came and said, that he was gay or lesbian, I probably would not be able to accept it', 'But when it comes to me, I don't know, what I should do', 'Oh, God forbid, if the boy is like that'*. This opinion is typical for both groups. Therefore, the assumption of sharply negative attitude from girls to representatives of LGBT community wasn't confirmed. The tolerance concerning representatives of nonstandard sexual orientation was peculiar to informants. The reasons explaining this position are the following: homosexual friends, liberal views, desire to balance the rights of homo- and heterosexuals.

Participants of focus groups did not show a high social distance to sexual minorities. They are ready to communicate with such people, to let them in the society. Besides, it is possible to note, that girls attitude both to gays and lesbians is almost the same. At the same time, for many, it would become a body blow if their child turns out to be of nonstandard sexual orientation, especially in case if it is a boy. Moreover, girls noted uselessness of the propaganda prohibition because of its ineffectiveness. Supporting legalization of same-sex marriages as an equality measure among all the members of society seems to be one of the arguments in favor of the participants' tolerant treatment of LGBT representatives. Thus, the attitude of student's youth represented by girls towards LGBT community can be characterized as tolerant, the level of participants' tolerance in general depends on the presence of homosexual acquaintances and friends in their lives. Therefore, those who are constantly in contact with gays and lesbians, show more liberal views concerning LGBT community and vice versa, their views allow them to communicate with such people.

Most informants preferred to use positive and neutral terms for designation of LGBT representatives. Only one respondent used a negative formulation speaking about sexual minorities. So, we can see generally tolerant attitude, expressed in showing respect to the feelings of sexual minorities, which reinforces the materials obtained during focus groups.

The most stressful issues were those that affected children of couples with non-standard sexual orientation and issues related to homosexual friends. Here we could see such expressions of non-verbal behavior like linked fingers at the level of a mouth, which means discomfort, protective reaction; nodding and tilting of the head — disapproval; touching lips and a face — insincerity, a sign of critical evaluation; biting a lip — a stress, discomfort. Such reactions were frequently shown by the second group. The reactions connected with the thought processes were more common for the first focus group, e.g. a hand/hand at a mouth, leaning back. No questions caused negative reactions. Also it should be noted that only the youth participated in the research. The older generations have more conservative views (it was illustrated on the example of sociological polls).

The high level of intolerance, which can be seen in the researches on this problem, testifies to the specifics of socialization at the level of social institutes of Russian society and in general. Here it is possible to talk about the features of identity, where the religious and socio-political component has a tremendous influence. But, despite this fact, the modern youth shows more tolerance. Today students incline to have liberal views, expressing the general support to the LGBT community. However, the majority expresses fear in situations where their children turn out to be of a non-standard orientation. This fear is caused by the lack of any idea of how to react correctly in similar circumstances.

In the study of such a sensitive topic as the attitudes towards people of non-standard sexual orientation, the vignette method proves to be a good alternative to traditional methods of data collection. It is more convenient to use, possesses a flexible structure and gives the chance to make amendments quickly. Such projective techniques allow the informant to express their opinion, without putting too many boundaries and restrictions, especially during the studying of sensitive subjects, where it is rather difficult to obtain information as not every respondent can speak their minds freely and directly. The vignette method reduces pressure upon the respondent as much as possible, and allows us to hear one's personal opinion at the same time. It is possible to speak about a high heuristic potential of the vignette method when studying sensitive subjects.

REFERENCES

- [1] Belkin MM. *Gordiev uzel seksologii* [Gordian Knot of Sexology]. Moscow: Feniks; 2007. (In Russ.)
- [2] Finch J. Research note on the vignette technique in survey research. *Sociology*. 1987;21(1).
- [3] Mendelson G. Homosexuality and psychiatric nosology. *Australian and New Zealand Journal of Psychiatry*. 2004;37(6).
- [4] Navstrechu dnyu svyatogo Valentina: o lyubvi po-vzrosloму [Towards the St. Valentine's Day: On love in an adult way]. 2016 // <https://wciom.ru/index.php?id=236&uid=115581>.

- [5] ‘Nevidimoe men'shinstvo’: k probleme gomofobii v Rossii [‘Invisible minority’: On the homophobia in Russia]. 2015 // <http://www.levada.ru/2015/05/05/nevidimoe-menshinstvo-k-probleme-gomofobii-v-rossii>.
- [6] Opros: bol'shinstvo rossiyan — za zapret gei-propagandy [Public opinion poll: The majority of Russians support the ban of gay propaganda]. 2012 // <https://wciom.ru/index.php?id=241&uid=112729>.
- [7] Puzanova Zh.V. ‘The unfinished sentences technique in the study of loneliness phenomenon. *RUDN Journal of Sociology*. 2011;1 (In Russ.).
- [8] Shashkina A.O., Konyukhova K.O. The study of today Russian youth values. *Molodoy Uchenyi*. 2015; 8 (In Russ.)

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-364-372

ЛГБТ-СООБЩЕСТВО В ФОКУСЕ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА*

Ж.В. Пузанова, Т.И. Ларина, С.Д. Шарма

Российский университет дружбы народов,
ул. Миклухо-Маклая, 6, 117198, Москва, Россия
(e-mail: puzanova_zhv@rudn.university,
larina_ti@rudn.university, isonia.shr@gmail.com)

Тема ЛГБТ-сообщества и отношения к нему давно стала одним из разделяющих Россию и Европу факторов, который нередко создает политические прецеденты и становится основой для разнообразных провокаций. В российском массовом сознании эта тема, долго считавшаяся табуированной, сейчас носит ярко выраженный сензитивный характер, поэтому для ее изучения слабо подходят традиционные опросные методы, тогда как различные проективные методики оказываются более полезными. В статье приведены данные крупнейших российских социологических опросов последних лет по проблематике отношения российского общества к представителям ЛГБТ-сообщества, а также результаты ряда авторских исследований научного коллектива кафедры социологии Российского университета дружбы народов по этой теме. Также в статье представлены результаты, полученные в ходе реализации фокус-группового исследования по тематике отношения к представителям ЛГБТ-сообщества студенческой молодежи с применением метода виньеток, являющегося разновидностью проективных методик. В частности, авторами доказана высокая эффективность использования метода виньеток для изучения столь сензитивной тематики, как восприятие ЛГБТ-сообщества в российском обществе сегодня. Метод виньеток позволяет «обойти» некоторые барьеры в сознании респондентов, вызванные радикальными взглядами, а также снизить общее давление социальной желательности на респондентов. Исследование с применением метода виньеток воспринимается респондентами как разновидность рассказывания-игры, а вписывание метода в фокус-групповое исследование благодаря феномену групповой динамики позволяет получить более детальные и интересные данные.

Ключевые слова: ЛГБТ-сообщество; сензитивная тематика; пропаганда; проективные методы; виньетки; фокус-группы

* © Пузанова Ж.В., Ларина Т.И., Шарма С.Д., 2017.

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЛЕКТОРИЙ

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-373-386

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СФЕР ОБЩЕСТВА КАК ТИПОВ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЛЮДЕЙ*

Т.В. Науменко

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ГСП-2, Ленинские горы, Москва, 119992, Россия
(e-mail: t-naumenko@yandex.ru)

Статья посвящена актуальной и злободневной теме, связанной с исследованием общества и его составных частей. Этой теме посвящены многочисленные как междисциплинарные, так и узкоспециальные исследования. Однако понимание сущности общества возможно только через применение к нему методов общей социологии, а также социальной философии, которая привносит в науку видение исследуемого объекта через призму всеобщего. С учетом этого в статье рассматривается проблема анализа общества с применением методов системного и деятельностного подхода как объяснительного принципа, распространяющегося на конкретные социальные процессы и общество в целом. Применение этих методов позволяет выявить сущность общества, в основе которой лежит деятельность преследующего свои цели человека. В статье особое внимание уделяется проблеме специфики общественных отношений и их отличиям от области природных явлений. Акцентируется роль ценностного измерения социальных фактов, их субъектной сущности, а также свободы как способности человека контролировать внешние обстоятельства в процессе индивидуального и коллективного целедостижения. При анализе структуры деятельностного ряда и его главных компонентов автором рассматриваются четыре типа совместной деятельности людей, а также уточняется соответствие этих типов общеизвестным сферам общества. Уточняется категориальный аппарат анализа сфер общества, способствующий более корректно структурировать все виды деятельности. Обосновывается некорректность выделения экономической сферы в отдельную структуру и доказывается присутствие экономических элементов во всех сферах общества. Выявляется механизм взаимодействия всех типов совместной деятельности людей и всех сфер общества, их взаимосвязь и взаимовлияние, а также указывается на возможные способы более эффективного исследования общества, основанные на дальнейшем применении системно-деятельностного подхода. Обращается внимание на важность выявления онтологических и гносеологических оснований на самом начальном этапе исследования общества, что способствует оптимизации исследований и повышению результативности решения задач, связанных с изучением социальных процессов.

Ключевые слова: общество; социальные процессы; социальная философия; деятельность; объяснительный принцип; типы совместной деятельности; сферы общества; взаимодействие

Интерес к изучению общества существует практически с момента возникновения самого общества, по крайней мере, с момента формирования его институциональных форм. Однако далеко не всегда этот интерес имел выраженный научный характер и реализовывался в категориальной форме. Причина этого, в прин-

* © Науменко Т.В., 2017.

ципе, очевидна: общество как главный социальный феномен интересует абсолютно все слои и уровни общественного сознания, и, соответственно, результаты этого интереса и их изложение мы видим совершенно разные — от религиозных (в том числе и раннерелигиозных) форм осмысления общества до высококатегориальных и рационализированных социально-философских выводов и обобщений. Практически все гуманитарные и социальные науки так или иначе касаются проблематики, связанной как с обществом вообще, так и с его отдельными частями, как с общепланетарными социальными законами, так и с законами, по которым осуществляют свою жизнедеятельность отдельные подсистемы единой системы общества. Именно в этом заключается одна из самых больших сложностей в изучении общества — multidisciplinary подход приводит к тому, что практически всем начинает казаться, что они хорошо знают общество, и что ничего сложного в этом познании нет.

Присоединившись к многочисленному пулу исследователей общества, я бы хотела провести его анализ в рамках макросоциологической и социально-философской парадигмы. Социально-философский анализ предполагает взгляд на социальные явления и процессы через призму всеобщего, при этом дополняющий его макросоциологический подход, опирающийся на рассмотрение различных социальных общностей цивилизационного масштаба, а также на изучение моделей поведения и влияния человеческого фактора на социальные процессы, способствуют приближению к пониманию сущности общества как такового.

Таким образом, кажущаяся простота и очевидность в понимании того, что же такое общество, весьма обманчива, ибо основана на восприятии и обобщении лишь внешних, видимых сторон этого сложнейшего феномена, на явлении, за которым скрывается и через которое проявляется глубинная сущность общества и которую невозможно ни увидеть, ни зафиксировать, ни измерить, ни исследовать ни одним из известных методов социологического и любого другого анализа, ибо сущность любого феномена, объекта, предмета или процесса является не зримой, а *умопостигаемой*, поэтому любой анализ, направленный на исследование объекта и имеющий своей целью вскрытие сущности, опирается только на метод научной рефлексии и руководствуется принципами формальной логики, которые способны содействовать достижению поставленной исследовательской цели.

Однако процесс обнаружения сущности является сложным не только потому, что сущность скрыта за явлением, формой и содержанием исследуемого объекта, но еще и потому, что в процессе исследования очень часто происходит подмена или существенное изменение самого объекта исследования. Такая деформация происходит по причине недостаточно четко определенных онтологических и гносеологических оснований теории, которая отражает данные объекты реальности и которая подвергается научной рефлексии с целью выявления сущности того или иного объекта. В этом смысле одним из самых сложных объектов исследования является общество.

Многомерность и материальное единство мира предопределяет существование природы и человека в одном пространственно-временном континууме, и с онтологической точки зрения такая картина мира является целостной и адекватной существующему положению дел. Однако с точки зрения гносеологии, с точки

зрения того, как и каким образом происходит отражение этой картины мира в сознании людей и как ее можно исследовать, возникает целый ряд сложностей и проблем. И первая такая сложность заключается в специфике той части картины мира, которая именуется обществом. Если природа существует вне и независимо от сознания людей, но при этом подвергается как отражению этим сознанием, так и изменению ее человеком, создающим различные социетальные феномены, то общество существует с уже включенным в него сознанием человека, которое не только отражает и преобразует само общество, но и еще видоизменяет его даже в процессе самого отражения и исследования. Иными словами, в обществе человек одновременно является и объектом, и субъектом происходящих процессов. Не стоит при этом забывать, что мы ведем социально-философский анализ и поэтому речь идет о человеке как таковом, а не о конкретном субъекте конкретного общества. И если существование природы не зависит от сознания людей (зависит разве что от опасности вмешательства человека), то общество полностью зависит от сознания человека, являющегося не просто структурной единицей общества, но и носителем этого самого сознания.

На протяжении всей истории существования общества человечество неустанно трудилось над осмыслением всего комплекса проблем, связанных с этим сложнейшим феноменом действительности. Ответов на вопрос «что же такое общество и какова его сущность?» мы знаем великое множество, и эти ответы даны с позиций самых различных не только научных, но и далеко не научных парадигм. Современной социальной философией и общей социологической теорией выработана парадигмальная основа исследования общества, не только дающая, на наш взгляд, наиболее глубокие и точные ответы на многие вопросы, но и способствующая выявлению самой сущности общества. Такой парадигмой является деятельностный подход в его современной интерпретации, который современной социальной философией рассматривается как объяснительный принцип всех социальных явлений и процессов. К нему следует добавить небезызвестный системный подход, дающий возможность рассмотреть общество как целостную систему. Познавательная эффективность данных подходов весьма значительна, именно поэтому нередко в научной и учебной литературе можно встретить термин «системно-деятельностный подход», который, собственно, и означает использование при анализе социальных явлений и процессов совокупной методологии системного и деятельностного подходов, позволяющей сделать такую исследовательскую матрицу, как объяснительный принцип общества и всех происходящих в нем процессов.

Рассматривая общество в целом либо как систему, состоящую из различных частей и подсистем, мы, независимо от угла зрения и научной основы исследования, всегда наблюдаем одну и ту же картину, а именно наличие совокупности действий (деятельностных актов и деятельностных рядов), их определенной последовательности, подчиняющейся определенным правилам, а также их результатов, которые являются не чем иным, как результатами процесса совместной деятельности людей. Наблюдаемая совокупность действий может выглядеть разнообразной по характеру, по способам и целям действий, по применяемым средствам, по полученным результатам и так далее. И это «поверхностное» впечатление не является обманчивым, потому что общество и есть *деятельность* преследующего

свои цели человека. Именно деятельность является способом существования всего окружающего нас социального, иными словами, деятельность — это способ, которым существует общество. Исходя из вышесказанного, можно утверждать (по крайней мере, хотя бы в виде предварительной гипотезы), что субстанцией общества, глубинной сущностью социальной жизни выступает именно процесс совместной деятельности людей, которая является предельной основой социального как такового, определяющей все остальные его ипостаси, формы и содержание. Именно поэтому социальная деятельность обуславливает все категории и понятия всего предметного поля социально-гуманитарных наук, в котором ни одна категория не может быть обусловлена и определена ничем, кроме социальной деятельности, из которой она выводится тем или иным способом. «Короче, во всем „пространстве“ социального не окажется ни одного явления, которое не представляло бы собой некоторую „ипостась“ деятельности. В мире социального она подобна углероду, который „прячется“ за внешне противоположными алмазом и графитом, составляя в действительности их „тайную сущность“ или собственно субстанцию...» [2. С. 163]. Такое понимание сути современного деятельностного подхода к исследованиям социальной действительности позволяет говорить о том, что данный подход обладает всеми признаками, необходимыми для объяснительного принципа не только всех социальных процессов и явлений, но и общества в целом.

Таким образом, охарактеризовав общество как *«организационную форму деятельностного воспроизводства социального»* [3. С. 97], мы можем выделить четыре основных типа совместной активности людей, представляющих собой основные контуры всей системы деятельности. Для самостоятельного и самодостаточного существования социума данные типы совместной активности людей являются необходимыми, так как целиком и полностью включают в себя все разновидности, формы и способы активности людей, которая направлена не только на сохранение всех форм социального, но и на производство новых. Эти четыре основных типа деятельности образуют общеизвестные четыре сферы социального: духовную, организационно-управленческую (которую часто и некорректно называют политической), социальную и материально-производственную (называемую опять же некорректно экономической).

Эти четыре типа совместной деятельности людей и образуют, как мы видим, общество, являющееся некой целостной субстанциальной системой, разделенной на ряд функциональных подсистем (систему можно считать субстанциальной в случае отсутствия у нее внешней заданности ее качества). Общество, как рассматриваемый нами объект аналитической рефлексии, есть именно такая система, так как следуя рационалистической традиции, можно утверждать, что не существует никакого внешнего источника воздействия, который бы был, во-первых, причиной возникновения, развития и дальнейшего существования общества, а во-вторых, указывал и задавал бы ему те или иные векторы функционирования. При этом подсистемы, образующие структуру общества, которые можно квалифицировать как совокупность отдельных самостоятельных систем, объединенных при этом в единую более широкую систему общества, являются функциональными, так как их функции и роли в этой самой более широкой системе общества задаются именно этой самой более широкой системой, то есть обществом как таковым.

Вышеназванные четыре основных типа совместной деятельности людей, нашедшие свое выражение в четырех соответствующих им сферах общественной жизни, воспроизводятся в процессе исторического развития в любом конкретном типе общества, образуя при этом подсистемы, или сферы общественной жизни данного исторически конкретного социального организма. Независимо ни от исторического периода, ни от формы собственности, ни от правящих элит и типа общественных отношений «производство опредмеченной информации образует духовную сферу общества, создание и оптимизация общественных связей и отношений — его организационную сферу, производство и воспроизводство непосредственной человеческой жизни — социальную сферу, и, наконец, совместное производство вещей образует его материально-производственную сферу» [2. С. 163].

Однако такого рода определения как общества, так и его отдельных сфер, являются весьма абстрактными и для дальнейшей оптимизации исследования общества нуждаются в последующей конкретизации. Определив деятельность как главную, *сущностную* характеристику общества, мы тем самым утверждаем, что все, что имеет отношение к обществу, охвачено именно деятельностью, ибо она, как сущность, проявляется абсолютно во всем, что нас окружает, во всех социальных и социетальных процессах и явлениях. Воспринимается сразу это довольно не просто, потому что на уровне обыденного сознания понятие деятельности у людей ассоциируется с какой-нибудь трудовой активностью или, в самом широком смысле, просто с активностью. Однако это не совсем верное понимание такого сложного феномена, как деятельность, которая имеет очень сложную структуру и самые разнообразные и сложные формы. Та форма, в которой, как правило, она и воспринимается обыденным сознанием, является *актуальной* деятельностью, то есть осуществляющейся в данном пространстве и в настоящем времени. Но существует еще такой сложный вид, как *опредмеченная* деятельность, которая представляет собой совокупность всех продуктов и результатов предыдущей актуальной деятельности. Опредмеченная деятельность, рассматриваемая как совокупность продуктов прежней актуальной деятельности, выступает либо как условия, либо как средство осуществления актуальной деятельности. Основными и определяющими весь процесс структурными элементами деятельности являются субъект и объект деятельности, считающиеся базовыми элементами именно потому, что они присутствуют во всех без исключения деятельностных рядах и деятельностных актах.

Субъект деятельности — это лицо или группа лиц, реализующих собственную программу. Субъект является важнейшим звеном любой деятельности, ибо именно ему принадлежит право целеполагающей деятельности. Иными словами, субъект по своему собственному усмотрению ставит цель и определяет набор средств для ее достижения. Проблема выявления субъекта самая важная и основополагающая при осуществлении анализа любых социальных актов, явлений и процессов, всего, что так или иначе связано с обществом, потому что только выявление субъекта указывает на то, кому нужны, важны и выгодны результаты данной деятельности. Это, соответственно, дает возможности выявить возможные варианты развития любого процесса, а также спрогнозировать его последствия, потому что все это становится очевидным при определении субъекта и целей его деятельности.

Вся сложность этого процесса заключается в том, что абсолютно любой носитель сознания, то есть психически адекватный человек, обладает способностью быть субъектом, то есть осуществлять целеполагающую и целереализационную активность. Именно поэтому в научной литературе идут нескончаемые споры по поводу того, всегда ли человек выступает как субъект или не всегда. Однако с точки зрения методологии деятельностного подхода этот спор может быть довольно легко разрешен, стоит только осознать, что человек как носитель сознания обладает способностью быть субъектом, но становится он им лишь тогда, когда оказывается включенным в тот или иной деятельностный ряд. Если, например, человек обладает великолепными вокальными данными, то это же не означает, что он уже оперный певец, он просто обладает способностью, которая в случае ее реализации может сделать его оперным певцом. Точно такая же ситуация и со способностью быть субъектом деятельности. Потенциальный субъект еще не есть субъект деятельностного акта или ряда. В связи с этим часто случается ситуация, когда любого участника той или иной деятельности называют субъектом, в то время как он может являться и объектом, и средством, и условием именно данной деятельности, а в другом деятельностном ряду он может быть субъектом.

Субъектно-объектный анализ деятельности очень информативен при исследовании любых социальных процессов. Возьмем, например, сферу услуг [4]. На первый взгляд кажется очевидным — оказание услуг есть субъектно-субъектное взаимодействие оказывающего услугу и потребляющего ее. Более того, с инструментальной точки зрения это именно так и выглядит.

Однако при более глубоком анализе все оказывается совсем не так просто. Представьте, некая строительная компания строит детские площадки. Получается, что у данного субъекта такая огромная потребность в детских площадках, и что его конечная цель — построить их как можно больше? Вовсе нет. Его цель — получение прибыли, а площадки — лишь средство достижения данной цели. До тех пор, пока для потребителя будут актуальны площадки, строитель будет их строить, но как только строительство перестанет приносить прибыль, строитель перекалфицируется в производителя либо продавца лекарств, книг, одежды — то есть, чего угодно, что, желательно в рамках закона, удовлетворит его потребность в прибыли [4. С. 18].

На этом примере мы видим, что оба участника производства-потребления площадок являются субъектами, но в *разных* деятельностных рядах, существующих одновременно — потребитель есть субъект удовлетворения потребности в детском отдыхе, а производитель — субъект производства собственной прибыли и удовлетворения потребности в ней, и для каждого из них другой является одним из средств достижения цели и удовлетворения собственной потребности. Однако, посмотрев внимательно на такое несложное действие, как строительство детской площадки, которое мы рассмотрели как относящееся к социальной сфере по причине того, что это своего рода услуга, можно заметить, что само инструментальное действие, протекающее в режиме реального времени, охватывает собой

не только и даже не столько социальную сферу совместной деятельности людей, но и другие сферы. Что такое сами предметы, установленные на детской площадке? Это не что иное, как продукт материального производства, то есть материально-производственной сферы общества. А проект, по которому строилась площадка? Со всей очевидностью понятно, что это продукт проектной деятельности сознания, то есть духовного типа совместной деятельности людей, или духовной сферы. И, наконец, вся организация, согласование документов и все прочие транзакции, совершенные для того, чтобы площадка была построена, представляют собой продукт организационно-управленческой сферы. В итоге даже по результатам анализа такой простой и, казалось бы, незамысловатой деятельности мы можем прийти к выводу о том, что любое совершенное человеком действие включает в себя как опредмеченную, так и актуальную деятельность, относящуюся ко всем сферам общества, и, следовательно, является пересечением нескольких деятельностных рядов, за которыми стоят субъекты с их целями и средствами достижения этих целей.

Таким образом, из приведенного примера мы видим, что выявление субъектов деятельности при анализе типов деятельности и сфер общества, во-первых, дает возможность выявить истинные причины происходящих событий и этим оптимизировать производство и потребление продуктов всех типов деятельности, составляющих единую систему общества и определяющих его структуру, и, во-вторых, с очевидностью указывает на онтологическое единство и взаимовлияние всех сфер общественной жизни.

После выявления основных структурных элементов деятельности и определения ведущей роли субъекта во всем деятельностном ряду представляется необходимым рассмотреть все элементы деятельности, характеризующие самого субъекта. Важнейшими в этом ряду являются побудительные мотивы деятельности и ценности субъекта.

К побудительным мотивам относятся потребности и интересы. *Потребность* — это полагание отсутствующего необходимым, *интерес* — это способ реализации потребности.

Побудительные мотивы даже в самом примерном рассмотрении имеют весьма сложную и с трудом поддающуюся изучению структуру, сложность которой заключается именно в абсолютной их субъектности, предопределяющей субъективно-психологическую матрицу как формирования, так и проявления потребностей и интересов. Однако мы все же можем группировать потребности по некоторому принципу, определяющему их важность в жизни человека.

Существуют первичные потребности, или *базовые* — их удовлетворение в буквальном смысле необходимо для сохранения и продолжения жизни как таковой в прямом физическом смысле слова. К таким потребностям относится прежде всего то, что обеспечивает человеку пищу и жилище — это первичные потребности субъекта-индивида, а также сюда можно отнести необходимость роста народонаселения, защиты и безопасности людей и государства — это первичные потребности субъекта-общества, главной задачей которого является самосохра-

нение, ибо общество без людей представить просто невозможно. Ко вторичным потребностям относят не то, от чего зависит жизнь, а то, от чего зависит качество и уровень жизни. Сюда относятся потребности культуры, образования, здравоохранения, а также все, что связано с духовными, коммуникационными потребностями и с потребностями престижа.

Если первичные потребности заложены в человеке самой природой, то вторичные формируются под влиянием ценностей, которые мы определим как *конечные основания целеполагания субъекта*. Иными словами, потребности субъекта в образовании, культуре, общении, престиже зависят прежде всего от его системы ценностей, которая детерминирует целеполагающую деятельность субъекта, ориентируя ее в том направлении, которое для него является ценностно значимым. Ценности и есть те отправные точки, те конечные основания и значимости, которые определяют цели субъекта и подчиняют их достижению все имеющиеся в его распоряжении средства. При этом деятельностная активность субъекта будет ориентирована сразу на несколько типов его совместной деятельности с другими субъектами со схожими ценностями и, соответственно, потребностями, ориентирована сразу на несколько сфер общества в зависимости от того, какие *интересы*, то есть возможности и способы удовлетворения потребностей он имеет в своем арсенале. В этом аспекте анализа сфер общества мы также можем наблюдать постоянное и глубокое взаимодействие всех сфер в зависимости от поставленных субъектом целей.

Немаловажным является также тот факт, что в различные исторические периоды и в различных социальных организмах ответственность за удовлетворение некоторых потребностей граждан берет на себя государство, которое, в силу того, что оно состоит из людей-носителей сознания, можно считать коллективным субъектом, целью которого является сохранение общества как такового. В этом в наибольшей степени проявляется взаимодействие и взаимовлияние всех сфер общества: социальный, духовный и материально-производственный типы деятельности просто невозможны без организационно-управляющего влияния на них, в свою очередь без социального вида деятельности, то есть без производства человека-субъекта не может осуществиться также никакой другой тип деятельности. Духовная деятельность производит духовные продукты, оказывающие огромное влияние прежде всего на формирование ценностей, роль которых является наиважнейшей в любом процессе целеполагания.

Остается отметить, что материально-производственная деятельность, производящая материальные блага, дает базу и создает условия для всех остальных типов деятельности. В этом процессе взаимовлияния и взаимопроникновения типов деятельности и их продуктов друг в друга большая регулирующая роль отводится, как уже было сказано, государству. При этом участие государства в удовлетворении потребностей, например, социальных гарантий и поддержки государством пенсионеров, инвалидов, малоимущих, является своего рода индикатором уровня развития и цивилизованности любого общества — если при этом в обществе имеются, например, хорошие возможности образования, поддерживаемые государст-

вом, то это с очевидностью свидетельствует о том, что удовлетворяются не только первичные, но и вторичные потребности граждан, что в очередной раз показывает высокий уровень социальной ответственности государства.

Следующим важнейшим элементом в структуре деятельности является *свобода*, понятая как способность субъекта контролировать условия *собственного* существования (именно как субъекта данного деятельностного ряда). С популярностью проблемы свободы в истории человечества может сравниться только две проблемы, такие же важные, сакральные и непостижимо трансцендентные — это проблема любви и проблема смерти. В этом контексте следует заметить, что тема свободы является равноположенной этим двум вечным темам. Если тема смерти интересует человечество как основная и базовая угроза его первичным потребностям, то есть сохранению жизни как таковой, тема любви интересует как надежда и шанс на счастье, то есть на максимально полное удовлетворение вторичных потребностей, то тема свободы интересует людей потому, что только свобода может дать человеку возможность состояться как субъекту деятельности и, следовательно, реализовать свой личностный и общечеловеческий потенциал. Субъект может состояться как субъект и достичь своей цели лишь в том случае, если будет обладать свободой, то есть сможет обеспечить и проконтролировать условия достижения поставленной цели. Если этого не будет, то и цель не будет достигнута и человек не состоит как субъект данного деятельностного ряда. Итак, свобода, выступающая как характеристика именно субъекта деятельности, есть базовое необходимое условие существования субъекта вообще любой деятельности, а, следовательно, и деятельности как таковой.

В парадигме системно-деятельностного подхода при анализе общества немаловажным является не только определение сущности общества и его структуры, но и рассмотрение его как целостной системы, состоящей из совокупности определенных подсистем — в данном случае типов совместной деятельности людей, или сфер, — каждая из которых выполняет свою функцию как по отношению к другим подсистемам, так и по отношению ко всей системе, то есть обществу в целом. Этот общеизвестный постулат, взятый в контексте анализа общества, представляет собой один из основных базовых элементов данного анализа. Взаимодействие и взаимопроникновение сфер общества происходит, во-первых, по причине многоаспектности побудительных мотивов субъектов деятельности, а, во-вторых, в силу функциональной детерминированности, то есть в силу того, что функция каждой из сфер играет определенную роль по отношению к другим сферам. Именно поэтому наблюдается высокая степень взаимопроникновения и пересечения деятельностных рядов всех сфер общества, каждая из которых включает в себя многие продукты деятельности практически всех сфер и типов деятельности.

Однако такого рода онтологическое единство и взаимопроникновение типов совместной деятельности людей (сфер) приводит к довольно сложным гносеологическим последствиям, заключающимся в практической невозможности исследования общества одной конкретной наукой. Это явилось причиной того, что изуче-

ние любой сферы общества носит междисциплинарный характер, сами сферы выступают объектами изучения политологии, логики, статистики, экономики, религиоведения, теории социального управления, культурологии, истории, социологии, социальной психологии, лингвистики, языкознания, биологии, медицины и даже математики. Объединяющим методологическим началом такого рода широкого междисциплинарного подхода к изучению общества выступает социальная философия как общая методология социально-гуманитарных наук, предоставляющая возможность научного видения объекта исследования через призму всеобщего.

«Вторая половина двадцатого века была ознаменована очередной научной революцией и вступлением науки в постнеклассический этап развития с его новой рациональностью гуманитарного антропоморфизма, поставившего в центр исследовательских интересов человека и его ценности. Наукой, наряду с изучением объективно существующих параметров исследуемых объектов и применением соответствующих этому методов, стали применяться методы, основанные на аксиологическом (ценностном) подходе к анализу изучаемых явлений. Под воздействием этого существенно изменилась и социальная реальность современного мира, что не могло не сказаться на методах изучения общества как целостной системы и его структурных частей. Все чаще в исследовании различных сфер наряду с традиционными количественными методами стали применяться качественные методы, причем характерные не только для теоретического, но и для метатеоретического уровня различных наук. Характерная для исследований такого рода междисциплинарность привела к применению в ее изучении методов различных наук — экономики, психологии, политологии, философии, логики, математики, статистики, социологии и даже лингвистики» [4. С. 18].

В парадигмальном поле деятельностного подхода при рассмотрении структуры общества с позиций разделения его на типы совместной человеческой активности мы выделили четыре типа (сферы), которые составляют в итоге структуру общества: материально-производственный тип, духовный, социальный и организационно-управленческий. Таким образом, производство человека есть производство потенциального субъекта деятельности. В результате такого смещения акцентов в общенаучном пространстве именно на человека, среди всего комплекса взаимодействия всех сфер и типов общества социальная сфера приобрела некое дополнительное звучание, ибо она «отвечает» за человека, за производство и воспроизводство человеческой жизни в буквальном смысле слова. Пришедшее осознание того, что важнее человека ничего не может быть, даже самого общества, привело современную науку к новым парадигмальным основаниям и, соответственно, к новым направлениям и методам исследования общества, важнейшим из которых является именно субъектный анализ, способствующий выявлению как формирования субъектов деятельности, так и их реализации во всех остальных сферах общества.

Таким образом, взаимодействие социальной сферы общества со всеми остальными сферами является тесным и принципиально необходимым для сохранения

общества как целостной системы, и проявляется это прежде всего в том, что и в производственно-материальной, и в духовной, и в организационно-управленческой сфере любая деятельность — это реализация целей того или иного субъекта, удовлетворяющего свои интересы.

Логикой нашего исследования следующая сфера, чья роль должна быть определена в структуре взаимодействия сфер общества — это производственно-материальная сфера, задача которой заключается в производстве предметов, представляющих собой одну из частей важнейшего структурного элемента деятельности — объекта деятельности. Нет необходимости подчеркивать огромное значение предметов и их производства в обществе, стоит только заметить, что предметы, то есть материальная база, является основой для удовлетворения первичных потребностей человека и важнейшим показателем развития любого общества, что и послужило основанием тому, что данную сферу часто называют экономической — и хотя это название не является корректным, однако сам его факт указывает нам на важнейшую роль, отводимую этой сфере общества, реализация которой позволяет в итоге обеспечить функционирование всех других сфер.

Следующим структурным звеном в системе деятельности общества выступает духовная сфера, продуктом которой является производство второй части объекта деятельности — символов.

С самых ранних этапов антропогенеза отличительной чертой становящегося человека являлось именно символическое отображение действительности в его сознании. Когда первая обезьяна взяла палку и при помощи ее достала банан, это была уже не инстинктивная активность, а проявление символически представленного результата в голове у этой самой обезьяны. С тех пор положение дел несколько изменилось, однако принцип остался прежним — любое действие человека происходит вначале в символах в его мозге, что, собственно, и дало возможность считать человека единственным носителем субъектности и потенциальным субъектом деятельности. Отражение всего окружающего мира, развитие науки, искусства, морали, религии, законов и даже эмоциональной сферы человека, то есть производство всех продуктов духовной деятельности — все это есть продукты такого совместного типа деятельности людей, как духовная сфера. Исходя из этого, очевидность ее влияния на все остальные сферы общества является необычайно высокой, основывающейся как на удовлетворении большинства вторичных потребностей, так и на обеспечении всей проектной и ценностной деятельности. На современном этапе развития общества это приобретает особую актуальность в связи с тем, что «XXI век — век становления и развития новой экономики, экономики, основанной на знаниях и духовно-нравственных ценностях» [1. С. 7].

Четвертый тип совместной деятельности людей выступает как организационно-управленческая сфера, представляющая собой *деятельность по созданию и оптимизации общественных связей и отношений* и состоящая из двух частей — непосредственно управления, состоящего, в свою очередь, также из двух частей — политического управления (направленного на установление внешних отношений, из-за чего всю организационно-управленческую сферу иногда некорректно называют политической сферой), и административного управления, направленного

на решение внутренних проблем, и коммуникации, понятой в данном контексте как установление связей. Субъектом такого рода управления выступает государство, которое является своего рода коллективным субъектом, которому всеми гражданами общества делегированы такие права (эта проблема, механизм ее осуществления подробно и аргументировано раскрыты в философии Нового времени как тема «общественного договора»).

Задачей организационно-управленческой деятельности является производство и сохранение всех общественных связей, позволяющих сохраняться обществу как целостной системе. Это относится практически ко всем видам субъектно-объектных общественных связей, гарантирующих стабильность его функционирования и обеспечивающих дальнейшее развитие.

Основным механизмом, обеспечивающим возможность осуществления как управления, так и контроля, является власть, выступающая в форме отношений руководства-подчинения. Однако в современном информационном обществе активно практикуются такие формы управления, которые не требуют ни официальных легитимно установленных отношений руководства-подчинения, ни облечения субъекта управления властными полномочиями. К таким формам можно отнести все способы управления электоральным и потребительским поведением, управление массовым сознанием в условиях информационной войны, управление принятием политических решений при помощи лоббизма, иными словами, все виды психологического манипулятивного воздействия на сознание людей с целью их ориентации в направлении, заданном субъектом данной деятельности и т.д. «Очевидно, что отсутствие легальных властных полномочий должно компенсироваться наличием иных ресурсов, дающих субъектам такого типа управления возможность реализовать свои потребности по достижению намеченной цели. В качестве таких ресурсов выступают, во-первых, материальные ресурсы, в том числе финансы, во-вторых, информационные ресурсы, в том числе используемые в целях управления коммуникативно-технологические средства, в-третьих, интегрированные маркетинговые коммуникации» [4. С. 19]. Таким образом, организационно-управленческая сфера, как и все остальные три сферы, являет собой базовую структуру общества, осуществляя единую координацию, управление, сохранение и воспроизводство всех связей, необходимых для сохранения общества как целостной системы.

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать вывод, что функция каждой структурной единицы общества, рассматриваемой как подсистема, направлена на выполнение ее роли как по отношению к другим таким же структурным единицам (подсистемам, сферам), так и по отношению к обществу в целом. Анализ общества и его подсистем, понятых как типы (сферы) совместной деятельности людей, с применением парадигмальных основ деятельностного подхода дает возможность использовать высокий потенциал данного подхода как объяснительного принципа общества и происходящих в нем процессов, выявить его главную субстанционально-сущностную основу и определить основные закономерности его развития, основанные на тесном взаимодействии всех сфер.

Таким образом, анализ системы современного общества с применением макросоциологических и социально-философских методов ведет к более глубокому пониманию не только всех видимых социальных явлений и процессов, но и способствует вскрытию глубинных сущностных механизмов, лежащих в основе жизнедеятельности любого общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] Жильцов Е.Н., Казаков В.Н. Экономика социальных отраслей сферы услуг. М.: ТЕИС, 2007.
- [2] Момдэян К.Х. Социум. Общество. История. М.: Наука, 1994.
- [3] Момдэян К.Х. Введение в социальную философию. М.: Высшая школа, КД «Университет», 1997.
- [4] Науменко Т.В. Социальная сфера и ее роль в современном обществе // Экономика и управление: проблемы, решения. 2011. № 1.
- [5] Стратегия-2010: Новая модель роста — новая социальная политика. Итоговый доклад о результатах экспертной работы по актуальным проблемам социально-экономической стратегии России на период до 2020 года. Кн. 1; 2 / Под ред. В.А. Мау, Я.И. Кузьмина. М.: Дело, РАНХиГС, 2013.
- [6] Шоул Дж. Первокласный сервис как конкурентное преимущество. М.: Альпина Паблишер, 2013.
- [7] Экономика и управление социальной сферой / Под ред. Е.Н. Жильцова, Е.В. Егорова. М.: Дашков и К, 2015.
- [8] Algashaam N.M. Teamwork vs. individual responsibility // International Journal of Scientific & Engineering Research. 2015. Vol. 6. No. 10.
- [9] *Going Social with the Systems Approach. The Significance of Social Dynamics as a Social Determinant of Health.* Toronto: Wellesley Institute, 2016.
- [10] Slocock C. Whose society? The final big society audit // Civil Exchange. 2015. January.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-373-386

INTERACTION OF DIFFERENT SPHERES OF SOCIETY AS TYPES OF PEOPLE'S JOINT ACTIVITY*

T.V. Naumenko

Lomonosov Moscow State University
GSP-2, Leninskie Gory, Moscow, Russia, 119992
(e-mail: t-naumenko@yandex.ru)

Abstract. The article considers one of the most urgent and topical issues for the contemporary sociology — how to study society and its constituent parts. There are many interdisciplinary and special studies of the issue; however, to understand the nature of society we are to apply methods of both general sociology and social philosophy for the latter enriches social science with a new perception of the object under study through the prism of its universal features. The author proposes to conduct social analysis with the methods of system and activity approaches as the principles explaining both different social processes and society as a whole. These methods also reveal the nature of society as based on the activities of people pursuing

* © T.V. Naumenko, 2017.

their goals. The article focuses on the specificity of social relations and their differences from natural phenomena, the value measurement of social facts and their subjective nature, freedom as a human ability to control external conditions in pursuing individual and collective goals. When considering the structure of human activity and its key components, the author identifies four types of collective activity according to the well-known spheres of social life, and revises the categorical apparatus of social analysis. The author explains why it is incorrect to consider the economic sphere as a separate structure for there are economic elements in all spheres of society; shows the mechanism of interaction of all types of collective activity and spheres of society, their interconnection and mutual influence; identifies some ways to study society with the system-activity approach; emphasizes the importance of revealing ontological and epistemological grounds at the very beginning of the social processes study to optimize its course and methodology.

Key words: society; social processes; social philosophy; activity; explanatory principle; types of collective activity; spheres of society; interaction

REFERENCES

- [1] Zhiltsov E.N., Kazakov V.N. *Ekonomika social'nyh otraslej sfery uslug* [Economics of Social Services Industries]. Moscow: TEIS; 2007. (In Russ).
- [2] Momdzhjan K.H. *Socium. Obshchestvo. Istorija* [Socium. Society. History]. Moscow: Nauka; 1994. (In Russ).
- [3] Momdzhjan K.H. *Vvedenie v social'nuju filosofiju* [Introduction to Social Philosophy]. Moscow: Vysshaja shkola, KD «Universitet»; 1997. (In Russ).
- [4] Naumenko T.V. Social'naja sfera i ee rol' v sovremennom obshchestve [Social sphere and its role in the contemporary society]. *Ekonomika i upravlenie: problemy, reshenija*. 2011. No. 1. (In Russ).
- [5] *Strategija-2010: Novaja model' rosta — novaja social'naja politika* [Strategy-2010: New Growth Model — New Social Policy]. Itogovyj doklad o rezul'tatah ekspertnoj raboty po aktual'nym problemam social'no-ekonomicheskoy strategii Rossii na period do 2020 goda. Kn. 1; 2 / Pod red. V.A. Mau, Ja.I. Kuzminova. Moscow: Delo, RANHiGS; 2013. (In Russ).
- [6] Tschohl J. *Pervoklassnyj servis kak konkurentnoe preimushhestvo* [Achieving Excellence Through Customer Service]. Moscow: Al'pina Pabliher; 2013. (In Russ).
- [7] *Ekonomika i upravlenie social'noj sferoj* [Economics and Social Management] / Pod red. E.N. Zhiltsova, E.V. Egorova. Moscow: Dashkov i K; 2015. (In Russ).
- [8] Algashaam N.M. Teamwork vs. individual responsibility. *International Journal of Scientific & Engineering Research*. 2015. Vol. 6. No. 10.
- [9] *Going Social with the Systems Approach. The Significance of Social Dynamics as a Social Determinant of Health*. Toronto: Wellesley Institute; 2016.
- [10] Slocock C. Whose society? The final big society audit. *Civil Exchange*. 2015. January.



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-387-398

TECHNOPARKS AND SCIENCE-INTENSIVE PRODUCTION: AN ADVANCED EXPERIENCE*

I.O. Tyurina¹, A.V. Neverov², M.A. Ulyanychev²

¹Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences
Krzhizhanovskogo St., 24/35-5, 117218, Moscow, Russia

²RUDN University (Peoples' Friendship University of Russia)
Miklukho-Maklaya St., 6, 117198, Moscow, Russia

(e-mail: irina1-tiourina@yandex.ru; neverov_av@rudn.university.maks.76maksim@mail.ru)

Abstract. The development of science-intensive technologies is crucial for the social and economic stability of the nation. The current technological system calls for a unification of scientific and technological approaches in the innovation-driven development. The introduction of innovations is necessary for modernization of the national economy and for making Russian companies more efficient. Without the constant development of science and education, there is a threat of social and cultural stagnation; while the world trend of changing and improving the production involves the emergence of new formats of economic interaction in which the science-intensive and convergent technologies play the key role. The science-intensive development requires the full-fledged institutional interaction, the joint activity of stakeholders, i.e. the development of special territories where economic, infrastructural and social-cultural conditions allow the introduction of new technologies. Technoparks represent one of the most popular formats of such territories. Today the Russian Federation has several technoparks. However, their work is not always satisfactory and needs optimization, especially for the greater efficiency of the science-intensive technologies. To identify the most effective ways of upgrading the Russian technoparks, the authors studied the experience of 12 most successful technoparks abroad, and make recommendations for improving the management system of technoparks and enhancing their scientific and innovative activities. The article describes the features of science-intensive technologies; the challenges the innovative organizations face; the role of technoparks in ensuring the growth of the innovative potential of the state; the formats and structure of technoparks as well as the recommendations for making them more effective in developing science-intensive technologies. The article also presents the results of the studies of the Russian technoparks over the last ten years. The authors try to identify the main methods for optimization and modernization of technoparks to increase their role in the innovation-driven development of the state.

Key words: technoparks; science-intensive technologies; NBIC-convergence; innovations; business incubators; national innovative strategy

The development of new technologies is a diverse and multi-directional process, which makes them difficult to study. The participants in the 2016 *Consumer Electronics Show* (hereinafter CES) noted the lack of truly groundbreaking solutions in the technologies presented by the leading world producers [34]. The experts were critical about the results of the show and mentioned the stagnation in the sphere of innovative solutions. The reaction to CES 2017 [35], despite the similar situation with the products

* © I.O. Tyurina, A.V. Neverov, M.A. Ulyanychev, 2017.

The research was carried out at the expense of a grant from the Russian Science Foundation (project No. 16-18-10420, “Continuing education and science-intensive production: institutes and practices of interaction”) at the Institute of Sociology of the Russian Academy of Sciences.

on display, was more optimistic: the majority of experts agreed that the producers still developed new technologies, but changed the vector of their activities. Thus, one innovative cycle ended and the next one began, which altered the public perception of innovations. A year ago, the experts were skeptical due to the slowdown of the development of consumer technologies, today they consider the same process as the start of a new wave of developments. This example shows that the task of introducing a universal methodology for assessing the innovative development is complex and a long way away from a satisfactory solution.

Moreover, the term *innovation* is multi-faceted and can be defined as: a new object [14], idea [27], technology, function [29], method of organization or action [18], managerial solution [1], implementation of a new idea, marketing a new product, change of the social environment [24], form of communications [30], a knowledge-building process [21], a new standard, the creation and introduction of a new object, etc. Today qualitative rather than quantitative characteristics of innovations become more important. In the field of consumer technologies, the quality means the possibility of the user's technological solution interaction with other technologies or devices used by him and people around him; user-friendliness, degree of protection, self-learning capacity, etc. In the fundamental research, it is more difficult to identify specific directions of development, but one can identify the need to combine activities of different sciences and for more effective interaction with social and economic systems that influence the innovative development. Consumer and fundamental innovations are interconnected, thus, considering the impact of social-cultural and economic factors on innovations, one can say that innovative processes are to be studied in terms of institutional interaction.

Theoretical models and applied research of the innovative processes often rely on the 'collateral' aspects, such as the efficiency of the auxiliary personnel engaged in the production of new technologies (not the developers, but financiers, suppliers, public relations managers, etc. involved in the project), bureaucratic barriers, legal and normative acts (in the international projects) and so on. 'Collateral' aspects are often as important as the technology and knowledge [7]. They usually depend on the degree of diffusion of new technologies in the economic, social-cultural and/or legal spheres of life. The researchers as a rule distinguish *economic* and *social diffusion*. The economic diffusion indicates the possibility of introducing new technology in the production sphere, financial sector, markets and consumer sphere. The social diffusion is the degree to which new technology penetrates in the social-cultural environment and social relations.

Russia's current position in the International Innovative Activity Rating is not high [11]. However, in assessing a country's innovative activities and potential, in addition to the ratings (which is an aggregated indicator) one has to look at the absolute numbers as well. For example, in 1981 there were about 110,000 applications for patents (1), while in 2015, the Rospatent accepted 45,500 applications for registration of inventions, and more than 16,000 of them were filled out by foreigners (2); the majority of patents registered not the new technologies developed in our country, but the already existing innovations the foreign organizations produce in Russia. In other words, *thrice less inventions* were made in contemporary Russia than in the RSFSR. And it is not the finished product that is registered but *an application*, i.e. an attempt to register an intellectual property object that can become a product [23]. That is why one of our coun-

try's priority tasks in the coming years is building up a high-technology potential and breaking into the leading international technological markets dominated by the science-intensive and converging technologies (including NBIC) [26].

The investments in new developments in the Russian Federation in conventional measures is comparable to those in the countries with a high rate of new technologies [32]; thus, there are institutional problems in the system of managing science-intensive technologies at every stage in their development and diffusion. These problems cannot be regarded as a derivative of the 'transition period', a consequence of economic problems, an impact of sanctions, etc., because this situation has prevailed for over a quarter of the century, while the innovative stagnation does not slow down despite the efforts of the state and society. Thus, development of the country's technological potential is not only a problem for the science, education, government, etc., but also a symptom of global flaws in the interaction of social institutions. To solve this problem we need a comprehensive and systemic approach to the analysis of institutional processes.

INNOVATIVE DEVELOPMENT UNDER THE CONTEMPORARY CONDITIONS

The nowadays innovation trends (both in fundamental and consumer fields) are closely linked with convergence. All sophisticated technologies hinge on interaction with other technologies, which requires a high level of cooperation and trust between developers, investors, supervisory bodies, markets, consumers and society as a whole. The relations between business and science organizations are of a particular importance for many private companies have already made great strides in creating innovative products and services. The innovative science-intensive technologies are costly and require time with a relatively low chance of returning the investments and making a profit. Though innovative products yield significant advantages for an organization, the development and introduction of the novelty, on the contrary, makes the company's social-economic system less stable and increases risks. There are several reasons for that: analytical instruments cannot provide reliable forecasts of the payback of a new technology; it is not always clear to what extent an organization is ready to produce or introduce innovations; there are problems with innovation diffusion; the consumer may react to a new product/service in an unexpected way; the competition may use some experience of the innovative company practically for free.

The following factors are key for the innovative development: infrastructure characteristics; communication between stakeholders; social-cultural aspects of interaction. These factors, as well as the attributes of the contemporary technological system (3) [17] and social-economic relations, require to develop areas where the infrastructure, communications and cultural interaction ensure an effective process of developing new forms of products, services and business, such as *technoparks*. The model of technopark was introduced about 60 years ago at Stanford University. Under *Frederick Terman's* guidance the university leased some of its land to high-tech companies interested in buying and using the university's intellectual developments and in bringing undergraduates and graduates into the project. The main feature of this approach was the requirement of commercial profitability. The model provided a prototype for many high-tech companies (4) and later formed the basis of the *Sylicon Valley* technological center [16].

Subsequently the industrial parks were created in Europe (France, Belgium, etc. in the 1970s) [33], North and South America, Asia, Australia (Canada, Brazil, Singapore, Malaysia, India, Japan, etc. in the 1980s and 1990s) [10; 22] as well as in the former Soviet Union (Russia, Belorussia, Uzbekistan, Ukraine, etc. in the 1990s—2000s) [4; 12; 15]. Today there are more than 1000 industrial parks across the world, up to 60% of them are in the USA (more than 30%) and Europe (more than 30%); they rapidly develop in Asia and South America. According to the international experience, it takes at least 10 years to launch a fully-fledged industrial park and 20—40 years to gain international recognition [20. P. 20; 28].

THE STRUCTURE AND FUNCTIONS OF THE TECHNOPARK

To identify the types of technoparks one must have a clear idea of their purpose. Though the scientific definitions of the term ‘technopark’ are similar, the interpretations of their mission vary. For example, a technopark connected with the production can be called ‘an industrial park’, connected with the entrepreneurship — ‘a business incubator’, with science — ‘a science city’ or ‘a research park’. Without going into terminological issues, let us proceed from the broad meaning of the technopark (including all other meanings) and identify two main approaches to the mission of technoparks. According to the first approach, a technopark is an organization aimed at developing innovative technologies. Commercialization of developments is welcome, but in establishing a new technopark innovations, innovative characteristics, engagement in research and development (R&D) are the key features. According to the other approach, the main aim of technoparks is to boost competitive advantages and business efficiency through science-intensive, converging and innovative technologies. This is the ideology of the International Association of Science Parks (5). Today two types of technoparks are sometimes combined, for example, technoparks incorporate business incubators to develop small innovative enterprises (hereinafter SIEs), which makes them more viable [5] (6).

We believe that the classification of technoparks by the ‘science for business’ or ‘business for science’ principle is necessary, so we identify the following types of technoparks: created as regional development instruments; to speed up the development of an economic cluster; to develop science-intensive, converging and innovative technologies. The activities of most technoparks involve the state, so the mission and aims of technoparks depend to a large extent on the national innovation strategy of the host state. The analysis of the peculiarities of national innovation strategies together with the aims of technoparks reveals the following trends: the strategy of accumulating experience to study and use the entire range of technologies, cases, mechanisms and instruments available on the international markets before creating a new unique technological system; the strategy of copying the best technologies — the most successful technological solutions are copied, the production according to these technologies is launched as quickly as possible; the strategy of building up and developing unique technologies with the minimum use of international experience. These strategies are not mutually exclusive for they represent the main trends in the development of innovations at the state level.

The formation of the system of interaction with stakeholders is an important aspect of technoparks' activities. Usually the main stakeholders of a technopark are [2]: science and research centers; universities and government agencies; investors and clients; international partners and suppliers; business and production; professional associations and non-governmental organizations, etc. The majority of technoparks cooperate with universities [31], but some do not forge durable links with the higher education institutions.

Once the mission, goals, communications with the stakeholders as well as the production and business processes are set, it is possible to form the structure of a technopark that consists of two main areas: production and services [3; 8]. *The production structure includes*: production space and workshops; office space; test areas; lab complexes, computer and analytical resources and data centers; conference rooms, press centers and premises for various events; internet resources, portals, etc. *The service structure includes*: consulting structures; financial and credit systems; information system; marketing and advertising system; head-hunting and human resource development system; logistical center; storage facilities; technical services and life-support system, etc. Such an approach to the structure of technoparks is theoretical-descriptive rather than practical because technoparks can modernize and change their systems. The technopark format depends on a number of factors, so a comprehensive analysis would use the following criteria that define a technopark's structure: territory format; the size of space and premises; the number of enterprises; property structure; management system; technopark architecture; the criteria for admitting residents; availability of services, etc.

Technoparks have been working in the Russian Federation for about 25 years (7). They gave a boost to the development of some new technologies, but their activities do not always yield the desired results. There are studies seeking an answer to the question why these technoparks are not effective enough, but for the most part these studies assess the impact of technoparks on the regional economy or economic indicators. Though accepting the importance of these criteria let us note that in addition to the commercial results the scientific research function of technoparks is highly important. However many Russian technoparks turned into office centers and the activities of many companies within the technoparks are far from the creation of science-intensive technologies. This approach is effective as an instrument of assisting business, but the technopark model implies its use as a mechanism for enhancing innovative activities and for commercialization of R&D and not the development of business as such. Therefore, the activities of today's Russian technoparks need to be optimized with the focus on developing science-intensive technologies. Considering the urgent need to develop science-intensive and converging technologies in the Russian Federation and the growing practice of creating technoparks as mechanisms for innovative development and commercialization of R&D results, the improving management of technoparks at the organization, sectoral and institutional levels must become a priority. We analyzed the success stories of some international technoparks to identify for the most effective models of technopark activities and to offer recommendations for improving them.

TECHNOPARKS ACTIVITIES

We analyzed 12 organization in different countries to identify the key activities of today's technoparks. The technoparks selected for the analysis differ widely in terms of their activities, purposes, territories, managements and other features (see Table 1) [6; 13; 20].

Table 1

Features of the technoparks

Technopark	Characteristics
1. Research Triangle (USA)	Founded in: 1959
	Area: 2800 hectares (premises — 6,700,000 m ²)
	Number of employees: more than 52,000
	Number of organizations: more than 170
	Work with universities: active cooperation
	Admission criteria: organizations engaged in R&D (8) and production for experimental purposes; environment-friendly production
	Services: a wide range of outsource services and preferential lease rates
	Area of activity: the core activity is research in biological, medical and pharmaceutical technologies
2. Silicon Valley (USA)	State participation: support
	Founded in: started to work as a free zone in the 1950s—1960s
	Area: 2800 hectares (premises — 6,700,000 m ²)
	Number of employees: more than 250,000
	Number of organizations: more than 100
	Work with universities: active cooperation
	Services: residents can use a simplified taxation system and business preferences
	Area of activity: production and IT research
3. Lahti Science and Business Park (Finland)	State participation: government does not take part in running the technopark, but is a client of resident companies
	Founded in: 2008
	Area: 70 hectares (premises — 13,000 m ²)
	Number of organizations: more than 50
	Work with universities: universities take part in research activities and commercialization of technologies
	Admission criteria: preference to forestry companies that contribute to the social-economic development of the region
	Services: has a business incubator, offers preferential tariffs and a flexible rent payment
	Area of activity: information and communication technologies, biological, pharmaceutical and medical development and alternative energy sources; was established for developing the region, but ended up as a science center
4. Lakeside Science and Technology Park (Austria)	State participation: managing companies are limited liability companies with city municipalities holding the controlling stake
	Founded in: 2002
	Area: 22 hectares (premises — 28,000 m ²)
	Number of employees: more than 400
	Number of organization: 52 (of which 20 startups)
	Work with universities: universities play an auxiliary role and act as partners
	Admission criteria: IT companies
	Services: has business incubators, but does not offer extensive outsourcing services; prefers startups
5. Otaniemi (Finland)	Area fo activity: IT
	Government participation: is partly owned by the state and private organizations
	Founded in: 1949
	Area: 200 hectares (premises — 40,000 m ²)
	Number of organizations: more than 800
	Work with universities: universities take part in research procedures
	Admission criteria: prefers companies in forestry
	Services: has a business incubator, offers preferential tariffs and a flexible rent paying
Area of activity: electronics, alternative energy, environmental protection, forestry	
Government participation: is administered by government agencies and private organizations	

Table 1 Continuation

Technopark	Characteristics
6. Software-park Hagenberg (Austria)	Founded in: 1990
	Area: 200,000 m ² (premises — 15,200 m ²)
	Number of employees: more than 250
	Number of organizations: more than 50
	Work with universities: universities provide specialists and take part in joint research
	Admission criteria: IT
	Services: has two business incubators and offers a range of services (outsourcing) and a flexible rent paying
	Area of activity: software development and IT
7. Sophia-Antipolis Park (France)	Government participation: is owned by a private developer company in which the government holds a stake
	Founded in: 1969
	Area: 2400 hectares (premises — 1,100,000 m ²)
	Number of employees: more than 40,000
	Number of organizations: more than 250
	Work with universities: initially there was no university, but now it has extensive cooperation with the Nice University
	Admission criteria: companies that benefit the region and have environment-friendly production
	Services: has a business incubator and offers a wide range of services on the basis of outsourcing
8. Technologiepark Heidelberg GmbH (Germany)	Area of activity: social-economic development and diversification of the region towards biological, pharmaceutical and medical R&D as well as communication technologies and chemical research
	Government participation: part of the complex is privately owned (created by a person, but later supported by the government) and aimed at developing a property cluster; is managed by a state company, with some organizations engaged in development and commercialization
	Founded in: 1984
	Area: 5 hectares (premises — 50,000 m ²)
	Number of employees: more than 1400
	Number of organizations: more than 86
	Work with universities: universities form the core of the research base
	Admission criteria: companies engaged in biological research and environmental protection
Services: has a business incubator and offers a wide range of services through outsourcing; prefers startups	
9. Turku Science Park (Finland)	Area of activity: research in biology, pharmaceuticals and medicine
	Government participation: active financial support
	Founded in: 1988
	Area: 500 hectares (premises — 250,000 m ²)
	Number of organizations: 160
	Work with universities: universities take part in research and technology commercialization
	Admission criteria: forestry companies are preferred
	Services: has a business incubator, offers preferential tariffs and a flexible rent-paying scheme
Area of activity: social-economic development of the region and commercialization in the sphere of electronics, alternative energy sources, biological and pharmaceutical research	
10. Kechnec (Slovakia)	Government participation: is jointly owned by the state and private organizations
	Founded in: 200(?)
	Area: 80 hectares
	Number of employees: more than 1000 (more than 3000 jobs were created)
	Number of organizations: 19
	Work with universities: Technical University, Pavol Josef Safarik University and Veterinary Medicine University
Admission criteria: pharmaceutical, production organizations	
Services: logistical center, consultancy services	

Table 1 Continuation

Technopark	Characteristics
11. Kulim Hi-Tech Park (Malaysia)	Founded in: 1996
	Area: 1700 hectares (premises — 133,000 m ²)
	Number of employees: more than 18,500
	Number of organizations: 59 companies (of which 22 are production companies and 37 are auxiliary)
	Work with universities: interaction as part of innovative development
	Admission criteria: R&D companies that develop innovative technologies and production
	Services: has a business incubator and provides outsources services; companies use simplified taxation schemes and enjoy tax breaks
	Area of activity: specializes in developing electronics, biology, pharmaceuticals, medicine and also in research in physics and optics
Government participation: government plays a key role in management; much is owned by a managing company	
12. One-North (Singapore)	Founded in: 2001
	Area: 200 hectares (premises — 340,000 m ²)
	Number of employees: more than 3200
	Work with universities: universities play an auxiliary role
	Admission criteria: research in physics, biotechnology, R&D
	Services: more than 60% of the area is used by laboratories; some services are offered on the basis of outsourcing; simplified taxation is available
	Area of activity: development of science and innovations in the field of information and communications, medicine and physics
	Government participation: is government-owned

Based on the analysis of the activities and structure of the above technoparks the following recommendations can be made to improve the activities of technoparks in the field of science-intensive development:

- ◆ to select ‘at the entrance’ companies that are not engaged in active R&D;
- ◆ to offer financial inducements to resident companies to develop science-intensive technologies;
- ◆ to provide resident companies with research equipment and infrastructure;
- ◆ to encourage interaction of resident companies with science, education and business (including international structures) and government institutions;
- ◆ to actively commercialize scientific results.

To ensure effective commercialization of research results and large-scale investment the location of technoparks should meet the following requirements: availability of skilled labor; universities and other educational institutions (including the secondary professional education); an international airport and railway or waterway logistics (accessibility of a transport hub is desirable).

There is no direct correlation between the size of the technopark and its success. Today medium and small-sized techoparks prevail, but this is mainly due to the high costs of maintaining a large territory [19]. Most of the technoparks have government support. The architecture of most technoparks can be divided into two types: a structured territory with clear boundaries and a uniform style, and the chaotic type with no clear division of zones or requirements to the exterior and layout of buildings. Technoparks

on the structured territories have a wide range of services and more rigid criteria for resident status.

Modern technologies develop in cycles, but unevenly, which means that the sustainable innovative growth requires the support of flexible and responsive organization forms in the business engaged in developing new technologies. Innovative entrepreneurship is often exposed to substantial risks, and its survival depends on the institutional interaction mechanisms. One instrument for improving innovative entrepreneurship is the technopark for it allows not only to develop science-intensive technologies and convergence, but also to promote commercialization. Today the work of many Russian technoparks is focused on business at the expense of innovations. Technoparks, in addition to innovations, can aim at developing a region or an economic sector, but research initiatives are desirable as was proven by the analysis of 12 successful international technoparks. If this requirement is not met, the technopark fails its role as a role as driver of innovation and its work becomes ineffective.

Innovative organizations play a key role in the contemporary governance and social development. The mechanisms of creating companies that generate innovations require special social, economic and cultural conditions, and the world experience shows that the creation of technoparks still goes a long way to meet that requirement.

NOTES

- (1) According the Law of the USSR ‘On Inventions in the USSR’ (31.05.1991 No. 22131. http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18406.
- (2) According to the Rospatent data. http://www.fips.ru/sitgedocs/a_iz_akt_2015.pdf.
- (3) Sometimes also ‘innovation park’, ‘techno-pol’, ‘technological park’, ‘technological area’, ‘techno-zone’, ‘research park’, ‘techno-city’, ‘science park’, ‘IT park’, etc.
- (4) Hewlett-Packard, Electronic Arts, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo!, Cisco Systems, Silicon Graphics, Google, etc.
- (5) International Association of Science Parks. <http://www.iaspws>.
- (6) According to various sources, up to 90% of SIEs survive in technoparks with business incubators.
- (7) Without the science cities that work on such territories for more than 40 years.
- (8) Research and Development; sometimes a synonym of the Russian acronym *NIOKR*.

REFERENCES

- [1] Bestuzhev-Lada I.V. *Prognoznoe obosnovanie social'nyh novovvedenij* [Predictative Foundations of Social Innovations]. Moscow; 1993 (In Russ.).
- [2] Birzolov D.V. Innovacionnaya ekonomika strany i rol' tehnoparkov v nej [Innovative economy of the country, and the role of technoparks]. *Vestnik Leningradskogo gosudarstvennogo universiteta im. A.S. Pushkina*. 2012;1 (In Russ.).
- [3] Borisoglebskaya L.N., Yemelyanov S.G., Maltseva A.A. Razrabotka organizacionnoj modeli tehnoparka na osnove metodov proektnogo upravleniya [Developing the technopark organization model by the project management methods]. *Vestnik Chelyabinskogo gosudarstvennogo universiteta*. 2010;26 (In Russ.).

- [4] Burangulova R.N., Lavrova O.M., Khalikova D.A. Tehnoparki kak instrument razvitiya nauki i proizvodstva. Sravnenie opyta Germanii i Rossii [Technoparks as an instrument of developing science and production. German and Russian experience compared]. *Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta*. 2012;10 (In Russ.).
- [5] Butryumova N.N., Fiyaksel E.A. Tehnoparki kak element innovacionnoj ekonomiki [Technoparks as an element of innovative economy]. *Innovatsii*. 2009;1 (In Russ.).
- [6] Dubovitskaya L. Tehnoparki kak instrument ustraneniya regional'nyh razlichij soglasno rekomendaciyam Evropejskogo Soyuza [Technoparks as an instrument of eliminating regional differences according to the European Union recommendations]. *Nauchnyy dialog: Ekonomika. Pravo*. 2014;31 (In Russ.).
- [7] Dudnik A.S., Neverov A.V. Osobennosti ocenki gotovnosti social'noj sredy organizacii k izmeneniyam v processe upravleniya innovatsiyami [Assessment of the readiness of the social sphere of the organization for changes in the innovation management]. *Vestnik RUDN. Seriya: Gosudarstvennoe i municipal'noe upravlenie*. 2015;4 (In Russ.).
- [8] Frolov V.N. Organy upravleniya tehnoparkov, ih rol' v organizacii upravleniya [Technopark management bodies, and their role in organizing management]. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva*. 2012;2 (In Russ.).
- [9] Gavrilova Ye., Klimentova G. Deyatel'nost' tehnoparka Parco Scientifico Romano [The Activities of Parco Scientifico Romano technopark]. *Vestnik Kazanskogo tekhnologicheskogo universiteta*. 2012;2 (In Russ.).
- [10] Grasmik K.I., Kolesova A.A. Tehnologicheskij klaster v Bangalore: klyuchevye faktory razvitiya [Technological cluster in Bangalore: Key factors of development]. *Vestnik Omskogo universiteta*. 2014;2 (In Russ.).
- [11] Innovative Activity Indicators 2016. <https://www.hse.ru/primarydata/ii2016>.
- [12] Islamova O.A., Trostyansky D.V. Formirovanie innovacionnoj infrastruktury v industrial'nom komplekse Uzbekistana [Formation of the innovative infrastructure in the Uzbekistan industrial complex]. *Vestnik UGUEHS. Nauka. Obrazovanie. Ekonomika. Seriya: Ekonomika*. 2014;3 (In Russ.).
- [13] Karpov S.A. Upravlenie innovatsionnym razvitiem regiona na primere tehnoparka Francii [Management of innovative development of the region: the French technopark]. *Voprosy gosudarstvennogo i munitsipalnogo upravleniya*. 2012;3 (In Russ.).
- [14] Karpova Yu.A. *Vvedenie v sociologiyu innovatiki* [Introduction to Sociology of Innovations]. Saint Petersburg; 2004 (In Russ.).
- [15] Klyucharev G.A. Tehnologicheskaya kreativnost' sredy: Rossiya na fone drugih stran [Technological creativity of the environment: Russia compared to other countries]. *Sotsiologicheskaya nauka i sotsialnaya praktika*. 2015;3 (In Russ.).
- [16] Kochetkov G.B., Supyan V.B. Rol' universitetov v formirovanii innovacionnoj ekonomiki regionov (opyt SSHA i uroki dlya Rossii) [The role of universities in forming innovative regional economies (US experience and lessons for Russia)]. *Modernizatsiya. Innovatsiya. Razvitiye*. 2010;4 (In Russ.).
- [17] Kotelnikov N.V., Nagayeva A.V. Analiz i razvitie tehnoparka kak ob'ekta innovacionnoj infrastruktury [Analysis and development of the technopark as an object of innovative infrastructure]. *Izvestiya Tomskogo politekhnicheskogo universiteta*. 2014;6 (In Russ.).
- [18] Mikhailova O.V. Po tempam perekhoda na cifrovoe TV Rossiya dogonyaet Evropu [Russia is catching up with Europe in switching to digital TV]. <http://www.nap.edu/openbook.php?osbn=0309084369> (In Russ.).
- [19] Morozova Ye.B. Tehnoparki v sfere vysokih tehnologij v Rossijskoj Federacii: Mezhdunarodnyj i otechestvennyj opyt, principy, metody i problemy sozdaniya [Technoparks in the sphere of

- high technologies in the Russian Federation: International and Russian experience, principles, methods and challenges]. *Vestnik Volzhskogo universiteta im. V.N. Tatishcheva*. 2009;16 (In Russ.).
- [20] Mukhlisova A.R., Barinova V.A., Kotsyubinsky V.A., Rybalkin V. *Tehnoparki stran mira. Organizaciya deyatelnosti i sravnenie* [Technoparks of the World. Organization of Activities and Comparison]. Moscow: Gaidar Institute; 2012 (In Russ.).
- [21] Narbut N.P., Puzanova Zh.V., Larina T.I. Social'noe izmerenie zhizni rossijskogo studenchestva v kontekste evrointegracii obrazovatel'nogo prostranstva: Metodicheskie aspekty issledovaniya (na primere RUDN) [Social dimension of the life of the Russian students in the context of the European integration of the education: Methodological aspects of the study (on the example of the RUDN University)]. *RUDN journal of Sociology*. 2014;4 (In Russ.).
- [22] Nebroskiy Ye.V. Sposoby osushchestvleniya integracii obrazovaniya, nauki i biznesa v universitetah za rubezhom [Methods of integrating education, science and business at the universities abroad]. *Izvestiya Volgogradskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. Seriya: Pedagogicheskie nauki*. 2011;1 (In Russ.).
- [23] Neverov A.V., Tyurina I.O., Chursina A.V. Vliyanie patentnogo zakonodatel'stva na razvitie naukoemkih tekhnologij: sociologicheskij analiza [The impact of patent legislation on the development of science-intensive technologies: Sociological analysis]. *RUDN Journal of Sociology*. 2016;4 (In Russ.).
- [24] Perlaki I. *Novovvedeniya v organizacijah* [Innovations in Organizations]. Moscow: Ekonomika; 1980 (In Russ.).
- [25] Puchkov M.V., Yagafarova Ye.A. Innovacionnyj klaster i megauniversitet Guanchzhou na baze promyshlennogo centra svobodnoj ekonomicheskoy zony [Guangzhou innovation cluster and megauniversity on the basis of free economic zone industrial center]. *Akademicheskij vestnik URALNIIPROEKT RAASN*. 2010;3 (In Russ.).
- [26] Roco M.C., Bainbridge W.S. (Eds.) *Converging Technologies for Improving Human Performance in Nanotechnology, Biotechnology, Information Technology and Cognitive Science*. NSF-DOC Report. Boston: Kluwer, 2002.
- [27] Rodgers E.M. *Diffusion of Innovations*. N.Y.: Free Press; 2003.
- [28] Sakun A.S. Nacional'nye strategii razvitiya tehnoparkov [National Strategies of Technopark Development]. *Ekonomicheskij analiz: teoriya i praktika*. 2014;5 (In Russ.).
- [29] Schumpeter J.A. *Teoriya ekonomicheskogo razvitiya* [A Theory of Economic Development]. Moscow; 1982 (In Russ.).
- [30] Sharkov F.I. Razvitie virtual'nyh setevyh soobshchestv v Internete [The development of virtual network communities in the Internet]. *Kommunikologiya*. 2015;5 (In Russ.).
- [31] Sitnikov A. Dognat' Kaliforniyu [To catch up with California]. <http://www.forbes.ru/forbes/issue/2010-04/48384-dognat-kaliforniyu> (In Russ.).
- [32] *Statistical Yearbook*. <https://www/hse.ru/primarydata/ii2016>.
- [33] Vasilenko N.D. Innovacionnaya politika stran ES: teoretiko-pravovoj aspekt deyatelnosti tehnoparkov i tehnopolisov [Innovative policy of the EU: Theoretical-legal aspect of the technoparks and techno-polis activities]. *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya "Yurisprudenciya"*. 2013;2 (In Russ.).
- [34] Vilyanov S. CES 2016: Pochemu samaya bol'shaya vystavka elektroniki ostalas' bez novinok? [CES 2016. Why the largest electronics show did not have any novelties?]. <http://bankir.ru/publikacii/20160107/ces-2016-pochemu-samay-bolshaya-vystavka-elektroniki-ostalas-bez-novinok-10007067> (In Russ.).
- [35] Vilyanov S. Vse, chto ne sluchilos' v Vegase. Zametki o CES 2017 [All that did not happen in Vegas. Notes on CES 2017]. <http://bankir.ru/publikacii/20170111/vse-chto-ne-sluchilos-v-vegase-zametki-o-ces-2017-10008453> (In Russ.).

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-387-398

ТЕХНОПАРКИ И НАУКОЕМКИЕ ПРОИЗВОДСТВА: АНАЛИЗ ПЕРЕДОВОГО ОПЫТА*

И.О. Тюрина¹, А.В. Неверов², М.А. Ульянычев²

¹Институт социологии Российской академии наук
ул. Кржижановского, 24/35-5, Москва, Россия, 117218

²Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198

(e-mail: neverov_av@rudn.university; maks.76maksim@mail.ru)

Для социального и экономического развития государства большое значение имеет создание и внедрение наукоемких технологий. Особенности современного технологического уклада обусловили потребность объединения научных и технических подходов в процессе инновационного развития. Создание и внедрение инноваций необходимо для модернизации отечественной экономики и повышения эффективности российских компаний. При этом без постоянного совершенствования науки и образования происходит социальная и культурная стагнация государства, в то время как общемировая тенденция изменения и совершенствования производства предполагает формирование новых форматов экономического взаимодействия, в которых доминирующую роль играют наукоемкие и конвергирующие технологии. В настоящее время для создания наукоемких разработок требуется полноценное институциональное взаимодействие, предполагающее совместную деятельность ряда заинтересованных сторон. В связи с этим приобретает актуальность развитие особых территорий, где формируются экономические, инфраструктурные и социокультурные условия, необходимые для создания новых технологий. Технопарки выступают одним из наиболее популярных форматов устройства территорий подобного рода. На сегодняшний день в Российской Федерации функционирует значительное количество технопарков, при этом показатели их деятельности не всегда удовлетворительны, она нуждается в оптимизации, особенно с точки зрения повышения эффективности разработки наукоемких технологий. Чтобы найти наиболее эффективные пути повышения качества деятельности российских технопарков, был проанализирован опыт 12 успешных зарубежных образцов и разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления российскими технопарками в направлении повышения эффективности научной и инновационной деятельности. В статье обозначены особенности создания наукоемких технологий; проблемы, с которыми сталкиваются инновационные организации; роль технопарков в обеспечении инновационного потенциала государства; форматы и структура современных технопарков, а также рекомендации, позволяющие повысить эффективность их работы по созданию и развитию наукоемких технологий. В статье представлен опыт изучения технопарков российскими учеными за последние десять лет, на основе которого авторы стремятся определить основные способы оптимизации и модернизации деятельности российских технопарков в целях усиления их роли в инновационном развитии государства.

Ключевые слова: технопарки; наукоемкие технологии; NBIC-конвергенция; инновации; бизнес-инкубаторы; национальная инновационная стратегия

* © Тюрина И.О., Неверов А.В., Ульянычев М.А., 2017.

Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда (проект № 16-18-10420, «Непрерывное образование и наукоемкие производства: институты и практики взаимодействия») в Институте социологии Российской академии наук.



ЭССЕ И РЕЦЕНЗИИ

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-399-407

ANTI-SEMITISM YESTERDAY AND ISLAMOPHOBIA TODAY: A CENTRAL-EUROPEAN PERSPECTIVE*

K. Černý

Charles University in Prague
U Kříže 8, 15800 Praha 5, Czech Republic
(e-mail: karlos.cernoch@post.cz)

Abstract. The author compares the mediaeval and early-modern discourses on anti-Semitism with the today discourse of Islamophobia focusing on the contextual framework of Central Europe in general and the Czech Republic in particular. The article describes the broad context of the nowadays Islamophobia in the Czech Republic, which has grown and expanded greatly in recent years though the Czech Republic's historical experience (different forms of direct interaction with the Muslim minority in the country with the roots that can be traced back to the 1970s) has been prevalingly positive. The majority of the Czech Muslims are, and have long been, well integrated or even assimilated into the Czech society. The Czech Islamophobia is therefore described in the article as a kind of a paradox; it seems to be rather a strange 'product' (a result and a consequence) of people's everyday perception and interpretation of international events (for instance, of the so-called 'international war on terrorism') than a 'product' of their direct everyday experience in their home country — of the face-to-face interaction with the Muslim minority. The second part of the article focuses on the Islamophobic discourse developing in the Czech Republic and identifies some of the key issues and topics it shares with the well-known phenomenon of anti-Semitism that historically preceded Islamophobia: 'the internal enemy', 'the threats to the security', 'the secret conspiracy for the world dominance', 'the "other" incompatible with the European society in cultural, religious and other respects', 'the unproductive parasite living at the expense of the (Christian) majority society', 'the sacrificial lamb', and finally 'the community trying to segregate and create parallel values and institutions' (so as not to be integrated into the Czech or Central-European society). To a certain degree Islamophobia today revives the previous anti-Semitism for it constructs an image of the Muslim as a dangerous stranger/foreigner, which resembles the negative image of the Jew and Judaism constructed on the eve of the Holocaust.

Key words: Islamophobia; anti-Semitism; Czech Muslims; Jews; integration; assimilation; Central Europe; Czech Republic; stereotypes

The stereotype that Muslim migrants in the West deliberately segregate themselves from the rest of the society and adhere to their own rules is an integral part of the Western-European historical long-term experience of interaction with the Muslim communities in the region in general and in the United States and the Czech Republic in particular. For instance, for more than forty years the Muslims in the Czech Republic have pre-

* © K. Černý, 2017.

The research was conducted within a project "GAČR No.13-35717P: Arab Revolutions and Political Islam: A Structural Approach".

vailingly followed the path of *integration* into the Czech society; such a model of adaptation leads to the migrants' forming deep and manifold ties with the majority of the society while preserving their cultural and religious distinctive features. Such Muslim migrants usually have many friends among the majority of host society, among their colleagues and business partners, make friends with people they share the same interests or hobbies with, former classmates and relatives 'acquired' through mixed marriages. According to the data of Daniel Topinka based on dozens of in-depth interviews and published, for example, in *Europe under the Crescent* [8], the key factor of successful integration is knowledge of the local language and the resulting ability to understand the cultural rules that determine the very essence of the Czech society.

However, the integrated Muslims try to preserve or, as happens in a free society, even to expand and develop their cultural and religious distinctiveness, which at the same time they must continuously, with small adjustments or compromises, harmonise with the life in a Western-style secular society. They remain the 'real' Muslims who follow the 'five pillars' of the Islamic faith. Moreover, the vast majority of the Czech Muslims, after many years of practicing Islam in a Western-style secular society, do not see any contradictions between adhering to the 'five pillars' of the Islamic faith and living a full and active life in a Western society. They can practise a *privatised* or a *deprivatised* religious life. Religion in this sense can be understood as a purely private matter within the family and the privacy of one's home, or the emphasis can be placed on the community religious practices and the development of religious infrastructure including the construction of mosques. Communities of Muslims who prefer to organise their lives in such a way promote an interfaith dialogue in the Islam-oriented civil society and strive to foster understanding with the majority of host society and demonstrate their civil outlook and loyalty to the Czech Republic, for instance, by organising public funds collections to help the local communities who suffered from floods, by donating blood, and by protesting against any extremist acts in the world. From the perspective of future integration of new migrants, a key factor for the successful integration is a well-developed and united religious community functioning as a 'bridge' between the majority of population and new immigrants and helping new immigrants to orient themselves in the new social framework and to integrate into the society. The state, therefore, should not undermine and destabilize the functioning of religious communities.

A similarly common model of adaptation to the Czech society is *assimilation* of Muslims. In this case, they also establish deep and strong ties with the majority of society, but do not preserve their distinctive cultural and religious features; instead, they adopt the culture of the host society. Such Muslims would typically say about themselves: 'Yes, I'm a Muslim, but I do enjoy a beer'. Such immigrants are not interested in anything in their country of origin so much as to visit it periodically. They tend to avoid their compatriots in the Czech Republic because they have nothing to say to them. On the contrary, they enjoy talking to their Czech friends about sports, politics, or workplace 'gossip'. Instead of the mosque, they prefer to go to the disco, hockey games, or the pub, and frequently their life partner is a person from the majority of population. They favour the individualistic values of the majority of the society and appreciate local freedoms more than the binding traditions or authoritarianism of their country of origin. They are very well aware of their Muslim identity and even tend to reveal it whenever they

hear lies about the Islamic faith from friends or the media, so such ‘attacks’ can make them defend Islam and identify more strongly with other Muslims.

In Western Europe, there are large socially excluded communities of Muslims with the immigrant background that can be called *marginalised*. In this case, the lack of ties with the majority of society is also accompanied by the rejection of their former cultural and religious distinctiveness. The suburbs inhabited by the people in such a ‘situation’ are considered a serious problem for today’s large cities, and the roots of this problem are primarily of social nature. In the Czech Republic, this is the situation with the isolated groups of Muslims who came from sub-Saharan Africa. They are embarrassed about their little-used prayer rug, search in vain to find work legally, and try to get rid of their sense of isolation by watching TV all the time. These Muslims prove that abandoning one’s cultural and religious distinctiveness is not a secure ticket to the smooth integration into the host society. In exchange for the alienation from their roots, they receive nothing but isolation from the majority of population. Thus, they do not feel at home in any of two worlds, they are in despair due to loneliness and life failure, they lose self-confidence under the crisis of identity, which further complicates their integration. These Muslims often dream about finding meaning and direction for their life and about becoming successful; they also dream that in their old age they will return to practising Islam or even to their country of origin so as to forget their godless life in the West.

Finally, the last model is *separation*, that is, the lack of ties with the majority of society accompanied by strong adherence to the cultural and religious distinctiveness. It is the separation that creates and keeps up the stereotype of Muslims as people who strive to establish a parallel society governed by their own rules and reject the rules of the majority of society. One illustrative example from Western Europe is the sectarian-oriented communities of Salaphists that adhered to a very strict version of Islam and opposed not only the majority of society but also all Muslims who had allegedly fell from the ‘straight path’. An individualised version of separation that occasionally can be seen in the Czech Republic is the ‘imported’ wives of Muslims who live in the West for a long time but instead of marrying an emancipated European prefer an arranged marriage with a less emancipated and more obedient woman from their country of origin. These women do not understand the Czech language or culture, and they did not choose and did not wish to move to the Czech Republic. Their only contact with the host society is when they go shopping with their husband and are surprised by the lack of hospitality among their Czech neighbours, who prove incapable of a reciprocal invitation for coffee or an exchange of sweets. They cope with their social isolation by creating a familiar everyday ‘environment’ with the help of cultural and religious artefacts (water pipes, carpets, TV series, etc.) of their country of origin, turning their homes into ‘a little Syria’ or ‘a little Turkey’; they spend a large part of the day talking on the telephone with their relatives; thus, they strive to continue to live the life of their homeland. However, this model in the West is typical only for a minority of migrants, and despite variously expressed forms of social distance from the majority in most such cases there is nothing about the lives of these alienated Muslims that somehow opposes the laws, norms and behaviour patterns of Western countries [7].

An immigrant may combine various adaptation strategies and move from one model to another. The strengthening Islamophobia of the majority (considering the inability of Muslims to integrate) has the effect of a *self-fulfilling prophecy*. As we all know, people do not necessarily act according to what the world is really like, but rather according to how they understand, see, and interpret the world. To orient themselves in the world, among the competing and ready-made *definitions of the situation*, they choose the one that suits them best. The key role in this belongs to the conformity with the opinions of other people and of the groups they want to belong to. Certainly, if a large number of people of sufficient influence define a situation as real it becomes real in its results for it determines actions that radically transform the reality, which helps to confirm the correctness of the originally incorrect definition of the situation. If the erroneous definition of Muslims as incapable of integrating, as constructing a parallel 'mediaeval' world, and as representing a threat is supported by the media, state administration, police, secret services and political elites, then the Muslims do begin to separate. If they endure on an everyday basis countless small insults to their culture and religion or more serious threats and physical attacks, they try to minimise their unpleasant, confrontational and increasingly dangerous contacts with the majority. If they feel animosity or discrimination from the state, they cease to have faith in its institutions and laws. Thus, even the integrated and assimilated Muslims would consider the claims for integration is an illusion for they would support the definition of integration is impossible or even undesired. Then even the integrated and assimilated Muslims would begin to separate from the majority, become uncertain and shut themselves in their communities in search for a sense of security, a sense of certitude and social recognition. The islamophobes in the society, media and state institutions would then point to this in triumph and satisfaction because it is exactly what they had for long warned about. The voices of islamophobes would be joined by the voices of Muslim leaders who never supported integration and built their personal career on the model of closed ghettos and sects living in isolation from the majority. Thus, the mechanism of mutual alienation between the majority and the minority continues in a cycle, and it is the extremists among both the majority and Muslims who profit. The only way to bring this self-reinforcing mechanism to a halt is to introduce an alternate definition for the majority of society, state institutions, and the Muslim minority, which defines the latter as capable of becoming a full-fledged part of the host society and of being loyal to the state and its laws.

The stereotypical theory that all Muslims have to spread their religion because Islam is covertly seeking world dominance is a continuation of the anti-Semitic stereotypes that were very widespread in the decades before the Holocaust. It is a reminder of how the stereotype of the Jew as an enemy of Christian Europe before the Second World War was used to form a stereotype of Muslims as the 'fifth column' and a threat to the West. This stereotyped Muslim as if allegedly uses perfidious means such as the twisted ethic principle of lying to non-believers (so-called *Taqiya*). This stereotype is a reminder that there is still a threat of a new holocaust. It is a reminder that all today's efforts to appeal to reason and to the facts that break stereotypes and prejudices about Jewish or Muslim parasitism and disloyalty are not enough to combat xenophobia; that if the perfect integration or even assimilation of the Jews in the past was not enough to protect them from anti-Semitism, pogroms, and the Holocaust, the integration or

even assimilation of Czech, European or American Muslims today is not enough to automatically prevent escalating Islamophobia, hate crimes and open verbal threats of total annihilation. Finally, it is a reminder that today's Islamophobia is not conceptually unique for it follows the strategy of the earlier anti-Semitic stereotypes.

The nowadays stereotype of the Muslim is a revival of the early-modern stereotype of the *Talmudic Jew* and of the international Jewish conspiracy. In about 1700, the anti-Semites began to claim that they succeeded in uncovering the secret principles of Jewish morality by the 'true' translation of the Torah and by deciphering the real meanings of the Talmud. They alleged that the Jews were to behave properly with other Jews but to do the very opposite to the peoples of other faiths. They allegedly never showed a non-Jew pilgrim the path to where he was going or to a source of water; it was their holy duty to deceive, cheat, steal, not to help, obstruct, and, if possible, even kill; the aim of this deviant and inhumane morality that excludes Jews from the society was to gradually exterminate all non-Jews. The loudest voices on Judaism in the past and on Islam today are the xenophobes who believe that they understand the essence of the religion much better than its followers.

The stereotype of the Talmudic Jew was a kind of umbrella category that embraced all previous anti-Semitic stereotypes dating back to the Middle Ages: the accusation of blood libel (that the Jews needed Christian children to make blood sacrifices in their mysterious religious rituals); the accusation that Jews all across Europe were secretly poisoning wells (that was an explanation of the otherwise hard to understand plague epidemics in 1347—1361); and, finally, the malicious claim that synagogues were nothing than taprooms and brothels, or the hideouts of bandits and villains, or even the caves of demons. These three mediaeval stereotypes have in common their depiction of the Jews as a security threat, as a threat to the Christian society from within. Today the Muslim minority is considered through the same lens with mosques usually described as 'terrorist factories'.

The threat of the secret *Jewish conspiracy* aimed at conquering the world is a modern stereotype. According to this conspiracy theory, the leaders of the world Jewry met secretly twenty-four times and planned how to bring all humanity under its control. The main precondition for the rise of the international empire of the Jews is the destruction of strong nation-states and extermination of competing religions. A secret Jewish organisation is supposed to be the vehicle of this upheaval; everything is allowed in the name of this noble aim, so all moral considerations must be swept aside. Thus, the Jews are considered to be a driving force of all revolutions and to push nations into violent conflicts that would ultimately terminate the world in catastrophic war. They also as if promote alcoholism amongst workers, prostitution, epidemics, famines, and manipulate the prices of food; the Jews are as if responsible for shackling the masses in illiteracy, exploitation and terrible regimes holding the power for the Jews are considered to secretly control revolutionaries, political parties, the media, cultural institutions, banks, business, and governments. The world managed to learn of the deadly threat posed by the Jewish conspiracy with the 'leak' of *The Protocols of the Elders of Zion*, which was first 'made public' in the late XIX century and since then has been an anti-Semitic bestseller. Its success was determined by the fact that the *Protocols* explained the complicated and incomprehensible modern world through a simple conspiracy theory.

Moreover, there is also an issue of *Jewish anti-Semitism*, i.e. the ‘Jewophobia’ of former Jews who renounced Judaism, converted to Christianity (in most cases) and became professional, ardent and implacable critics of Judaism. The credibility of their criticism was built on the assumption that as former Jews they know Jewish ‘secrets’ and can reveal them to protect the majority from the Jewish world dominance. Perhaps the best-known Jewish anti-Semites were Otto Weininger and Arthur Trebitsch, who stylized himself after the figure of Christ, denied his Jewishness and warned emphatically against the Jewish conspiracy as ‘the Jewish disease that poisons host nations’. Similarly, today many former Muslims build their careers on their ability to persuade the majority or state institutions that they know the treacherous ‘secrets’ of their former brothers, who are a threat to the safety and freedoms of the West. These bashers of Islam tend to be militant and hateful in order to prove their radically new identity as the right choice and their loyalty and commitment to their new group.

The modern era introduced a counter-stereotype to the conspiracy of powerful Jews in the image of the poor Jew as an *unproductive parasite*. According to this stereotype, the Jews are lazy, dirty, selfish and degenerate (*Entartung*) for they lost the ability to exist on their own. Therefore, they as if have to seek food like parasites and to live at the expense of the productive Christian majority; they are allegedly abetted in this by cunning, hypocrisy and usury. The Muslims in the West are portrayed in a very similar way today: as sly migrants systematically abusing social benefits and parasiting on the welfare state; as people with no solidarity, who provide nothing in exchange and have no intention to do so. It is not just a matter of a religious or cultural threat, but of a social and demographic one; due to their high fertility rates the number of ‘parasites’ grows exponentially to the point where the Western welfare states would collapse. The Jews — wealthy and poor, assimilated and Orthodox — were equally subjected to anti-Semitism. One group faced suspicion and rejection because it was assimilated, prosperous and influential, others — for possessing the very opposite of these attributes, for being distinctive, poor and dependent on others. This no-win situation is similar to the one the Muslims face today.

The Jewish minority in the past and the Muslim minority today serve as society’s *sacrificial lamb*. They are blamed for all problems; they form a ‘smokescreen’ and deflect attention away from the real problems and their roots. Simply put they are used to explain the complexity of the world. Aggression directed at the sacrificial lamb continues to function as a vent for the ongoing release of accumulating tensions: stored-up frustrations are not vented at their real source. Finally, the image of an internal enemy and threat reinforces solidarity in an otherwise increasingly more disorganised and disoriented society and makes it possible to marshal the population behind the politics that promises to protect the frightened society. The sacrificial lamb is to be weak and defenceless, and it must be different from the majority. In the past the Jews met these two criteria in Europe, today it is the Muslim minority.

Another analogy with the repertoire of anti-Semitism is the stereotype that the Muslim minorities *separate* themselves, are not loyal to the state and respect only their own

laws. This is an extremely ancient issue mentioned as far back as in the *Book of Esther* in the *Old Testament*: “Then Haman said to King Xerxes, ‘There is a certain people dispersed among the peoples in all the provinces of your kingdom who keep themselves separate. Their customs are different from those of all other people, and they do not obey the king’s laws; it is not in the king’s best interest to tolerate them’”. According to the historian Walter Laqueur in *The Changing Face of Anti-Semitism* [4], this topic has constantly revived ever since, for example, when Cicero in Ancient Rome warned against the influence of the Jews because their religion was incompatible with the Roman values and traditions for the Jews refused on the grounds of their ‘intolerant and retrograde religion’ to worship Caesar. Moreover, they were considered to have double standards of morality — to behave towards each other according to one set of rules, and towards people of other faiths according to a different set of rules. Finally, Jews were also accused of trying to destroy the society because they deliberately and suspiciously separated/segregated themselves from it, were always loafing around doing nothing because of the Sabbath, practised male circumcision and made animal sacrifices (and human sacrifices too). In the early modern era, the most ardent proponent of the Jewish stereotypes was Bernard Lazar, a Russian Jew whose *Anti-Semitism, Its Causes and History* (1894) became an essential reading for the anti-Semites. Its main idea is that the victim of anti-Semitism is actually the one to blame for it: the Jews are to be blamed for their persecution because the Talmud makes them isolated, anti-social, and haughty/arrogant. This was the very language that was also used at that time in the media, for example, in the *Alldeutsche Tagblatt* published in Linz one could read (1907): “The Jews are a state within a state; they follow their own laws and know how to get around the laws of the land. They show contempt for everything that we hold sacred, while they are permitted to everything that we could consider sacrilegious”.

The rise of anti-Semitism was *sometimes* connected with mass *migration*, similar to the escalating Islamophobia today. When pogroms broke out in Russia after the attempted assassination of the Tsar in 1881, two million Jewish refugees fled to the United States and Western Europe. These were Eastern Orthodox Jews who claimed to belong to the religion of ‘the chosen’ and in public alienated the majority by speaking Polish, Russian or Yiddish. Their distinct visual appearance often served as an overt demonstration of their orthodoxy (side locks, caftans), they lived in closed communities, made no efforts to adapt to the society, and even had conflicts with the assimilated Jews. The organised reaction of the anti-Semites was quick. From the first International Anti-Jewish Congress in Dresden (1882) there were already calls to fight the Jews who were declared not to be able to assimilate and to pose a threat to the Christians. There were appeals to the government not to accept more refugees and to send the army to guard the borders. The Jews already living in the cities in Europe were not granted the same civil rights as others. The political discourse and part of the church also accepted this rhetoric, and anti-Semitism was ‘normalised’.

According to the logic of a self-fulfilling prophecy, the Jews who were already assimilated reacted to the rise of anti-Semitism by relinquishing self-identification with

the majority, returning to the roots, and strengthening the Jewish nationalism (Zionism). These were mainly the educated Jews (lawyers, doctors) who had left their faith and converted to Christianity, loved the host country language and culture and considered themselves Germans, Czechs or Austrians; more often than the Catholics or Protestants they entered mixed marriages, died fighting in the armies of their countries; they tended to be liberals because freedoms guaranteed their upward social mobility and prosperity. The same mechanism of returning to the initial religious-ethnic identity and withdrawing into the safe closed communities in response to the Islamophobia determined by the majority's fears due to the immigration can be observed among the Muslims who had already been integrated in the European host societied.

REFERENCES

- [1] Černý K. *Nad Evropou půlměsíc*. Praha: Karolinum; 2015.
- [2] Hamannová B. *Bertha von Suttner. Život pro mír*. Praha: Prostor; 2007.
- [3] Hamannová B. *Hitlerova Videň. Diktátorova učednická léta*. Praha: Prostor; 2011.
- [4] Laqueur W. *Měníci se tvář antisemitismu*. Praha: Nakladatelství lidové noviny; 2007.
- [5] Mendel M., Ostřanský B., Rataj T. (eds.) *Islám v srdci Evropy. Vlivy islámské civilizace na dějiny a současnost českých zemí*. Praha: Academia; 2007.
- [6] Pavlíková E. *Muslimští migranti a český sekulární stát*. Červený Kostelec: Pavel Mervart; 2012.
- [7] Topinka D. a kol. *Integrační proces muslimů v ČR — Pilotní projekt. 2006/2007*. http://www.inkluzivniskola.cz/sites/default/files/uploaded/integrace_muslimu.pdf.
- [8] Topinka D. a kol. *Muslimové v ČR. Etablování islámu a muslimů ve veřejném prostoru*. Brno: Barrister and Principal; 2016.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-399-407

АНТИСЕМИТИЗМ ВЧЕРА И ИСЛАМОФОБИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД ИЗ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ*

К. Черны

Карлов Университет
У Криже 8, 15800 Прага-5, Чехия
(e-mail: karlos.cernoch@post.cz)

Автор предпринимает попытку сопоставить средневековый и раннесовременный дискурсы антисемитизма с нынешним исламофобским дискурсом, фокусируясь на ситуации в Центральной Европе в целом и в Чехии в частности. Статья описывает тот широкий контекст, в котором сегодня формируется исламофобия в Чехии, утверждая, что в последние годы по всей стране ее проявления усилились и расширились, несмотря на то, что для Чехии преимущественно характерен позитивный исторический опыт принятия мигрантов из мусульманских стран (истоки различных форм нынешне-

* © Черны К., 2017.

Исследование было проведено в рамках проекта “GAČR No.13-35717P: Arab Revolutions and Political Islam: A Structural Approach” («Арабские революции и политический ислам: структуралистский подход»).

го взаимодействия принимающего сообщества с мусульманским меньшинством можно проследить до 1970-х гг.). Большинство чешских мусульман сегодня (и на протяжении длительного времени) прекрасно интегрированы или ассимилированы в чешское общество. Соответственно, исламофобия в Чехии представлена автором как своего рода парадокс: это скорее «продукт» (результат и следствие) повседневных стереотипных интерпретаций и некорректного восприятия международных событий (например, так называемой «международной борьбы с террором»), чем «продукт» повседневных непосредственных контактов с мигрантами в своей стране (т.е. рутинных личных взаимодействий с представителями мусульманского меньшинства). Вторая часть статьи посвящена исламофобскому дискурсу, который сегодня явно формируется в Чехии: автор обозначает несколько ключевых тематик и понятий, которые отчетливо «роднят» данный дискурс с хорошо известным феноменом антисемитизма, или историческим предшественником исламофобии: «внутренний враг», «угрозы безопасности», «тайный заговор ради мирового господства», «иной/чужак, не вписывающийся в европейское общество в культурном, религиозном и ином отношении», «беспольный мигрант, живущий за счет (христианского) большинства», «жертвенный агнец» и, наконец, «сообщество, стремящееся отделиться и создать параллельную систему ценностей и институтов» (чтобы предотвратить свою интеграцию в чешское или центрально-европейское общество). В определенной степени исламофобия сегодня возрождает прежний антисемитский дискурс, поскольку конструирует аналогичный образ мусульманина (опасного чужака/инога), отражающий негативные черты образа еврея и иудаизма, которые были использованы накануне холокоста в целях его оправдания.

Ключевые слова: исламофобия; антисемитизм; чешские мусульмане; евреи; интеграция; ассимиляция; Центральная Европа; Чехия; стереотипы



DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-408-419

СИМВОЛИЧЕСКИЙ ПРОТЕСТ: СОКРЫТЫЕ ПОСЛАНИЯ И АДРЕСАНТЫ*

ГОРОДСКИЕ ТЕКСТЫ И ПРАКТИКИ.

**Т. I: СИМВОЛИЧЕСКОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ / Сост. А.С. Архипова,
Д.А. Радченко, А.С. Титков. М.: Издательский дом «Дело»
РАНХИГС, 2017. 324 с.**

«Следует говорить о некоем континууме символического инакомыслия... По логике вещей, ...практически все движения требовали разрушения социальной системы, поэтому имели форму восстаний. Они присваивали властные полномочия, магическое обаяние, регалии и институциональную харизму... государств посредством своеобразного символического джиу-джитсу атакуя противника его же оружием» [2. С. 446—447].

В последние десятилетия мы живем в очень странном мире: со страниц научных и публицистических работ он предстает мозаикой постмодерна, в котором бесконечно множатся локальные возможности и особенности жизни разных сообществ, но действовать им приходится в жестко очерченных границах весьма авторитарных макроструктур, суть которых идентична в разных общественных системах, какими бы несхожими они ни казались на первый взгляд. Мы наблюдаем одновременно и восхваление разнообразия предоставляемых современным миром возможностей организации собственной жизни, и возникновение удивительного спектра вариантов отторжения того, что предлагают (или навязывают) даже самые благополучные социальные системы, — от открытых бунтов и погромов до производства протестных «текстов» (вербальных и визуальных), считать критический посыл которых может только посвященный в соответствующий символический код. Подобную противоречивую целостность современной жизни вряд ли следует считать чем-то необычным в истории — скорее результатом сочетания традиционных и новых (прежде всего, коммуникационно-информационных) черт эпохи, которые заставляют иначе взглянуть и на категориальный аппарат социально-гуманитарного знания, и на объективные и символические черты повседневной жизни.

Коллективная монография «Символическое сопротивление» представляет собой первый том двухтомника «Городские тексты и практики» и посвящена «исследованию форм публичного и скрытого символического сопротивления в разных культурах и политических практиках» (с. 2). Это весьма амбициозно-масштабная

* © Троцук И.В., 2017.

задача, учитывая многообразие подобных практик, особенно при широкой трактовке символического сопротивления и его «ареалов» (в больших городах и провинции, у советских граждан и подданных английского короля). Часть читателей подобный тематическо-ситуативный разброс может смутить, потому что благодаря ему книга получилась эклектичной, однако кейсово-зарисовочный формат позволяет увидеть общие черты, казалось бы, несхожих событий и явлений.

Во введении авторы-составители обозначают спектр сложившихся на сегодняшний день теорий символического сопротивления; в первой главе идентифицируют его индикаторы (коды); во второй обрисовывают возможные и реальные тактики сопротивления в советском обществе; в третьей показывают, сколь вариативны практики сопротивления в городской среде; в четвертой отмечают региональные особенности сопротивления, детерминированные идентификационными паттернами его участников; и, наконец, в пятой, заключительной, главе обозначают биографические траектории обучения протесту.

Невзирая на тематический разброс глав, их пронизывает несколько общих рефренов: символика — попытка не скрыть протест, а сделать его явно считываемым целевой аудиторией; жесткий контроль и санкции не уничтожают протест, а усиливают его «теневого» характер, т.е. усложняют систему его символической кодификации; нынешние формы протеста традиционны в том смысле, что имеют либо истоки, либо примеры в обозримом или отдаленном прошлом, главное — не цепляться за детали, а мыслить в категориях стратегий и тактик сопротивления; дисциплинарные границы в их изучении должны быть максимально подвижны, поскольку сочетание исторических, антропологических, этнографических, социологических, демографических и прочих наработок позволяет реконструировать максимально полную на макроуровне и детально насыщенную на микроуровне картину (другой вопрос — насколько авторы следуют этим явно считываемым из текста рекомендациям).

Во введении, озаглавленном «„Фига в кармане“ и другие теории символического сопротивления», авторы, видимо, решают задачу отпугивания «не своего» читателя, потому что первая фраза здесь такова: «5 марта 1953 года стало известно о смерти Сталина... Был объявлен траур, и любые проявления других эмоций, кроме траурных преследовались» (с. 5). Далее уточняется, как «знающие люди...», спрятав свое чувство радости в непонятную для непосвященных форму», смогли «„отпраздновать“ смерть тирана». Это действительно показательный пример, который, наряду с политическими анекдотами, прозвищами начальников, говорящими именами литературных персонажей и прочими проявлениями «фиги в кармане», демонстрирует одну из форм символического сопротивления, но все пример неоднозначный (учитывая сложное отношение к усопшим в российской культуре). Если подобное начало и кейсово-зарисовочный формат не остранныт книгу до отторжения неподготовленным читателем, но читать ее всю ему не захочется, то во введении составители предлагают ее краткое изложение, обозначив свои задачи (проанализировать разные формы скрытого протеста с помощью различных концепций, чтобы показать не только вариативность символического сопротивления, но и возможности его «считывания»), исследовательские приоритеты (работа

с фольклорными текстами и ритуальными практиками, которые за счет анонимности и клишированности обеспечивают быстрое и безопасное для «отправителя» распространение протестно-символических посланий) и содержание каждой главы.

Концептуальные рамки сборника таковы: во-первых, теории сублимации (вытеснение страха или реализация социального недовольства с помощью фольклора), (само)защиты, резистенции (сопротивление) и субституции (замена открытого протеста символическими формами), позволяющие идентифицировать, например, функции политического анекдота; во-вторых, теории сопротивления «слабых», представленные, прежде всего, работами М. Серто («о рекомбинировании, изменении и изобретении вариантов одобренного поведения и форм „антиповедения“/„тактик“ по отношению к доминирующим субъектам и ценностям» — с. 9) и Дж. Скотта (об «оружии слабых» как практиках ненасильственного сопротивления власти).

Следует отметить очень взвешенную характеристику разных концептуальных подходов к анализу символического сопротивления, поскольку авторы обозначают не только их эвристические возможности, но и ограничения. Скажем, применительно к первой группе теорий уточняется, что политические шутки не всегда выполняют критически-протестную функцию, а могут сдерживать общественное недовольство и агрессию в интересах властей (как «клапан для снижения протестного давления» — с. 8).

Тексты сборника вариативны по тематикам и насыщены эмпирическими данными и/или иллюстративным материалом, поэтому нет смысла подробно останавливаться на каждой из двадцати составляющих его статей, и ниже будут пунктирно обозначены их содержательные акценты и сюжеты. В первой главе «Скрытое становится явным: коды сопротивления» представлено «разграничение между нормативным выражением и сопротивлением (публичным и скрытым)» (с. 15). В статье «Границы опасного: советская власть в поисках „скрытых транскриптов“» показано, как при переходе от сталинской эпохи тоталитарного карательного контроля к эпохе застоя радикально меняется фокус властного интереса: прежде это были «скрытые транскрипты» даже в официальных текстах, и наказания за политический анекдот не ограничивались идеологическим внушением, но спустя несколько десятилетий фокус государственного внимания сместился от поисков сокрытого к открытым формам публичного протеста — акционального, вербального и визуального. В духе критического дискурс-анализа «сокрытие» декларируется излюбленной стратегией всех агентов социального действия той эпохи: эзопов язык использовали не только критики режима, но и карательные органы, хватавшие людей формально не за политические анекдоты, а за «ненависть к строительству социализма» и пр.

В статье представлены примеры антисоветских частушек («В колхозе добро жить, один работает, сто лежит. Хлеб колючий, борщ вонючий») и других форм политического фольклора, с конца 1930-х гг. обвиняемых в контрреволюционной пропаганде и «скрытых вредительских посланиях в стране победившего социализма, где враг вынужден действовать непрямым образом» (с. 30). Предпринимается попытка систематизировать «термины карательных органов и научные обозначения для „опасных высказываний“» и приемы табуизации «дословной пере-

дачи оскорбительных циничных выражений по адресу руководителей партии и правительства» (с. 41) в официальных документах (для защиты и как ритуальные формулы), дается критический обзор исследований «контрреволюционного» фольклора и эмпирические подтверждения (ограниченной) применимости к данной проблематике концепта «скрытые послания» Дж. Скотта, отмечается смены акцентов в государственном мониторинге общественного мнения, в результате чего после 1960-х гг. «анекдоты и слухи вернулись в неподцензурную сферу устного бытования и перестали интересовать советскую власть» (с. 38).

Во второй статье раздела рассматриваются формы протеста в послевоенном СССР, варьирующие от скрытой политической оппозиции (прото-диссиденты 1940—1950-х и «классические» диссиденты 1960—1980-х) до публичных протестных акций (хаотичные и безрезультатные индивидуальные протесты и стихийные массовые выступления). Характерной чертой данного текста, первого раздела и книги в целом является продуманное сочетание исторических фактов, эмпирических данных и концептуальных отсылок, в частности, в данной статье представлен краткий обзор сложностей с интерпретацией и, соответственно, идентификацией публичной сферы в советском общественном пространстве, учитывая подвижность ее границ, которые то сужались (когда «автором любых лозунгов, плакатов, информационных и рекламных надписей были государственные органы» — с. 54), то расширялись (когда проходили редкие несанкционированные митинги).

Далее в первой главе обозначены случаи протестной политической мобилизации студенчества в 1940—1960-е гг., причем «не вопреки, а вследствие воздействия государственных институтов... — подпольные организации школьников и студенческий протест на физическом факультете МГУ» (с. 57), описанные на основе собственных эмпирических данных (интервью с участниками событий) и архивных материалов. Характеризуя школьный протест, автор статьи усматривает слишком прямую зависимость между уроками литературы (чтением романа А. Фадеева «Молодая гвардия») и формированием оппозиционной политической субъективности, а в статье про студенческий протест очень точно подмечена внутреннюю противоречивость партийного контроля (технократический и идеологический), которая, будучи подкреплена другими факторами, позволяла идеологическому давлению государства производить «совершенно противоположный задуманному эффект — нелояльность и даже протест» (с. 67).

Последующие статьи первого раздела фокусируются на визуально-вещной, т.е. символической, стороне протестной мобилизации, которая обуславливает интенсивные эмоциональные переживания обоих лагерей («своих» и «чужих»), будучи проекцией их коллективных переживаний. Так, Алексей Титков объясняет причины «успеха „белой ленты“ как мобилизующего символа больших протестных митингов 2011—2012 гг., и, одновременно, провал исходного замысла с постоянным „белым шоу“ в повседневной городской среде», где множество людей с «белой лентой» должны были превратить город в «непрерывную демонстрацию народного недовольства» (с. 70).

Автор обращается к истории идеи «белой ленты» и к различиям целей данной акции и их реализацией: предполагалось, что «белую ленту» будут носить люди,

не желающие участвовать в организованных уличных акциях, но с ее помощью выражающие им свою солидарность, однако носить ее стали, в первую очередь, участники митингов, для которых она стала маркером «своих», дарующим гордость и радость от встречи с многочисленными единомышленниками.

Статья о невербальном коде желто-голубого как отсылающем к цветам национального украинского флага подтверждает, что символический протест — «в глазах смотрящего». С одной стороны, идеологически смещенное мировосприятие в сложной политической ситуации способно увидеть проукраинскую пропаганду даже в раскраске детской площадки и породить «конспирологический нарратив» («бытовому предмету, далекому от какого-либо политического контекста, приписывается политическое высказывание» — с. 85). С другой стороны, цветовая паранойя порождает возможности двойного прочтения любых желто-синих сочетаний («лоялистская» и оппозиционная части общества начинают обнаруживать искомые сообщения в контекстах, не имеющих к политике отношения — с. 91) и игровые формы сопротивления, когда свою политическую позицию можно продемонстрировать посредством использования соответствующих цветовых сочетаний в одежде.

Завершает обзор современных практик символического сопротивления в первом разделе хорошая систематизация форматов критической текстуальной и визуальной реакции российского общества на гомофобное законодательство, которое в основном ассоциируется с именем Е.Б. Мизулиной: это разные жанры (демотиваторы, пародийные песни и открытые письма, петиции, частушки, анекдоты и пр.); приемы символической агрессии (не только тривиальные инвективы и оскорбления, но также инверсия — обвинения борца за нравственность в развратности, подмена этического спора обсуждением эстетических или финансовых вопросов, поиск скрытых мотивов типа отвлечения внимания общественности от важных проблем, использование ярких образных отсылок к холокосту и средневековой инквизиции в целях радикализации и «фашизации» образа и т.д.). Несмотря на убедительность утверждений о разнородности символического сопротивления «мизулинщине» (массовые и нишевые формы) и его иллюстраций, статья вызывает некоторые сомнения слишком обобщающим характером выводов, например, о скорее мизогинистских, чем феминистских основаниях критики законодательных инициатив Мизулиной (отчасти это так, но все же не вполне обосновано утверждение, что угроза и диффамационная конструкция были характерны скорее для мужчин, чем для женщин, на основе сведений из социальных сетей и интернет-источников).

Таким образом, в первом разделе показана подвижность границ между лояльностью и сопротивлением, между скрытыми и явными его формами, между разными типами кодов символического сопротивления (самостоятельно идентифицируемые и нуждающиеся в адресанте), между однозначным считыванием кода и его размытием/насыщением противоположными смыслами для разных интерпретаторов в зависимости от исторического контекста и идентификационных паттернов агентных групп. Заключительным аккордом раздела стал материал о «скры-

тых посланиях» яcobитского протеста (маркирующих подпольную яcobитскую субкультуру после 1746 г., а до того подкреплявших прямые маркировки ее симпатий и «официальную» эстетику восстания — с. 113), что свидетельствует о длительной истории и традиционности символических форм сопротивления (вербальных эвфемизмов и прочих приемов маскировки смысла протестного высказывания), выполняющих не только агитационную, но и коммеморативную функцию и призванных сокрывать и действие, и (иносказание), и действующего (псевдоним или конспиративная квартира).

Вторая глава на советском материале описывает особую форму сопротивления доминантному образу жизни и идеологии — отказ от них за счет снижения своего статуса или социальных возможностей в целом. Речь идет о разных стратегиях сознательной пассивной самомаргинализации, которые оказываются успешны в случае наличия локального сообщества «единомышленников» (по религиозному, этническому, профессиональному, интеллектуальному или иному признаку). Во втором разделе рассмотрено три кейса: во-первых, религиозные практики и теневая экономика еврейских сообществ советской провинции, благодаря которым они сохраняли традиционные формы культуры и религиозного поведения с конца 1920-х гг. и отчасти вплоть до начала 1990-х. «Такие формы жизни, как религиозная община, благотворительность и традиционные обряды перехода, были сферой, в которой низкостатусный, а то полукриминальный доход частника (кустаря) или кооператора мог быть конвертирован в социальный престиж и статус» (с. 131). «Механизмы альтернативной экономики (например, малопрестижная, но денежная работа портным, заготовителем в кооперации, продавцом на рынке, мясником, в кооперативном колбасном цеху и т.д.) породили формы общинной и религиозной жизни» как варианты сопротивления советскому (с. 132). Подобный «альтернативный» образ жизни с нелегальными синагогами и мацепекарнями был возможен только в местечках — маленьких городах на периферии с компактным еврейским большинством, где начальство не хотело ссориться со «своим» населением, поэтому синагога была «зоной формирования и функционирования системы статусов, альтернативных советской системе» (с. 141).

Второй кейс — добровольный индивидуальный «разрыв со своим социумом по идейным (политическим и/или культурным, а не религиозным) соображениям и уход в маргинальность» (с. 143). Он проиллюстрирован биографическими примерами из 1920-х (дочь профессора-гебраиста и жена арестованного поэта-биокоsmиста добровольно, не принимая большевистскую политику, идеологию и образ жизни, ушла из дома и стала жить на улице, промышляя воровством) и 1950—1980-х гг. (пародирование и нарушение основных советских идеологических и поведенческих табу Венедиктом Ерофеевым, разнообразные «технологии» и «механизмы» пассивного сопротивления — уход в сторожа, лифтеры, котельные, разнорабочие и пр., чтобы не попасть под действие закона о тунеядстве, но обрести интеллектуальную и поведенческую свободу).

Наиболее исторический материал завершает вторую главу книги — это обзор практик символического отказа от гражданства (подданства), характерных для ре-

лигиозно-общественных движений (анархизм и нонконформизм эсхатологического плана) первой трети XX в. (отказ от паспортов, присяги, уплаты налогов, участия в переписи, службы в армии, регистрации брака, крещения детей, подчинения законам и пр.) (с. 157), но встречающихся и сегодня в том же формате «символического протеста против нормализующих практик и контролирующих институтов современного государства» со стороны тех сообществ, что пытаются отстоять свою «зону автономности» (с. 165). В начале XX в. «антидисциплинарный протест» секуляризировался, пример чему в позднесоветский период — хиппи, конструирующие альтернативные советской реальности эстетические, религиозные и идеологические образцы, в том числе «косполитическое мировоззрение, непризнание границ, пацифистские настроения... и отказ от советского гражданства» (с. 166).

Третья глава вводит в анализ символических форм сопротивления пространственную проблематику, показывая, как разворачивание протестных практик детерминируется городской средой и, в свою очередь, изменяет ее. Освоение и присвоение городского пространства протестующими может носить как вербальный и активно-деятельностный характер, так и визуально-символический, если речь идет о граффити как «форме сопротивления — от бунта против невидимости социальной группы до борьбы с доминирующей образностью» или же как коммуникативном средстве с подвижными и изменчивыми интенциями (с. 18). Первая статья раздела посвящена «оппозиции протестам со стороны внешне нейтральных групп людей, чьи интересы так или иначе затрагиваются в ходе этой борьбы, т.е. „протесту против протеста“» (с. 174) на примере обсуждения в московской пробке протеста дальнобойщиков против введения системы оплаты дорожных сборов «Платон», «в ситуации максимальной неопределенности, созданной противоречивыми высказываниями СМИ, тотальной неуверенностью в возможности доверия всем источникам информации и собственным опытом водителей... оказавшихся вписанными в сложную систему взаимоотношений заинтересованных групп: власти, протестующих дальнобойщиков, оппозиционных деятелей и организаций, медиа... анонимов на „Разговорчиках“... Фрустрация, связанная с потерей времени в пробке и информационным дефицитом, заставляет водителей искать среди этих групп виновников пробки» (с. 177) и выбирать (и рационализировать) одну из трех стратегий коммуникативного поведения: солидаризация с протестующими, отрицание общественной значимости их действий и протест против акции дальнобойщиков как «самозванной» власти, ограничивающей передвижение по городу.

Три оставшиеся статьи третьего раздела рассматривают присущие современному городу способы «разговора» в вербально-визуальном формате граффити/эпиграфики — как одновременно и семиотический текст (маргинальный по отношению к доминирующей официальной и рекламной эпиграфике), и практику скрытого политического действия («райтеры осуществляют свое „право на город“..., заступая за границы нормативного поведения» — с. 188). На материалах Нижнего Новгорода (495 эпиграфических единиц) авторы провели, по сути, протейший контент-анализ и выделили основные темы эпиграфических текстов (по-

литика — наименее частотная, социальная сфера, духовная, личностная — лидирующая тематика, пространство и контекст размещения).

Исследование в Самаре также базируется на трактовке граффити как «формы сопротивления санкционированной образности, господствующему видению публичного пространства», причем сегодня это «протест молодого поколения против ряда устаревших, с его точки зрения, культурных норм, стереотипов видения городского пространства и легитимированной в нем активности» (с. 199). В данном случае исследование велось в формате интервью с граффитчиками, которые позволили выделить несколько групп граффити: «первой волны» (в рамках субкультуры хип-хопа) и «второй волны» (граффити остается средством творческой самореализации, но исчезает ценностная риторика поиска собственной идентичности в противопоставлении другим субкультурам).

Завершает раздел анализ граффити киевского Майдана 2014 г. по материалам включенного наблюдения, призванный показать роль символического сопротивления в реальном политическом протесте и способность граффити обеспечивать осмысленную коммуникацию по самым разным тематикам (личные послания, злободневные изображения политического кризиса, радикальные националистические надписи, коммеморация и т.д.) благодаря разным типам граффитчиков (профессионалы, спонтанные, активисты движений с трафаретами, участники уличной борьбы, жители палаточного городка и приезжие из других регионов, выражающие солидарность с местными жителями).

Четвертая глава — самая скоттовская по духу и терминологии часть книги, поскольку в ней рассматриваются характерные для Скотта сюжеты: региональные особенности сопротивления, приемы открытого протеста, тактики символической маскировки недовольства, роль идентичности в успешности или затухании протеста, способы легитимизации сопротивления (включая апелляции к религиозному дискурсу) и др.

Открывает раздел описание форматов политического активизма в маленьком городе по материалам интервью с ключевыми участниками вологодского политического протеста, благодаря которым были выделены приемы маскировки и прямого действия в локальной протестной активности (например, имитация публичного поминовения «покойника» — сносимых торговых рядов XIX в.) и в нарративах о ней (максимально обобщенные номинации власти, жаргонизмы, объективация и деперсонификация, дифемизмы и пейоративы и др.), а также эвфемизмы и другие реакции власти на открытое и символическое сопротивление (от игнорирования до преследования).

Продолжает раздел описание символического сопротивления добыче никеля в Черноземье, которое зародилось в 2012 г. как экологическое движение, но быстро переросло в политическое, сочетая рациональные (экономические) и идеологические аргументы (защита малой родины, продовольственная безопасность и др.). Завершает раздел характеристика религиозной группы сторонников Белой веры, которая выступает словом и действием против «буддизма, археологических раскопок, православной и туристической экспансии на территориях, сакрально значи-

мых для алтайцев» (с. 251). Ей противостоит республиканская власть и городская алтайская интеллигенция, дискурсивно маргинализировавшие членов группы (актянцев) как невежественных деревенских фанатиков и вытеснившие их из публичной сферы. «Радикализация и стигматизация дискриминируемой группы актянцев приводит к формированию арсенала практик символического сопротивления» (с. 252): квазиавторство текстов самиздата или приписывание своим текстам высказываний от имени всего алтайского народа, горловое пение (кай) как способ высказать запретное в публичном пространстве, конспирологические интерпретации власти и пр.

И, наконец, в пятой главе представлены советские и постсоветские формы сопротивления в детской культуре, которые могут трансформироваться в успешные тактики протеста в реальном (не игровом или школьном) мире (т.е. протестующими не рождаются, а становятся). Здесь читателю вновь предложено три разных кейса: во-первых, «обзорный очерк, освещающий как активное оппозиционное поведение школьников стало предметом описания в терминах сопротивления в англо-американской традиции социологии образования, и как эта традиция перекликается с обсуждением советской школьной повседневности в отечественной науке уже в постсоветскую эпоху» (с. 265). Причем обозначаемые функции практик сопротивления зависят от концептуальных пристрастий своих исследователей (политические, игровые и ритуальные) и типа полевой работы (этнографическое описание контркультурных практик или фольклористический анализ школьных «текстов»). Второй кейс — превращение детской игры в солдатиков в детской стране-утопии, метафорически отражающей реальные политические события, в форму символического сопротивления, поскольку добавление в деятельность увлеченного коллекционера исторического измерения (памяти о репрессиях) «политизирует игровые и художественные цели, которые ранее считались эскапистскими» (с. 286). Завершает раздел кейс сопротивления дочери родительской власти над телом и питанием (пичкание ее средствами альтернативной медицины) в форме привычной практики постсоветского детства (взаимные опросы-тесты), вследствие чего индивидуальный протест был воспринят как таковой не всеми одноклассниками протестующей.

Основная проблема сборника для читателя с социологически смещенной «оптикой» или ориентированного на извлечение из книги общего понимания характерных черт символического сопротивления в прошлом и настоящем, состоит в ее «нерезентативности» — это хороший набор интересных кейсов без уточнений степени их социальной типичности/симптоматичности и критериев их отбора. Другая проблема книги, отчасти обусловленная первой, — не всегда очевидные интерпретации кейсов.

Несомненное преимущество сборника — его опора на обширный эмпирический материал, однако часто принципы получения этих данных оказываются для читателя, вполне в духе книги, «сокрытыми». Например, когда приводится список из 18 опрошенных автором в мае 2012 г. информантов, не оговаривается, где именно, посредством какого гайда проводился опрос, а также почему среди опрошен-

ных лишь две женщины и как гендерный переко́с повлиял на данные? Или: на основе пяти интервью (четыре также были проведены с мужчинами) автор делает вывод, что «люди, особенно лояльные российским властям, стали негативно реагировать на желто-голубое [цвета украинского флага] сочетание цветов даже в очевидно внеполитическом контексте... поэтому люди, которые хотят оставаться политически нейтральными, пытаются исключить желто-голубой из ежедневного обихода» (с. 93) — это слишком сильная генерализация.

Кроме того, авторы, работая с определенным историческим периодом, не оговаривают возможности применения аналогичной «оптики» к дню сегодняшнему, заставляя читателя сомневаться, имеет ли он право опираться на нее в оценке нынешних реалий. Скажем, когда говорится, что «в идеологизированном советском дискурсе любая фраза может обрести политическое звучание» (с. 55), а потому маркирована как оппозиционная и повлечь за собой репрессивные санкции, можно ли расширить это утверждение до любого идеологизированного дискурса вообще, принимая во внимание, что сегодня российское государство, защищая свое право на монополию высказываний в публичной сфере, применяет весьма серьезные санкции (задержания участников мирных митингов за «неправильные» плакаты, суд над ловцом покемонов в церкви и пр.).

Также можно отметить и слишком однозначные характеристики ключевого для книги ученого — Дж. Скотта. Вряд ли следует квалифицировать его как «марксиста», «естественно» оперирующего понятиями «класс» и «доминирующий класс», поскольку по тональности работ Скотт скорее романтик-анархист, а не марксист [как, скажем, Г. Бернштейн: 1], искренне верящий в право (и способность) разных сообществ определять собственный образ жизни и социальную организацию и подтверждающий это историческими фактами, а не идеологическими клише и экономическими расчетами. Несколько странно читать и следующий пассаж: «Скотт не учитывает того, что невыгодные „слабым“ системы держатся не на страхе, а на вере в доминирующую идеологию, которая легитимизирует и натурализует власть элит» (с. 12).

Скотт всячески подчеркивает символическое влияние идей, легитимирующих властные претензии, но уточняет, что это влияние бывает столь же широкомасштабным, сколь поверхностным, поэтому «слабые» умеют импортировать из властной идеологии нужные им идеи и вплавлять их в призывы к борьбе с культурным или политическим господством [2. С. 480]. Пример того, как «слабые» заимствуют инструменты символического подавления у государства для противостояния ему, представлен в книге — это российский протестный фольклор, приписывающий инициаторам гомофобных законов ровно те черты, которые они хотят этими решениями искоренить, и апеллирующий к историческим кодам тоталитарного подавления инаковости. Так что «некоторые теоретические упрощения Скотта, за которые его справедливо критиковали» (с. 12), все же обозначены в книге не вполне корректно, особенно учитывая, что Скотт оговаривает категориальную неприменимость своей концепции для второй половины XX в.

Вероятно, представленная в сборнике трактовка теории Скотта объясняется игнорированием этой оговорки и опорой только на две его работы [3; 6], а не на более поздние, тогда как, например, в книге «Искусство быть неподвластным...» [4].

Скотт рассматривает способы противостояния любых сообществ (а не классов) попыткам своего инкорпорирования в «тело» государства при поддержании разных форм взаимодействия с ним в выгодном для себя формате. Кроме того, если для авторов столь важно скоттовское различие «публичных транскриптов» (способ разыгрывать «спектакль повиновения») и «скрытых транскриптов» («закулисный дискурс», критикующего власть за пределами ее «слышимости»), странно не видеть в сборнике ссылки на работы И. Гоффмана — его разведением «переднего плана» и «закулисы» можно было бы дополнить модель Скотта, не оспаривая вполне устоявшиеся русские версии его терминологии.

Впрочем, перечисленные соображения (а не критические замечания) ни в коей мере не отменяют необходимости знакомства с книгой максимально широкой аудитории, однако читатель должен быть готов к тому, что это очень внутренне разнородная работа (скорее сборник статей, чем декларируемая в аннотации коллективная монография) — по концептуальным и историческим рамкам, понятийно-категориальному аппарату (скажем, хотя в начале обоснован отказ от словосочетания «скрытые послания» в пользу «скрытых транскриптов» как более корректно отражающих идейный замысел Скотта, в названии статьи позже используется отвергнутый вариант; в другой статье утверждается, что граффити и стрит-арт — «тексты только иконические, без вербальных элементов», что вряд ли соответствует действительности), региональному разбросу и авторской эмоциональной вовлеченности, сочетанию нарративов (академической аналитики и развернутых цитат из текстов информантов) и кейсов. В книге отсутствует заключение, но на обложке приведен ряд принципиальных для ее авторов вопросов, продолжить самостоятельные поиски ответов на которые, видимо, должен сам читатель, получивший для этого необходимые аналитические инструменты и «толчок для дальнейших исследований скрытых и явных форм символического сопротивления в разных культурах» (с. 20).

И.В. Троцук

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

- [1] *Бернстайн Г.* Социальная динамика аграрных изменений / Пер. с англ. И.В. Троцук. М.: Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2016.
- [2] *Скотт Дж.* Искусство быть неподвластным: Анархическая история высокогорий Юго-Восточной Азии / Пер. с англ. И.В. Троцук. М.: Новое издательство, 2017.
- [3] *Scott J.C.* Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts. New Haven: Yale University Press, 1990.
- [4] *Scott J.C.* The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia. New Haven & London: Yale University Press, 2009.
- [5] *Scott J.C.* Decoding Subaltern Politics. Ideology, Disguise, and Resistance in Agrarian Politics. Oxon: Routledge, 2013.
- [6] *Scott J.C.* Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press, 1985.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-408-419

**SYMBOLIC PROTEST:
HIDDEN MESSAGES AND ADDRESSERS***

**GORODSKIE TEKSTY I PRAKTIKI. Vol. I: SIMVOLICHESKOE SOPROTVIENIE
[URBAN TEXTS AND PRACTICES. VOL. I: SYMBOLIC RESISTANCE] /
Sost. A.S. Arhipova, D.A. Radchenko, A.S. Titkov. Moscow:
Izdatelskij Dom “Delo” RANHiGS, 2017. 324 p.**

REFERENCES

- [1] Bernstein H. *Socialnaja dinamika agrarnyh izmenenij* [Social Dynamics of Agrarian Change]. Per. s angl. I.V. Trotsuk. Moscow: Izdatelskij dom “Delo” RANHiGS; 2016 (In Russ.).
- [2] Scott J. *Iskusstvo byt' nepodvlastnym: Anarhicheskaja istorija vysokogorij Jugo-Vostochnoj Azii* [The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia]. Per. s angl. I.V. Trotsuk. Moscow: Novoe izdatel'stvo; 2017 (In Russ.).
- [3] Scott J.C. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven: Yale University Press; 1990.
- [4] Scott J.C. *The Art of Not Being Governed: An Anarchist History of Upland Southeast Asia*. New Haven & London: Yale University Press; 2009.
- [5] Scott J.C. *Decoding Subaltern Politics. Ideology, Disguise, and Resistance in Agrarian Politics*. Oxon: Routledge, 2013.
- [6] Scott J.C. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven: Yale University Press, 1985.

* © I.V. Trotsuk, 2017.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-420-435

**ФЕНОМЕН ГЕРОИЗМА:
ДВЕ 'ХРОНОЛОГИЧЕСКИЕ' ИНТЕРПРЕТАЦИИ*****Кэмпбелл Дж. ТЫСЯЧЕЛИКИЙ ГЕРОЙ. СПб.: Питер, 2017. 352 с.;**
Зорин А.Л. ПОЯВЛЕНИЕ ГЕРОЯ: ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ
МОЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КОНЦА XVIII — НАЧАЛА XIX ВЕКА.
М.: Новое литературное обозрение, 2016. 568 с.

Вряд ли в современной культуре можно обнаружить слово более общепотребительное в качестве высочайшей оценки человеческих достижений и в то же время крайне неуловимое с точки зрения своих эмпирических индикаторов, чем «герой». Подобная смысловая насыщенность определяет возможность радикальных смещений в коннотациях героизма: понимая его принадлежность «высокому стилю» в квалификации устремлений, поступков или достижений человека, каждый из нас легко считывает и негативный формат его употребления, когда за поразительные (по наглости, удачливости и пр.) поступки человека называют героем с несколько презрительным оттенком (скажем, «герой любовного фронта»). Фактически понятие «герой» обрело в современном обществе статус, аналогичный термину «девиация» в социальных науках: как правило, под девиацией подразумеваются негативные отклонения от общественных нормативов, хотя она может иметь и позитивный характер (гениальность); схожим образом «герой» преимущественно имеет позитивные коннотации, но при необходимости может выступать и номинацией социально неодобряемых «достижений».

Многозначность, смысловая неустойчивость понятия «герой» крайне неудобна для социологических исследований: при использовании соответствующих вопросов в массовых опросах неизбежно возникает проблема корректной интерпретации данных (скажем, насколько однозначно исследователь и респонденты трактуют слово «герой»). Ситуацию осложняет и то, что в социологической литературе редки попытки последовательной теоретической интерпретации феномена героизма, от которых можно переходить к эмпирическим трактовкам «героя». Безусловно, такие работы есть, яркий пример — книга И.М. Суравневой и В.В. Федорова «Феномен героизма» (М.: Изд-во ЛКИ, 2008), в которой представлены результаты «социально-философского исследования процесса синхронно-диахронного развития феномена героизма» (т.е. представлений о герое в массовом восприятии, социокультурного контекста героического, имплицитно-эксплицитных представлений о героизме и т.д.).

* © Троцук И.В., Субботина М.В., 2017.

Статья подготовлена в рамках проекта РФФИ №15-03-00573 «Социальное самочувствие молодежи постсоциалистических стран: сравнительный анализ (на примере России, Казахстана, Китая, Сербии и Чехии)».

В книге точно подмечено, что в «своем восприятии героизма современный человек постоянно сталкивается с некими внутренними препятствиями (иронией, цинизмом, неверием в чужое благородство), задающими определенную тональность (актуальную или отсроченную) восприятия героизма (в этом плане очень схожи, например, контекстуальное опознание и отношение к феноменам героизма и патриотизма)» (с. 5). Кроме того, обыденные и лексикографические трактовки понятия «герой» оказываются «пустыми» в том смысле, что содержат массу правильных слов, но они трудно стыкуются с повседневными реалиями.

Несомненно, «любое общество нуждается в примерах высокого служения долгу, проявления героем силы, ума и отваги, превосходящих обычную меру» (с. 5), «во все времена героизм предполагает дисциплину, служение, верность, послушание, самопожертвование» (с. 10), но в то же время «нарастающая неоднозначность восприятия „героев“ отражается, например, в утрате или как минимум модернизации смысла концептуальных метафор „народный герой“, „герой труда“, „герой без страха и упрека“ и пр.», поскольку «в современном обществе в зависимости от конкретных обстоятельств самого широкого свойства (от характера социальной системы до настроения субъекта восприятия) зачастую встречается диаметрально противоположное отношение к тому или иному проявлению феномена, объясняемое особенностями контекстуального опознания и отношения» (с. 8).

Героизм обретает новые акценты в разные исторические периоды, отражая их социокультурную специфику. Так, «в период расцвета Эллады термин „герой“ начинает применяться и к простым смертным, павшим за отечество, или тираноубийцам; ...аристократическая концепция жизни в эпоху феодализма возвысила понятие рыцарства до всех функций героического, связав благородное служение сюзерену и верность христианскому долгу; с приходом Ренессанса ...акцент смещается на качества ума и поведение в свете, самопожертвование не является преобладающей чертой, главным становится успех; ...в XVIII веке образ героя соотносится с фигурами римской гражданской добродетели... и наполняется архаикой (дикость, мрачность, все то, что напоминает о первопричинах бытия)» и т.д. (с. 31). Иными словами, суть и структура героизма инвариантны (схематично это подвиг во исполнение долга), но его трактовки постоянно меняются под влиянием социокультурных, политических, экономических и прочих изменений, порождающих в нем разные символические пласты (театральный, историко-политический, литературный, фантастический и пр.).

Выходом из сложившейся ситуации (отсутствия однозначных концептуальных и операциональных определений героя) может стать обращение к работам, которые позволяют увидеть истоки нынешних вариантов использования соответствующих понятий в обыденном и научном дискурсе. Мы рассмотрим две очень разные книги, которые вышли в России недавно, хотя «хронологически» (с точки зрения тематики и длительности работы авторов над текстами) они старше, чем последние два года.

Книга Дж. Кэмпбелла «Тысячеликий герой» — грандиозный труд, весьма условно укладывающийся в обозначенные автором границы сравнительной мифологии (уже хотя бы потому, что он широко трактует мифологию, включая сюда и Ветхий Завет, и буддийскую историю о Гаутаме Шакьямуни).

Автор осуществляет анализ мифологий самых разных частей света, чтобы обнаружить в них аналогии и общую сюжетную структуру, опираясь на гипотезу о неразрывной связи мифологических сюжетов с фрейдовской трактовкой бессознательного, чему в книге приведены многочисленные примеры из области взаимодействия мифа и психики, мифа и повседневной жизни, мифа и классической литературы. «Цель этой книги — ...обнаружить природу некоторых истин, знакомых нам под масками персонажей религий и мифов, свести воедино множество не слишком сложных для понимания характерных фрагментов, и так выявить их изначальный смысл... Нам следует изучить саму грамматику символов, и вряд ли найдется лучший инструментарий... чем современный психоаналитический подход. ...Следующий шаг — свести воедино множество мифов и народных сказок со всех сторон света и позволить им говорить самим за себя. Так станут непосредственно видны все смысловые параллели, таким образом мы сможем представить весь обширный и удивительный набор фундаментальных истин, которые определяли жизнь человека на протяжении тысячелетий на этой планете» (с. 7).

Социологически ориентированный читатель может дистанцироваться от психоаналитической терминологии и «перевести» ее в русло нарративного или дискурсивного анализа, которые стремятся обнаружить устойчивые культурные сценарии (независимо от их «локализации» — мифология, художественная литература, философия, медийные клише и пр.) и показать их определяющее влияние на паттерны выстраивания групповых и индивидуальных жизненных траекторий (в текстах и реальных повседневных практиках).

По сути, автор исследует психологические основания мифов, объясняя все встречающиеся в них схожие символы и поступки героев единообразной психологической жизнью человека на протяжении всей его истории. В результате оказывается, что все героические мифы выстроены на двух типах сюжетов: сотворение мира (космогонический миф) и становление личности («ритуал» инициации героя — его рождение, странствия и/или подвиги, благодаря которым нередко становится возможной и космогония в локальных или глобальных масштабах). Тесная взаимосвязь двух разных типов мифов подтверждается тем, что герой, как правило, рождается в некоем сакральном месте, которое становится отправной точкой для изменения мира, т.е. в какой-то степени выполняет роль творца, спасая мир от хаоса в ходе своих странствий.

Формально книга состоит из восьми глав и массы вспомогательных разделов, но фактически ее содержание сводится к прологу и двум частям. В прологе под названием «Мономиф» автор утверждает, что мифология везде одинакова и несет общий символически-ориентирующий смысл, различаясь лишь внешними формами и доминирующими образами, которые и определяют идентификационные паттерны человека в разные исторические периоды. В качестве подтверждения автор обращается к психоаналитической концепции, приводя, в частности, примеры сновидений и предлагая их схожие мифологические расшифровки. Он полагает, что в снах люди сталкиваются со своим бессознательным, т.е. проблемы психики обретают в сновидениях уловимую форму знакомых ситуаций и/или специфических

образов; аналогичным образом «работают» и мифы: люди придумывают ситуации и персонажи, которые являются символами их внутренних страхов и переживаний. «Именно в детском бессознательном мы оказываемся, когда засыпаем... Там — великаны-людоеды и таинственные помощники из нашей детской, все волшебство нашего детства. Более того, все, чего мы не смогли достичь во взрослом возрасте» (с. 20). «Сновидение — это персонифицированный миф, миф — это деперсонифицированное сновидение... Образы сновидений вырастают из конкретных страданий конкретного человека, в то время как в мифе проблемы и их решения имеют общечеловеческую ценность» (с. 22).

Основной текст книги разделен на две части — «Приключения героя» и «Космогонический цикл». В первой части автор приводит массу примеров из мифов и сказаний, которые объединяет общая сюжетная канва: герой под влиянием «зова» покидает привычное ему общество, отказываясь тем самым от предписанной ему социальной роли и/или норм/жизненной траектории, принятых в его социальной среде («первый шаг — отрешенность или отказ от прежней жизни, когда внутренняя жизнь становится важнее внешней, осуществляется переход из макрокосма в микрокосм, отказ от напрасных удовольствий опустевшего мира и вступление в покой мира внутреннего» — с. 20). Он отправляется в странствие, где сталкивается с испытаниями (почти всегда у него есть покровитель, помогающий справиться с невзгодами «советами, амулетами и тайными силами», зачастую это мудрый и пожилой бескорыстный наставник); пройдя все испытания, герой становится обладателем уникального знания/дара/предмета («преодолевают свои личные и конкретные исторические ограничения и приходит к универсальным, присущим всему человечеству формам» — с. 22); герой возвращается в свою социальную среду и дарует людям полученное знание/дар, что способствует радикальному изменению их жизни к лучшему («все мифы человечества утверждают, что задача и миссия героя заключаются в том, чтобы в конце концов вернуться к нам совсем другим и преподать нам урок, который сам усвоил, о том, как возродиться» — с. 23).

Такова классическая или традиционная модель мифа о становлении героя как «человека, который смирился со своей судьбой» (с. 19). Она обладает устойчивой сюжетной схемой, но возможны и многочисленные отклонения от нее, которые позволяют обнаружить за исключениями общее правило: например, герой может отказаться откликнуться на зов («такой отказ... представляет собой нежелание отказаться от так называемых личных интересов; человек видит в будущем не смерть за смертью и рождение за рождением, вместо этого его собственная система идеалов, добродетелей, стремлений и достоинств кажется ему чем-то незыблемым, непреходящим» — с. 54), не отказаться от отца, а примириться с ним, отказаться возвращаться в прежний мир или «благополучно и добровольно вернуться в мир людей и встретить при этом абсолютное непонимание и равнодушные тех, кому он пришел на помощь» (с. 36) и т.д. Кроме того, «какими только деталями ни обрастает эта простая мифологическая схема. Во многих легендах выделяются и развиваются один или два типичных элемента полного цикла приключо-

чений героя (испытание, побег, похищение невесты), в то время как другие выстраивают в один ряд несколько независимых циклов (как в «Одиссее»). В повествовании могут совмещаться несколько разных типов персонажей и эпизодов или какой-то один момент может повторяться и воспроизводиться в разных» (с. 199).

В анализе мифов автор опирается на психоаналитическую традицию, на работы З. Фрейда и К. Юнга. Так, в любых мифах странствия и подвиги героя отражают процесс становления его личности, который, по Юнгу, состоит в расширении его мировоззрения, усилении его психологических, а не только физических возможностей. Человеческое эго — своего рода активный субъект, который в мифах получает антропоморфное выражение в виде героя, главного персонажа. Победа над врагами (как правило, нереалистичными чудовищами) в мифах символизирует победу над внутренними страхами и комплексами, поэтому мудрость героя (обычно это самый ценный дар, обретаемый в результате скитаний) выражает идею окончательного становления самости (зрелой личности).

Вся суть странствий и борьбы с внешними обстоятельствами и самим собой сводится к необходимости достичь гармонии сознания с бессознательным, т.е. герой, даже сражаясь с объективными трудностями, на самом деле преодолевает свои внутренние проблемы. «Первая миссия героя заключается в том, чтобы удалить из внешнего мира вторичные последствия тех областей души, где по-настоящему живут трудности, выяснить, в чем корень зла и вырвать самое его основание... усвоить то, что К.Г. Юнг назвал „архетипными образами“» (с. 20).

Эта трактовка героизма соответствует самому общему его пониманию: герой — тот, кто в рискованной ситуации поступает не так, как большинство испуганных и ударившихся в панику людей, т.е. в отличие от подавляющего большинства он действует четко и смело, хотя осознает грозящую опасность и возможность остаться в стороне, как все прочие участники и свидетели. Мы продолжаем жить в мире мифологических сюжетов прошлого, поскольку «общие схемы мифов и сказок могут подвергаться различным изменениям и искажениям. Архаичные черты, как правило, или исчезают, или стираются. Заимствования переосмысливаются в соответствии с местными условиями или верованиями, и таким образом редуцируются. Кроме того, поскольку сюжеты бесчисленное количество раз пересказываются из поколения в поколение, они неизбежно претерпевают случайные или намеренные искажения. Чтобы объяснить смысл таких элементов, утративших смысл в силу тех или иных обстоятельств, слушателям предлагаются более поздние толкования, нередко весьма изобретательные... Непонятные, доставшиеся по наследству темы... подвергаются рационализации и переосмысливаются...» (с. 200).

Во второй части книги автор переходит «от психологии к метафизике», подчеркивая, что мифы не идентичны и не во всем сопоставимы со сновидениями. Источник образов в мифологии и сновидениях общий — «бессознательное нагромождение фантазий», истоки которых кроются в детских страхах и мечтах, однако это не позволяет трактовать мифы как спонтанные продукты сна, поскольку они — символично-образный способ отражения (и закрепления) «традиционной

мудрости»: «и шаман, вещающий в состоянии транса, и владеющий тайнами магии колдун в теле антилопы познали и мудрость этого мира, и мастерство строить повествование по аналогии. Метафоры, которыми они жили и на языке которых общались, были плодом глубоких раздумий, поисков и дискуссий на протяжении столетий и тысячелетий; более того, от них зависели и стиль мышления, и повседневная жизнь разных сообществ. В соответствии с ними формировались культурные шаблоны» (с. 208).

Мифы целенаправленно создавались мыслителями прошлого, которые стремились связать бессознательное с практической деятельностью и использовать в ее интересах, поэтому мифы и схожие с ними учения древности (многие их идеи выражены мифологическим языком) актуальны и по сей день — неизменным остаются их практические задачи и духовные принципы.

Несмотря на подчеркивание различий сновидений и мифов, автор отмечает и их тесную связь как очень близких аспектов человеческой жизни, прибегая к метафоре дня и ночи: наше сознание — это дневное восприятие, а бессознательное — ночное.

Предлагая эту метафору, автор опирается на восточную философию с ее концепцией космогонического цикла, в которой говорится о циркуляции сознания через три плана бытия: первый — опыт бодрствующего сознания, второй — опыт человека во сне, третий — глубокое погружение в сон без сновидений. В первом случае человек «с открытыми глазами» сталкивается с разнообразием окружающего мира, во втором — усваивает полученный опыт, в третьем — познает его через бессознательное. Мифы, благодаря своей фигуративной конструкции, позволяют толковать и понимать все три процесса, поэтому по мифологической символике, истокам и функциональным возможностям все мировые религии схожи. «Мифология — это психология, которую принимают за биографию, историю и космологию... Осталось лишь прочесть историю, осмыслить повторяющиеся шаблоны и вариации сюжета, и так прийти к пониманию глубинных сил, сформировавших главные линии человеческой судьбы, которые по-прежнему продолжают влиять на всю нашу личную и общественную жизнь» (с. 207—208).

Книгу завершает объемный эпилог, суммирующий основные идеи автора, однако он сразу признается, что «идеальной системы толкования мифов не существует, да ее и не может быть... Мифология интерпретировалась с позиции современного интеллекта как примитивная, неумелая попытка объяснить мир природы; как продукт поэтической фантазии доисторических времен, неправильно понятый последующими поколениями; как хранилище аллегорических наставлений, помогающих индивиду адаптироваться в обществе; как коллективная фантазия, симптоматичная для архетипных побуждений, скрытых в глубинах человеческой психики; как средство передачи глубочайших метафизических представлений человека и, наконец, как откровение бога детям его (церковь). Мифология, собственно, и есть все это вместе взятое. Суждения о ней зависят от того, кто их выносит...» (с. 303—304). С социологической точки зрения важно то, что «усвоенное в праздничных обрядах и ритуалах [через их мифологическую символику] трансформи-

руется в повседневные обязанности человека перед обществом, обеспечивая его обыденное существование, питая смысл его жизни... Обряды инициации и возведения в сан учат нас, как важно для индивида слиться с какой-то группой людей; календарные праздники это ярко демонстрируют» (с. 305).

Автор завершает книгу грустной констатацией, что «чары прошлого» и «рабство традиции» больше не имеют силы над современным обществом, что объясняется и развитием науки, и его объективными изменениями. «Когда западная наука спустилась с небесных высот на землю (от астрономии XVII века к биологии XIX века) и наконец сосредоточила свое внимание на самом человеке (в антропологии и психологии XX века), представление о том, что такое чудо, принципиально изменилось... Человек — вот что сегодня стало главной тайной» (с. 310).

Кроме того, в современном обществе на смену религиозным доминантам пришли политико-экономические соображения индивидуалистического характера: если прежде смысл жизни человек обретал в групповой принадлежности, то теперь ищет его в самовыражении; люди не находят смысла ни в группе, ни в чем бы то ни было другом, кроме самих себя.

Автор называет наше время «героической фазой развития, когда сказка о человечестве достигает момента зрелости... Мифический туман растаял, разум открылся и сознание готово пробудиться; современный человек возник из невежества былого... И дело не только в том, что не осталось ни одного укромного уголка, куда бы не проникало всевидящее око телескопов и микроскопов; нет больше того общества, которое было некогда создано богами. Социум не является более носителем какого было ни было религиозного содержания, а представляет собой политическую и экономическую организацию... Его идеалы больше не выражают смысл таинственного священнодействия... это светское государство, которое беспощадно и изо всех сил борется за материальное превосходство и природные ресурсы... В самых прогрессивных общественных системах все сохранившееся от общечеловеческого наследия древности — ритуальность, мораль, искусство — переживает полный упадок» (с. 307). Поскольку «человек сбился с пути, не ведает, в чем его сила, связующие нити между сознанием и бессознательным в человеческой психике были разорваны, мы оказались разорваны пополам. ...Героический подвиг нашего времени заключается в поисках истины» (с. 308). Сегодняшний герой не должен (не имеет права) ждать, пока его сообщество сможет отказаться от своей гордыни, страхов, скупости и заблуждений, а должен следовать своему предназначению — спасти мир из хаоса.

Представленный образ героя весьма романтичен, и вторая из рассматриваемых нами книг посвящена попытке исторической реконструкции формирования образа романтического героя в русской эмоциональной культуре конца XVIII — начала XIX в. Ее автор, А.Л. Зорин, стремится выявить механизмы культурной обусловленности индивидуального переживания и проанализировать эмоциональный опыт отдельной личности в рамках определенной исторической эпохи на примере биографии и дневников Андрея Ивановича Тургенева, «одного из первых русских германофилов, положивших начало увлечению немецкими словесностью и философией, которое сыграло судьбоносную роль в истории русской культуры XIX века» (с. 9).

В основе книги лежит гипотеза, что эмоциональная культура решающим образом влияет на жизнь, поступки и самоопределение человека. Безусловно, в описываемую автором эпоху это влияние имело ограниченный и иной характер, чем в нынешнюю информационную эру, однако механизмы воздействия художественных произведений на моделирование человеком собственной биографии вряд ли претерпели кардинальные изменения.

По мнению автора, мир человека формируется под влиянием создаваемых культурой «эмоциональных матриц», т.е. образцов чувствования и реагирования на те или иные ситуации жизни, а источниками таких матриц являются в первую очередь ключевые тексты эпохи: эмоции выступают в книге как культурно детерминированная «вещь», поэтому историю их эволюции можно проследить через историю художественной литературы, которая задает модельные образцы эмоционального поведения для разных «героев». Во Введении под названием «Индивидуальное переживание как проблема истории культуры» автор подчеркивает, что исследование следует вести «от рассмотрения огромных массовых движений до все уменьшающихся групповых формаций и вплоть до отдельного человека, включая самые интимные стороны его внутренней жизни», в контексте значимых исторических событий (важны не только сухие факты индивидуальной биографии, но и их эмоциональное наполнение, делающее человека «героем»). «Историки, в особенности работавшие в биографическом жанре, и раньше нередко рассуждали и мотивах своих героев, и все же на такого рода догадках неизбежно лежало подозрение в недостаточной научности или даже беллетристичности — изображение переживаний давно умерших людей традиционно составляло прерогативу изящной словесности» (с. 12). Зародившаяся в 1930-е гг. дисциплина — история эмоций — изящную словесность этой прерогативы лишила, поскольку обращалась к любым источникам информации, чтобы «воссоздать эмоциональную жизнь прошлого» (с. 13).

Во Введении автор обозначает подходы, которые заложили теоретико-методологические основания истории эмоций. В частности, Л. Февр пытался объяснить схожесть внутренней жизни людей в рамках конкретной эпохи тем, что эмоции «зарождаются в сокровенных недрах личности», но потом посредством «заразительности», т.е. «в результате схожих и одновременных реакций на потрясения, вызванных схожими ситуациями и контактами... превращаются в некий общественный институт... и начинают регламентироваться наподобие ритуала» (с. 13). Н. Элиас считал возникновение европейской цивилизации результатом практик контроля над проявлениями эмоций. К. Гирц полагал, что чувства людей культурно обусловлены, поэтому их можно распознать и предсказать, опираясь на ритуалы, мифы и искусство как «публичные образы чувствования» — «наши идеи, наши ценности, наши действия, даже наши эмоции, как и сама наша нервная система, являются продуктами культуры» (с. 14). Соответственно, «во внутренний мир человека иной культуры оказывается возможным заглянуть именно благодаря тому, что сам этот внутренний мир представляет собой коллективное достояние... Эмоции, с одной стороны, оказываются доступны наблюдению исследователя, а с другой — становятся значимым фактором исторического процесса» (с. 15).

«Аффективный поворот» к 1970—1980-м годам захватил не только антропологию и культурную историю, но и психологию, нейрофизиологию, социологию, лингвистику и даже экономику. В результате не только историки и антропологи, но и представители других дисциплин признали, что «все общества имеют свои эмоциональные стандарты [предписываемые человеку нормы реакции], пусть часто они не становятся предметом обсуждения... Эмоциональные стандарты постоянно меняются во времени, а не только различаются между собой в пространстве. Изменения в эмоциональных стандартах многое говорят и о других социальных изменениях, а могут и способствовать им... Человек может входить одновременно в самые разные как социальные, так и текстуальные сообщества, порой предлагающие ему не совпадающие между собой системы норм и ценностей», в том числе в эмоциональной сфере (с. 15—16).

Автор в определенной степени систематизирует философскую традицию, осмысливающую, каким образом переживания (творческого) человека находят отражение в его трудах, а затем по-новому переживаются их читателями. Так, В. Дильтей полагал, что биографы, анализирующие жизнь великих людей, обязаны выявлять связи между их человеческой природой и универсалиями исторической жизни. Согласно Г.О. Винокуру, биографии — это внешнее выражение внутреннего, поэтому категория «судьба» с известными оговорками необходима для понимания внутреннего единства личности посредством его ретроспективного раскрытия. С одной стороны, «автобиография, как и любая другая форма рассказа о собственных переживаниях, есть событие заведомо прижизненное... Между тем личность недоступна пониманию, пока ее „синтаксическое развертывание“ не завершено, и, следовательно, ее структура может быть осмыслена только извне» (с. 26). Для полноценного анализа эмоциональных отражений личной судьбы необходима «третья сторона» (исследователь): «...люди, сочиняющие мемуары, делающие записи в дневниках, а тем более устно или письменно рассказывающие о своей жизни другим, часто не могут или не хотят отдавать себе отчет в подлинных мотивах и побуждениях своих поступков, действуют, говорят и пишут под влиянием более или менее бессознательных уловок, бывают не вполне искренне или вполне неискренни даже перед собой» (с. 26).

Автор опирается на модель «эмоционального процесса» (признавая ее условность), которая была разработана Н. Фрайдом и Б. Месквито. Согласно этой модели, «эмоциональные процессы» порождаются не столько самим по себе событием, сколько значением, которое ему придается. Процесс надления события, вызвавшего эмоциональную реакцию, значением они называют кодированием. Кодирова событие, субъект эмоции определяет его (не обязательно облекая свое определение в словесную форму) как „опасность, оскорбление, соблазн, шок и пр.“. Способ „кодирования“ предполагает и соответствующую оценку, выражающуюся в „страхе, гневе, удивлении и пр.“. В свою очередь, оценка порождает готовность к действию, которая в дальнейшем реализуется или не реализуется собственно в поведении... И кодирование, и оценка, и готовность к действию, и даже характер субъективной вовлеченности задаются регулятивными процессами, которые в значительной степени определяются культурными нормами, предписаниями и табу» (с. 29—30).

Автор опирается на работы множества ученых, представляющих разные дисциплинарные направления и исторические периоды, чтобы разработать свою аналитическую схему, которая позволяет раскрывать роль эмоций не только в биографиях, но и, через эти биографии, в исторических процессах, в которых эти личности принимали участие, пусть и опосредованно. «Рабочей и эффективной эту схему делает кропотливая работа исследователя, который не имеет права хаотично выхватывать наиболее интересные для себя события из биографической или исторической канвы, а должен тщательно подбирать факты таким образом, чтобы они проливали свет друг на друга и находились в неразрывной смысловой взаимосвязи. Кроме того, в изучении эмоциональной жизни человека особое внимание следует уделять аномальным случаям и исключениям из правил... норма сама по себе не дает нам сведений о возможности нарушений, в то время как эксцесс содержит в себе и норму, и нарушение и тем самым указывает на культурные трещины и возможные направления сдвигов... Эмоциональный репертуар может включать в себя различные, часто плохо согласованные между собой, а порой и просто взаимоисключающие эмоциональные матрицы. Разные эмоциональные сообщества, к которым принадлежит человек, часто диктуют ему совсем несхожие правила чувствования... Чем разнообразнее, напряженнее и потенциально конфликтнее „эмоциональный репертуар“ личности, тем большим „индивидуальным своеобразием“ будут отличаться ее переживания» (с. 36).

Именно с этой позиции — «предпочтения уникального типичному» — автор и обращается к биографии Андрея Ивановича Тургенева. Фактически речь идет о трех последних годах жизни писателя (с ноября 1799 г. по июль 1803 г.), когда Тургенев вел систематический дневник на завершающем этапе своей жизни: дневник позволяет «проследить историю его переживаний, восстановить его постоянно обновлявшийся эмоциональный репертуар, увидеть, как составлявшие его матрицы взаимодействовали друг с другом, определяя прихотливую, а порой и загадочную логику его решений, оценок и настроений» (с. 38). Выбор «героя» был продиктован тем, что для автора Тургенев — «своего рода „пилотный выпуск“ человека русского романтизма», чей «конфликт эмоциональных матриц, определявших его переживания, отчетливее всего проявился в его запутанной и эксцентричной любовной истории. Его отчаянные и бесплодные попытки разрешить этот конфликт, в конце концов приведший его к гибели, могут быть поняты в перспективе монументального макроисторического сдвига, проявившегося в складе его личности и обстоятельствах его судьбы... Такого рода анализ предполагает реконструкцию усвоенных Тургеневым эмоциональных матриц, поэтому рассказу о душевном опыте героя книги, занимающему главы с третьей по шестую, предпосланы две главы, где сделана попытка наметить общие контуры эмоциональной культуры конца XVIII — времени становления его личности» (с. 39).

Обращение к дневникам автор объясняет с позиций М. Фуко, который «говоря о практиках моральной самовыделки, принятых в раннехристианских общинах, отмечал, что „заставляя себя писать, ты как бы находишь компаньона, возбуждая в себе стыд и страх перед неодобрением... Сдерживающее влияние, которое присутствие других людей оказывает в сфере поведения, письмо осуществляет по от-

ношению к внутренним импульсам души“...Дневник становился своего рода формой интериоризации как религиозных и моральных предписаний и табу, так и обобщенной позиции референтной группы, в которой ее член усваивал эти предписания» (с. 43). Дневники позволяют отследить успешность усвоения «публичных образов вчувствования», производство которых «во второй половине XVIII столетия все в большей степени берет на себя литература, предлагавшая образцы эмоционального кодирования для широкого круга образованных читателей. Печатный текст, разумеется, уступает театральному представлению в наглядности символических моделей чувства и, кроме того, не позволяет или позволяет лишь в очень ограниченных пределах коллективно усваивать эти модели..., одновременно обрабатывая социально одобряемые реакции на них. С другой стороны, книга дает возможность заново возвращаться к испытанным переживаниям, уточнять и утончать свои эмоции, в постоянном режиме сверяя их с образцом» (с. 44).

В первой главе «Персонажи августейшего театра» автор отмечает, что нововведения Петра I стали первым шагом на пути создания нового русского человека, что было неизбежно в ситуации втягивания его в систему «европейского бытия», хотя речь шла лишь о внешних проявлениях, так как русская культура и повседневность не были готовы к радикальной и полноценной трансформации в угоду новым стандартам. Последнее стало возможно благодаря Екатерине Великой, когда изданный ею «Манифест о вольности дворянства» превратил службу государству из повинности в осознанный выбор, и это было лишь одно из множества решений Екатерины, благодаря которым сознание русских людей стало трансформироваться в направлении восприятия европейской картины мира. Наиболее значимую роль здесь сыграло не только введение воспитательных училищ для детей обоих полов, но и пристальное внимание Екатерины к репертуару театральных постановок, в которых принимали участие воспитанницы Смольного института. Императрица считала, что театральное искусство оказывает сильное влияние на сознание людей, поэтому использовала его для решения практической задачи воспитания совершенно иного русского человека, «новой породы людей».

Автор описывает влияние театральных постановок на воззрения образованной публики и события того времени, перечисляет популярные в то время пьесы и оперы, рассказывая попутно о композиции, традициях и правилах создания постановок. Многие пьесы того периода были написаны самой Екатериной, их сюжеты были нацелены на разрушение прежних представлений о правильной и/или нормальной жизни, поэтому императрица уделяла пристальное внимание подбору актеров. Ее внимание к театру автор объясняет тем, что он «обладает уникальной способностью предъявлять социально одобренный репертуар эмоциональных матриц в максимально наглядной, телесной форме, полностью очищенной от случайной эмпирики повседневной жизни. При этом аудитория образует особого рода эмоциональное сообщество, где каждый имеет возможность сравнить свое восприятие с реакцией окружающих и проверить по своей референтной группе „правильность“ и адекватность собственных чувств непосредственно в момент их переживания» (с. 40).

Автор описывает и своеобразный противовес усилиям Екатерины по европеизации российского общества, которым стала масонская идея о моральном исправлении личности: в отличие от Екатерины с ее планами по преобразованию внутреннего мира русского человека посредством театра московские розенкрейцеры видели возможность возрождения человечества лишь во внутренних изменениях, «обратившись и ожив в Господе», которые должны быть первым шагом на пути общественных трансформаций.

Считая театр чуть ли не языческим развлечением, розенкрейцеры отдавали предпочтение чтению и переводу эзотерических и нравоучительных текстов, пропагандировали идею нравственного возрождения через эти тексты и самоанализ под строгим надзором вышестоящих членов ордена. В книге представлены основные принципы и идеи масонского ордена, приведены фрагменты переписки его членов, в том числе с Тургеневым, который был одновременно и любителем театра, и приверженцем идеи о самопознании и духовном развитии личности, обозначены причины размолвок среди московских розенкрейцеров.

Если первоначально императрица относилась к ордену благосклонно, то позже жестко обошлась с рядом членов ложи, что поразило современников: некоторые члены ложи оказались под следствием и получили непропорционально жесткие наказания вполне в духе пьес, написанных Екатериной для театра (стремясь изменить сознание людей посредством своих пьес, она стала заложницей нового, предложенного ею же, образа мышления).

Во второй главе «Наука расставанья» автор рассказывает о двадцатидвухлетнем воспитаннике московских розенкрейцеров Николае Карамзине, который находился в довольно неясных отношениях с масонской ложей, что отразилось в его рассказе о своем заграничном путешествии. «Описанием прощания с друзьями открывались его „Письма русского путешественника“, сразу же превратившие малоизвестного дебютанта в признанного лидера русской литературы... В его планы не входили „теологические, мистические, слишком ученые, сухие пьесы“. Таким образом, бывшие единомышленники, потенциальные читатели и власти извещались, что предлагаемое издание не будет иметь ничего общего... с традицией масонской журналистики. Молодой автор готов был сам приняться за воспитание чувств русских читателей. Его планы не уступали по масштабности тем, которые одушевляли Екатерину II... с одной стороны, и московских розенкрейцеров — с другой» (с. 139).

Автор описывает ситуацию, связанную с отъездом Карамзина из Москвы: причины его отъезда и источники финансирования, недовольство членов масонской ложи писательской позицией Карамзина. Некоторые из них сумели сохранить с ним хорошие отношения, признавая, что в «Письмах» были отражены реалии жизни европейского общества, и тем самым Карамзин внес большой вклад в сближение российских читателей с миром Европы, учил их мыслить по-европейски и предоставляя им эмоциональные матрицы для всех случаев жизни. Карамзин стремился «познакомить соотечественников с эмоциональным репертуаром современной Европы и... на собственном примере показать, что образованный российский читатель может составить единое эмоциональное сообщество с просвещенными европейцами... Он стремился не только сделать культурный мир Европы

достоянием российского читателя, но и едва ли не в первую очередь — научить его чувствовать по-европейски... В отличие как от Екатерины, так и от московских масонов молодой издатель не мог апеллировать к авторитету верховной власти или сокровенного знания. Их место в символическом пространстве „Писем“ заняли европейская культура и европейская словесность, от лица которых путешественник и говорил с читателем» (с. 153—154).

В следующих главах автор обращается к биографии Тургенева, опираясь в аналитическом описании последнего этапа его жизни на дневники, но осознавая, что «в произведении, написанном в форме дневника, неизбежна ретроспективная проекция поздних переживаний на более ранний период. Автор едва ли может отделаться от мыслей и настроений, побудивших его взяться за перо, да, скорее всего, не стремится к этому. В то же время избранная техника повествования не позволяет ему установить между собой нынешним и собой прошлым временную дистанцию» (с. 201). Третью главу «Блудный сын» автор начинает с цитаты, которая объясняет, почему «9 ноября 1799 года восемнадцатилетний Андрей Иванович Тургенев, начинающий литератор, страстный поклонник Шиллера и Гете, недавний выпускник Московского университета, ...решился наконец завести дневник... „...Здесь буду я описывать все свои мысли, чувства, радостные и неприятные, буду рассуждать об интересных для меня предметах, не боясь ничьей критики“» (с. 214). Впрочем, «в среде, в которой воспитывался Андрей Иванович, ведение дневника не только одобрялось, но и прямо предписывалось. Предполагалось, что, давая себе отчет в мыслях и чувствах, человек подвергает суду свои дурные поступки и греховные помыслы, трудясь тем самым над собственным нравственным исправлением» (с. 217—218).

Автор подробно описывает дневник Тургенева, отмечая частые его попытки предаться самобичеванию и внутренне примирить разные «эмоциональные сообщества», к которым он принадлежал. Так, «он подчеркивает, что театр учил его благодарности к воспитателям, притом что именно в их кругу к театру было принято относиться с немалой долей подозрительности. Автору дневника было важно убедить себя в этом, поскольку ему доводилось испытывать в театре и другие сильные чувства, которых его наставники никак не могли одобрить... Однако более всего волновала автора дневника его нарастающая влюбленность в знаменитую актрису и певицу, признанную красавицу с поразительной судьбой и сомнительной репутацией... Елизавету Семеновну Сандунову» (с. 221). Для Тургенева было мучительной загадкой расхождение между прекрасной внешностью его возлюбленной и ее поведением. Опираясь на идеи розенкрейцеров, он пытался разобраться в ее натуре, хотя скорее стремился разобраться в собственных чувствах, обращаясь в том числе к пьесам, переводами которых занимался в это время (чрезмерная сосредоточенность на собственных переживаниях ухудшила качество переводов из-за специфической интерпретации пьес на основе личного жизненного опыта и эмоциональных волнений).

Вся третья глава посвящена разбору любовных переживаний Тургенева и его восприятия собственных эмоций. Как правило, он пытался разобраться в своих чувствах и избавиться от внутренней тревоги, но зачастую не находил в своем эмоциональном словаре формулировок, чтобы описать свое состояние, поэтому адап-

тировал литературные и театральные образцы к собственной ситуации, опирался на схожие образы художественных произведений и пьес, представляя себя их героем. Например, описывая свой страх заболеть венерическим заболеванием после «платной любви», Тургенев рассуждает о сочетании отчаяния и утешения, сравнивает свои терзания с состоянием тяжелобольного человека и представляет себя героем пьесы. Фактически дневник Тургенева отражает ту самую трансформацию мировоззрения и образа мышления русского образованного человека под влиянием искусства (театра), которой и надеялась добиться в масштабах всего российского общества Екатерина Великая.

В четвертой главе «Три сестры» описаны переживания Андрея Ивановича в связи с тем, что он не настолько чувствителен и эмоционален, как Варвара Михайловна Соковнина, которая убежала из дома и стала крестьянкой, не сумев смириться со смертью отца и проблемами в семье.

По мнению автора, реакция Тургенева на данное событие свидетельствует о его недостаточной осведомленности, которая определила не вполне корректное восприятие происшествия. Тургенев прибег к сравнению реальной жизни с пьесой и стал идентифицировать себя и Соковнину с героями художественной литературы, сокрушаясь, что ему не удавалось испытать те чувства, которыми пылали герои книг в аналогичной ситуации. Будучи воодушевлен романтизированными образами художественной литературы и почерпнув из нее свои эмоциональные матрицы, Тургенев приписывал Соковниной те душевные качества, которыми она не обладала просто потому, что черпала свои эмоциональные порывы из других произведений. «Варвару Михайловну совсем не интересовало конкретное содержание карамзинской „Деревни“, ее волновала поэзия бегства от мира, и потому дворянская усадьба легко сливалась для нее с Фенелоновым монастырем. Таким же образом, сюжет „Бедной Лизы“, характеры героев и их отношения выпали из ее переживания. Значимым для нее было только умиление городского барина при встрече с простыми крестьянами, живущими собственным трудом... Можно предположить, что она не хотела прямо уподоблять себя святым, или опасалась, что члены ее семьи не поймут этой стороны ее внутренней жизни, или, наконец, что они сами сознательно или бессознательно упустили соответствующие ассоциации и упоминания. В то же время ...мир житий играл в переживаниях Варвары Соковниной огромную роль. А одним из распространенных сюжетов агиографической литературы был безвестный уход будущего святого из родного дома» (с. 313—314). Для Тургенева образ беглянки приобрел некую святость, которая в дальнейшем распространилась и на младших сестер Соковниной — Анну и Екатерину. Взаимоотношения с ними он также выстраивал по образным лекалам художественной литературы, заимствуя из них свои эмоциональные матрицы и модели поведения.

В пятой главе «Новый Абеляр» автор отмечает, что со временем Тургенев увлекся концепцией поэтического безумства и сокрушался, что его отношения с Соковниной не могут воплотиться в поэтическом творчестве, так как не вызывают у него бури эмоций. Ее отсутствие Тургенев считает проявлением холодности своей души, а готовность жениться без сумасшедшей любви окончательно убеждает его в этом. Впрочем, он полагал, что свадьба убедит Варвару Михайловну вернуться домой из монастыря, хотя его пугала перспектива семейной жизни,

он боялся, что семейный быт негативно скажется на его творчестве, в котором он видел главный смысл своей жизни. «С одной стороны, Андрей Иванович занимает позицию, найденную им с первого дня работы над дневником, — проецирует в будущее свой идеализированный образ и, исходя из него, подвергает себя строгому суду. В этой перспективе все двадцать лет его жизни — исключения не сделано даже для раннего детства — были растрчены впустую. Теперь он требует от себя „деятельности“, которая соответствовала бы его представлениям о предназначении человека. С другой стороны, автор дневника уже чувствует наступившую „осень сердца“ и готов жить одними воспоминаниями» (с. 403). «„Автоконцепция“ Тургенева менялась. Пламенный шиллерист, упрекавший себя в холодности и неизменно стремившийся придать своим чувствам предельный накал, мечтал теперь об отупляющей службе, „чтобы быть спокойнее“» (с. 457).

Поскольку Тургенев не видел для себя иной достойной сферы жизни, кроме литературы, у него сформировалась привычка анализировать все, превращая любые события в художественные тексты и пьесы. Восторг от мыслей о семейной жизни его покинул, он садится за перевод послания «Элоизы Абельяру» (Элоиза отказалась от замужества), пытался убедить себя и окружающих, что его нежелание жениться вызвано возвышенными устремлениями. Поездка в Вену — столицу европейской аристократии — и погружение в куртуазную культуру («публичный образ чувств», чрезмерная благосклонность венских дам, смесь ощущения наслаждений и страха и пр.) заставляют Тургенева одновременно мечтать овладеть соответствующими эмоциями и оценивать их как порочные и тривиальные. В своих поездках он оказался втянут в «легкие увлечения» и «светские влюбленности», но не имел символических моделей для объяснения своих поступков и прибегал к известным ему эмоциональным матрицам, объясняя приключения необходимостью удовлетворять требования плоти.

В заключительной главе «Непройденный путь» автор вновь подчеркивает, что «в дневниках исповедального характера свежие переживания отливаются в готовые для них эмоциональные матрицы, которые придают им форму и тем самым дают возможность человеку отразить свой душевный опыт. „Автоконцепция“ постоянно поверяется здесь „автоценностью“. Кризис автоценности ставит под сомнение основанные на ней матрицы и блокирует саму возможность подобной рефлексии. За пять месяцев, от возвращения в Россию до смерти, Тургенев обращается к дневнику менее 20 раз. Сами записи становятся короче, в них оказывается меньше интимных признаний и меньше рассказов о литературных планах» (с. 469). В дневнике появляется тема безумия, по-новому звучит тема любви — как возможность свободы от любви посредством страданий и сражений с чувством. «К концу своей короткой жизни Тургенев понял, что не может и, в сущности, не хочет поддерживать в себе постоянный накал чувств, который требовался от почитателя и последователя Шиллера и Руссо. Ему приходилось реализовывать одни эмоциональные матрицы в общении с кругом бывшего Дружеского литературного общества, другие — с венскими приятелями, третьи — с Екатериной Соковниной, четвертые — в дневнике и т.д.» (с. 477—478).

Таким образом, несмотря на поразительное содержательное различие двух книг, в них представлены схожие «идентификационные» модели героя, в основе которых лежит трактовка героизма как мучительных поисков себя посредством болезненного дистанцирования от своего окружения: в мифологической традиции это обычно дистанцирование физическое (странствия), в современную эпоху — скорее интеллектуально-эмоциональное (необязательно перемещаться в иное пространство, чтобы критически оценивать свои и своего окружения нормативные и поведенческие паттерны). В обоих случаях маркерами героизма выступают улавливание «духа эпохи» (в мифологии — «воли богов») и воплощение чаяний поколений (герой — символ успешной борьбы с несправедливостью, он добивается победы над личными врагами и, тем самым, приносит блага своему народу). Так, Тургенев «переживал тот же процесс, что и вся усвоенная им культура, переходившая от культа энтузиазма, искренности и пылкости, свойственных „прекрасной душе“, к поэзии „разуверения“, утраты и горького счета, предъявляемого заблуждениям юности... Его душевный опыт не вмещался в эмоциональные матрицы XVIII столетия, и он не знал, как ему чувствовать, а следовательно, и как жить» (с. 491). Также в качестве маркеров героя могут выступать своеобразие и исключительность личных качеств, разрыв с традицией (протест против мира, отречение от себя прежнего), сила и способность к борьбе (зрелость и готовность к подвигу), героизм как осознанный выбор (определенного поступка), непримиримость к разным формам негероизма и т.д. Список этот столь же внушителен, сколь и противоречив, что затрудняет обыденные и научные интерпретации героизма на денотативном уровне.

Троцук И.В., Субботина М.В.

DOI: 10.22363/2313-2272-2017-17-3-420-435

THE PHENOMENON OF HEROISM: TWO 'CHRONOLOGICAL' INTERPRETATIONS*

Campbell J. *Tysjachelikij geroj* [The Hero with a Thousand Faces]. Saint Petersburg: Piter; 2017. 352 p.; Zorin A.L. *Pojavlenie geroja: Iz istorii russskoj emocional'noj kul'tury konca XVIII — nachala XIX veka* [A New Hero: From the History of Russian Emotional Culture in the Late XIX — Early XX Century]. Moscow: Novoe literaturnoe obozrenie; 2016. 568 p.

* © I.V. Trotsuk, M.V. Subbotina, 2017.

The article was written in the framework of the project supported by the Russian Foundation for Basic Research No.15-03-00573 “The social well-being of the youth in post-socialist countries: Comparative analysis (on the example of Russia, Kazakhstan, China, Serbia and Czech Republic)”.



НАШИ АВТОРЫ

Бритвина Ирина Борисовна — доктор социологических наук, профессор кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Уральского федерального университета (e-mail: irinabritvina@yandex.ru).

Кумса Эйлмейеху — доктор философии, доцент кафедры исторической социологии факультета гуманитарных наук Карлова университета (Чехия) (e-mail: alemayehu.kumsa@fhs.cuni.cz).

Ларина Татьяна Игоревна — кандидат социологических наук, ассистент кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: larina_ti@rudn.university).

Нарбут Николай Петрович — доктор социологических наук, профессор, заведующий кафедрой социологии Российского университета дружбы народов; главный научный сотрудник Института социологии РАН (e-mail: narbut_np@rudn.university).

Науменко Тамара Васильевна — доктор философских наук, профессор кафедры глобальных социальных процессов и работы с молодежью Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова (e-mail: t-naumenko@yandex.ru).

Неверов Александр Викторович — кандидат социологических наук, старший преподаватель кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: neverov_av@rudn.university).

Поздеев Игорь Леонидович — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела междисциплинарных и прикладных исследований Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук (e-mail: pozdeev79@gmail.com).

Пузанова Жанна Васильевна — доктор социологических наук, профессор кафедры социологии, заведующая Социологической лабораторией Российского университета дружбы народов (e-mail: puzanova_zhv@rudn.university).

Скотт Джеймс — профессор политологии и антропологии и соруководитель Программы аграрных исследований Йельского университета (e-mail: james.scott@yale.edu).

Сохадзе Кетеван Георгиевна — аспирант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: keti.sokhadze@gmail.com).

Субботина Мария Владимировна — магистрант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: tonus1995@mail.ru).

Тертышникова Анастасия Геннадьевна — кандидат социологических наук, ассистент кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: tertyshnikova_ag@rudn.university).

Троцук Ирина Владимировна — доктор социологических наук, доцент кафедры социологии Российского университета дружбы народов; ведущий научный сотрудник Центра аграрных исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации (e-mail: trotsuk_iv@rudn.university).

Тюрина Ирина Олеговна — кандидат социологических наук, ведущий научный сотрудник Института социологии Российской академии наук (e-mail: irinal-tiourina@yandex.ru).

Ульянычев Максим Александрович — аспирант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: maks.76maksim@mail.ru).

Черны Карел — доктор философии, доцент кафедры исторической социологии факультета гуманитарных наук Карлова университета (e-mail: karlos.cernoch@post.cz).

Шарма Сония-Девина — магистрант кафедры социологии Российского университета дружбы народов (e-mail: isonia.shr@gmail.com).

Шумилова Полина Андреевна — аспирант кафедры интегрированных маркетинговых коммуникаций и брендинга Уральского федерального университета (e-mail: Polina_shumilova@mail.ru).

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

В журнале публикуются статьи по методологии, истории и теории социологии, статьи по результатам социологических и междисциплинарных исследований по широкому кругу вопросов социально-гуманитарного знания на русском и английском языках, а также реферативные обзоры и рецензии.

Редакция принимает к рассмотрению статьи, оформленные в строгом соответствии со следующими правилами:

1. **Объем рукописи** — от 26 до 50 тысяч знаков (с пробелами) для статей, от 12 до 20 тысяч знаков — для рецензий. Формат страницы — А4, шрифт — Times New Roman, размер шрифта — 12, межстрочный интервал — полуторный, нумерация страниц не проставляется. Отступ первой строки абзаца — 1,25, поля на странице — 30 мм слева, 20 мм справа, сверху и снизу. Ссылки даются в тексте в квадратных скобках, внутри которых первая цифра указывает на номер источника в библиографическом списке, вторая, стоящая после прописной буквы «С», — на номер страницы в источнике (например, [1. С. 26]; ссылка на несколько источников — [1. С. 126; 4. С. 43]). Ссылки на примечания даются в круглых скобках, например, (1).
2. Все **таблицы, схемы, графики и рисунки** встраиваются непосредственно в текст статьи. Они должны быть пронумерованы и озаглавлены. Таблицы должны иметь заголовки, размещаемый над табличным полем, рисунки — подрисуночные подписи. При использовании в статье нескольких таблиц и/или рисунков их нумерация обязательна.
3. **Формулы** размечаются, поясняются и снабжаются библиографическими ссылками.
4. В рукописях необходимо приводить два списка ссылок на использованные в работе источники — «**Библиографический список**» и «**References**». Ссылки на источники в Библиографическом списке следует оформлять в соответствии с ГОСТ Р 7.0.5-2008; References — в стиле Vancouver в версии АМА. Требования к оформлению Библиографического списка и References приведены на сайте журнала: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. К статье обязательно прилагаются:
 - ◆ **аннотация** (резюме) объемом 200—250 слов на русском и английском языках;
 - ◆ **список 7—8 ключевых слов** на русском и английском языках; каждое ключевое слово или словосочетание отделяется от другого точкой с запятой;
 - ◆ **авторская справка** на русском и английском языках, где указываются: Ф.И.О. (полностью), официальное наименование места работы, должность,

ученая степень, а также **данные для связи с автором** — адрес места работы, включая почтовый индекс, номер телефона (служебный, мобильный), электронный адрес.

Решение о публикации выносится в течение трех месяцев со дня регистрации рукописи в редакции. Материалы, не принятые к изданию, не возвращаются. Редакция не вступает с авторами в переписку в случае отказа от публикации их материалов.

Авторы несут ответственность за подбор и достоверность приведенных фактов, цитат, статистических и социологических данных, имен собственных, географических названий и прочих сведений.

Публикуемые материалы могут не отражать точки зрения редколлегии.

Представляя в редакцию рукопись, автор берет на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частично в ином издании без согласия редколлегии.

С содержанием вышедших номеров и аннотациями статей можно ознакомиться на сайте журнала в сети Интернет: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

Для отправки статьи в редакцию необходимо заполнить форму на сайте журнала <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, где также приведена подробная информация для авторов.



AUTHORS' GUIDELINES

The journal publishes articles on the methodology, history and theory of sociology, articles on the results of sociological and inter-disciplinary studies covering a wide range of issues in social sciences and humanities written in Russian and English, as well as brief surveys and book reviews.

The editors will consider articles strictly complying with the following standards:

1. **The size of the manuscript** — from 26 to 50 thousand symbols for articles; from 12 to 20 thousand symbols for reviews. References are to be given in the text in square brackets, inside of which the first figure indicates the number of the source in the references list, the second one, following the capital letter “P”, indicates the page number in the source (for example, [1. P. 126]; references to several sources — [1. P. 126; 4. P. 43]). References to footnotes are to be given in round brackets, for example, (1).
2. All the **tables, diagrams, graphs, and drawings** are to be incorporated in the text of the article. They are to be numbered and supplied with a title. Tables are to be given a title placed above the table, drawings are to have captions. When several tables and/or drawings are used in the article, their numeration is obligatory.
3. **Formulas** are to be marked out, explained and provided with references.
4. The manuscript must include a list of references submitted in accordance with the Vancouver style of the AMA version. Requirements to ‘References’ can be found on the journal’s website: http://journals.rudn.ru/index.php/index/pages/view/References_guidelines.
5. **It is obligatory to attach** the following to the manuscript:
 - ◆ **abstract (summary)** of 200—250 words in Russian and English;
 - ◆ **a list of 7—8 key terms** in Russian and English; each key term or word-combination is to be separated from another one with a semicolon;
 - ◆ **information about the author** in Russian and English, including: the author’s full name, the official name of the place of employment, position, scientific degree, as well as **the author’s contact data** — mailing address, telephone number (office, mobile), electronic address.

The decision as to publication is made within three months from the day the manuscript is registered at the editorial office. Materials which are not accepted for publication will not be returned. The editors will not enter into correspondence with the authors in case of refusal to publish the articles submitted by them.

The authors will bear full responsibility for the selection and authenticity of the given facts, quotations, statistical and sociological data, proper names, geographical names and other information.

The published materials may not reflect the viewpoint of the editorial board and the editors.

The author, submitting a manuscript to the editors, undertakes not to have it published, either in full or partially, in any other publication without the editors’ consent.

The published issues and abstracts of the articles are available on the website of the journal: <http://journals.rudn.ru/sociology/index>.

To send the article to the editors the author need to fill in a form on the website <http://journals.rudn.ru/sociology/information/authors>, which also provides the detailed information for authors.